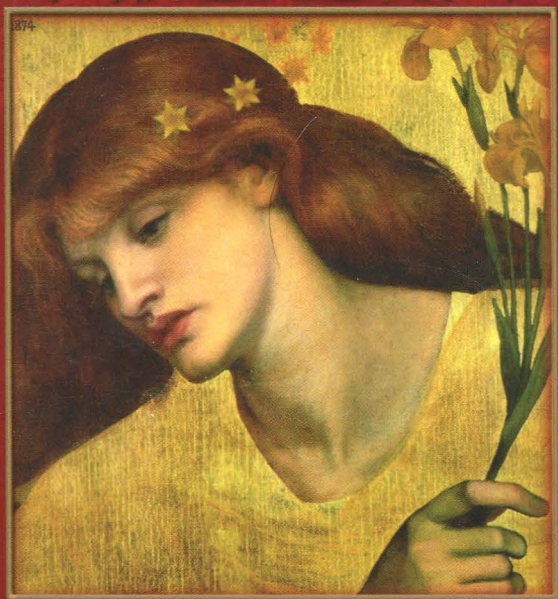


Алистер Кроули

ЦИРЦЕИН СОН



Телема

АЛИСТЕР КРОУЛИ

ЦИРЦЕИН СОН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГАНГА»
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ТЕЛЕМА»
МОСКВА, 2013 г.

Алистер Кроули

Цирцеин сон / Пер. с англ. Алексея Осипова. — М.: Издательство «Ганга», 2013. — 384 с. (Серия: Магические гримуары).

ISBN 978-5-906154-41-5

Алистер Кроули (1875—1947), известный большинству читателей как маг и религиозный философ, также является автором множества увлекательнейших рассказов, часть из которых представлена в настоящем сборнике. В некоторых рассказах есть автобиографические элементы, имеющие отношение к детству Кроули, к его альпинистским упражнениям и к неудачному первому браку. Другие представляют собой автобиографическую сатиру или аллегории духовного плана. Себя самого он видит то буддой, то египетским жрецом, то китайским даосским учителем. Достоинство рассказов Алистера Кроули не исчерпывается тем, что они помогают лучше понять мировоззрение и сложный внутренний мир этого яркого и неоднозначного человека, его отношения с окружающими. Это увлекательное чтение также является прекрасным образцом британской художественной прозы начала XX века.

© Ordo Templi Orientis

© Алексей Осипов, перевод, 2013

© На обложке использована репродукция картины «Эскиз маслом для Блаженной Дамы. Sancta Liliis 1874».

© Творческая группа «Телема», 2013

© Издательство «Ганга», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
-------------------	---

ЦИРЦЕИН СОН

Три качества	13
На распутье дорог	29
Цирцеин сон	36
Снадобье	57
Illusion d'amoureux	65
Охотник за душами	68
Пиявкина дочь	76
Скрипачка	82
Лисица	85
Испытание Иды Пендрагон	90
Аполлон дарует скрипку	119
Его тайный грех	124
Дровосек	132
Профессор Цирконий	138
Завещание Магдалены Блэр	145
Витриолометательница	177
Эрсилдун	186
Стратагема	257

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАССКАЗЫ ДРУГИХ АВТОРОВ,

ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ В ЖУРНАЛЕ «ЭКВИНОКС»

Брайтонская тайна. <i>Джордж Раффалович</i>	273
Волшебные очки. <i>Фрэнк Харрис</i>	288
Глаза святой Любви. <i>Дж. Ф. Ч. Фуллер и Джордж Раффалович</i>	321
Госпожа моя в бриджах. <i>Джордж Раффалович</i>	332
Человек-крышка. <i>Джордж Раффалович</i>	341
Сфинкс Гизы. <i>Лорд Дансени</i>	367

ПРЕДИСЛОВИЕ

SR. I.C.¹, FR MARSYAS

Твори свою Волю: таков да будет весь Закон

Алистер Кроули (1875—1947), известный большинству читателей как маг и религиозный философ, также является автором множества увлекательнейших рассказов, часть которых представлена в настоящем сборнике. Художественное творчество Кроули, как и любое другое его творчество (поэзия, живопись, литературная критика), несет в себе яркий отпечаток личности автора — гениального мага и «самого испорченного человека», как определила его современная ему пресса.

Пророк грядущего Эона, провозгласивший в качестве новых законов человечества три постулата: «Твори свою Волю: таков да будет весь Закон», «Любовь есть закон, любовь в согласии с Волей», «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда», — был и в самом деле неоднозначной личностью.

Обретенное им в 1904 году Откровение, которое было отражено в «Книге Закона», привело к основанию учения Телемы — особого философского взгляда на жизнь, соединившего религиозную экстатику, научный подход к познанию и тайны магической работы с личностью. Цель Телемы была обозначена как постижение каждым человеком своей истинной Воли — иными словами, замысла Бога на его счет. При этом Бог понимался не как личность, не как персонификация Абсолюта, преисполненного любви к людям и всему существу, но как Непреложный Закон Вселенной, не имеющий никакого отношения к человеческой морали и системе ценностей. Чтобы быть счастливым, человек должен постичь этот Закон и построить по нему всю свою жизнь, вместо того чтобы обращаться с мольбами к пустоте, терзаясь чувством вины

¹ Sr. I.C. — глава Российского отделения Ordo Templi Orientis (Ордена Восточных Тамплиеров), магического ордена, созданного в начале XX века. В 1922 году О.Т.О. принял закон Телемы. Его главой стал Алистер Кроули. В настоящее время Орден насчитывает около 4000 человек и действует в полусотне стран мира.

из-за мнимого преступления им же самим придуманных «божественных законов».

Однако исполнение этой пророческой миссии было лишь одной из граней сложной личности Кроули. Помимо мистико-магической деятельности, он имел и другие, как говорится, «светские» увлечения — каждое из которых, тем не менее, оставалось метафорой внутренней духовной работы. Он был одним из лучших альпинистов своего времени, выдающимся шахматистом, прекрасным поэтом и художником (выставки его картин до сих пор пользуются немалым успехом). А еще — бесстрашным адептом сексуальной революции. И, наконец, — преисполненным гордыни и самодовольства позером, беспрерывно конфликтовавшим со всеми окружавшими его людьми, даже с самыми близкими и преданными.

До сих пор многочисленные биографы Алистера Кроули спорят: был ли он и в самом деле толстокожим и самовлюбленным выскочкой, искренне считавшим себя величайшим магом всех времен и народов? Или под этой маской попросту таился человек с немалым мазохистским комплексом, усердно разыгрывающий роль «дрянного мальчишки», дабы получить возделенную порцию ругани в прессе и отвержения со стороны друзей? Складывается мнение, что подчас Кроули просто не мог отказаться от искушения затеять очередной скандал, нимало не заботясь о том, как это впоследствии скажется на его репутации серьезного мага, возглавляемых им магических орденов и создаваемого им учения.

Впрочем, предоставим решать этот вопрос психологам и биографам Алистера Кроули. А тем временем обратимся к его литературному творчеству. Точнее — к небольшой части этого творчества, представленной рассказами, собранными в данном томе. Большая часть этих рассказов была опубликована в журнале «Эквинокс», который Кроули выпускал с марта 1909 года. «Эквинокс» позиционировал себя как «Официальный печатный орган А.:А.:» — Обзор достижений научного иллюминизма», однако публиковал не только трактаты по магии и каббале, но и стихи, и многочисленные

1 А.:А.: — посвятительный магический орден, основанный Алистером Кроули в 1907 году. Это магическое братство Телемы, целью которого являются поиски света и знания.

рассказы, написанные Кроули и его друзьями. За четыре года, с 1909 по 1913-й, сам Кроули издал семнадцать рассказов: три — анонимно, еще семь — под четырьмя разными псевдонимами и семь — под собственным именем.

Исследователь и публикатор работ Кроули Уильям Бриз в своем издании его рассказов отмечает:

На страницах «Исповеди» Кроули раскрывает свой подход к художественной литературе и подробно рассказывает о процессе написания некоторых из рассказов. Эти фрагменты слишком пространны и завязаны на контекст, чтобы их можно было с пользой процитировать здесь, зато в концевых примечаниях точно указывается, когда и где эти рассказы были написаны, что послужило источником вдохновения, кому они посвящаются, а в нескольких случаях и реальные прототипы персонажей.

В некоторых из рассказов присутствуют автобиографические элементы, имеющие отношение к Плимутским Братьям — религиозной секте из детства Кроули <...>; к его альпинистским упражнениям <...> и к неудачному первому браку <...>. Другие представляют собой автобиографическую сатиру или аллегорию духовного плана. Себя самого он изображает то буддой Майтрейей («Три качества»), то египетским жрецом Анхенхонсом I («Через пучину»)¹, то китайским даосским учителем Гуао Ли-я («Тянь Дао»).

Однако достоинство рассказов Алистера Кроули не исчерпывается тем, что они помогают лучше понять мировоззрение и сложный внутренний мир этого яркого и неоднозначного человека, его отношения с окружавшими его людьми. Это увлекательное чтение также является прекрасным образцом британской художественной прозы начала XX века.

Его произведения никогда не опускаются до обычной беллетристики. В чем-то их стиль перекликается со стилистикой рассказов Брэдбери или Борхеса. Кроули писал рассказы для

¹ Опубликовано в сборнике: Алистер Кроули. *Через пучину*. М.: Ганга, Телема, 2011.

развлечения, но при этом вплетал в них и себя самого, и свою непрерывно развивающуюся систему религиозных представлений сразу на многих уровнях. Эти рассказы можно рассматривать как эпизоды своеобразной автобиографии, охватывающей годы и десятилетия.

В приложении к настоящему изданию даны шесть рассказов других авторов, публиковавшихся в «Эквиноксе»: лорда Дансени, Фрэнка Харриса, Джона Фуллера и Джорджа Раффаловича. Ирландский англоязычный писатель и поэт, один из создателей жанра «фэнтези» Эдвард Планкетт (использовавший в качестве псевдонима свой титул «лорд Дансени») не был лично знаком с Алистером Кроули и всего лишь однажды предложил в «Эквинокс» свой небольшой рассказ. Кроули несколько раз упоминал имя Дансени в своих работах и, по ряду свидетельств, испытал некоторое влияние его творчества. Также известно, что существует неопубликованное и недатированное эссе Кроули о лорде Дансени. С тремя другими авторами Алистер Кроули был знаком гораздо ближе.

Фрэнк Харрис, оказавший содействие в литературной карьере Кроули, в 1907—1909 годах был владельцем и главным редактором журнала «Вэнити Фэйр». В этом журнале он напечатал несколько стихотворений Кроули, его переводы Бодлера и статьи Кроули об альпинистских восхождениях на пик К2 и на Канченджангу.

Капитан британской армии Джон Фуллер, ставший впоследствии известным военным теоретиком, и Джордж Раффалович, сын еврея-банкира из Одессы и французской графини, не только писали рассказы в журнал Алистера Кроули, но и состояли в его магическом Ордене А.:А.:.. Раффалович к тому же оказывал Кроули финансовую поддержку, пожертвовав 5 тысяч фунтов на «Эквинокс» и работу А.:А.:..

Впрочем, их сотрудничество оказалось не слишком продолжительным. Человеческие, «слишком человеческие» страсти разрушили магический и литературный альянс. И, очевидно, лишь сейчас настало время заново открыть в остроумных, странных и местами очень темных работах этих авторов прекрасные и редкостные алмазы, каковыми они, собственно, и являются.

Мы предлагаем читать эти рассказы так, как положено читать все «эзотерические» тексты — на нескольких уровнях. Можно прочесть их просто как фантазийную беллетристику — занимательное, комфортное чтение на ночь. Можно — как мистические тексты автора, который «впросто двух слов не скажет». А можно — как систему зашифрованных магических смыслов. В любом случае, надеемся, что эти произведения доставят вам эстетическое удовольствие. А мы с радостью поделим его с вами.

Любовь есть закон, любовь в согласии с Волей.

АЛИСТЕР КРОУЛИ

ЦИРЦЕИН СОН

ТРИ КАЧЕСТВА¹

— Всем слушать *джатаку*! — сказал Будда.

И все немедленно наострили уши.

— Давным-давно, когда царь Брахмадатта правил в Бенаресе², случилось так, что жили под его благодатною дланью некий ткач именем Сураджд³ и жена его, Чанди⁴. И вот в должный срок произвела сия женщина на свет дитя мужского пола, и нарекли ему имя Перду'Р Абу⁵.

Рос ребеночек, рос, и текли слезы матери его, и гнев отца прибывал, подобно луне, ибо никоим образом не желал мальчик следовать стезей родительской и приниматься за ткачество. Нет, весело сновал челнок в руках его, но исключительно в ритме мантры; и скользил шелк сквозь пальцы — но так, будто молитву читают по четкам. В итоге работа портилась, и сердца родительские сокрушались над судьбою дитяти.

Но сказано в писаниях, что беда не знает удержу, и еще сказано, что семя скорби подобно семени баньяна — растет оно и становится размером с гору, и — о, увы, увы! — пускает все новые, свежие корни в исстрадавшуюся землю. Рос и мальчик, и вот, стал мужчиною. Запылали очи его вожделением к жизни и к любви, и погнало желанье его в путь, поглядеть на круглую землю и на многие ее чудеса. И ушел он из дома, прихватив отцовскую кубышку золота, хранимую для него же до самого этого горького дня, и встретил прекрасных дев, и сделался их слугою. И построил он роскошный дом и в нем поселился. Ни о чем он не думал при этом, а сказал лишь:

— Вот это я понимаю, разнообразие!

1 Рассказ написан в 1902 году и впервые опубликован в приложении к сборнику «Меч песни» (1904). — *Примеч. перев.*

2 Стандартная формула для начала *джатаки* — истории об одном из предшествующих воплощений Будды. Царь Брахмадатта, по преданию, правил сто двадцать тысяч лет. — *Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.*

3 Солнце.

4 Луна.

5 То бишь, *Perdurabo*, девиз Кроули.

А потом случилось так, что после многих лет поглядел он на свою возлюбленную, на нареченную сердца его, на розу сада его, на жемчужину цветника, и узрел, что затмилось оливковое сияние гладкой кожи ее, что плоть как-то пообвисла, что крепкие груди понурились, а из глаз исчезли и сияние радости, и блеск смеха, и тем паче мягкий свет любви. Но помнил он свои слова и сказал сам себе:

— Вот вам и еще одно разнообразие!

И обратился он тогда мыслями к себе и узрел, что и в сердце его что-то поменялось. И возрыдал он тогда:

— Так кто же в таком разе я?

И понял, что все есть страдание. Тогда обратился он мыслями в мир внешний и увидел, что все на свете одинаково — что ничему не избежать тройственной муки.

— Душа, — сказал он, — душа-то и «я» вместе с нею подобны всему, что ни есть на земле. Не вечны они, словно мимолетный прекрасный водяной цветок, что рождается и благоухает, и умирает, как только взойдет на небосклон солнце.

И смирил он сердце свое, и спел такие стихи:

Брахма, и Вишну, и Шива великий! Истинно зрю я
Тримурти во всех вещах, куда ни направлю взгляд:
И в тех, что окрашены небом, и в тех нечестивых,
Что с кручи падают в ад.

Нет, ваша слава — не сказки!

Духом и разумом зрю я этих троих,

О, я несчастный провидец! Вот они, трое:

Страданье, отсутствие «я» и тлен, уносящий в ничто
каждый прожитый миг!

И в ритме стиха он утратил сознание происходящего, ибо старая его мантра взыграла в давно запечатанном сосуде памяти, и погрузился он в безмятежный океан великой медитации.

Джехджаур¹ был могущественный маг; душа его наполнилась тьмою и злом. Он жадно алкал жизни и власти, а еще — изливать свою ненависть на невинных. И вот случилось так, что глядел он в хрустальный шар, где ему показывали все ужасы нерожденных еще времен, равно как и те, что уже нашли воплощение на земле. При помощи искусства своего узрел он Перду'Р Абу, которого числил среди друзей — ибо делайте, что хотите, а в хрустальном шаре он всегда созерцал в сем отроке, чувственном и фривольном, свой сокровенный страх — да, страх Могучего!

Но известно, люди эгоистичные и злые — сплошь трусы; убоятся они и тени, и Джехджаур природы своей не посрамил.

— Катись же сквозь время, о, шар! — вскричал он. — Катись в потоке лет, ужасный и вечный раб воли моей! Таф! Тат! Арат!²

И он возгласил тройные заклинания — набор таинственных звуков, немедленно привязавших духа к камню.

Внезапно хрустальный шар ослеп, опустел. Так заблудший маг понял: угрожавшее власти его, даже самой его жизни, столь высоко и свято, что для злого духа остается совершенно незримым.

— Прочь — завизжал он, — вон, вероломная душа тьмы!

И шар из хрусталя вспыхнул алым, смуглой краскою ненависти на щеках врага, и затем окончательно угас.

С пеною на устах злосчастный Джехджаур попытался ухватиться за воздух, но пал ничком.

3

К какому же божеству ему воззвать? Собственный его бог, Хануман, молчал. Молитвы, жертвы — все вотще. Джехджаур заскрежетал зубами, и вся сила хлынула из него в могучем потоке ненависти к бывшему его сотоварищу.

О, да, у ненависти есть сила, хотя и не сила любви! И вышло так, что в отчаянии своем погрузился он в транс, и в этом

1 Алан Макгрегор Беннет (чей девиз в Герметическом ордене Золотой Зари был *Iehi Aouh*, то есть «Да будет свет»), ныне Ананда Меттея. Ему была посвящена книга, где этот рассказ впервые увидел свет.

2 Тафтартарат, дух Меркурия.

трансе предстал перед ним Мара.¹ Никогда доселе не могли его заклинания призвать из бездны материи силу столь устрашающую.

— Сынok! — вскричал Проклятый. — Семеро дней ненависти, чистой, беспримесной более умеренными страстями; семеро дней, незапятнанных ни единой думой о жалости — и вот он я! Чего желаешь?

— Убей мне врага моего! — взвыл несчастный ублюдок.

Но содрогнулся Мара.

— Разузнай-ка о нем у Ганеши, — выдавил наконец враг рода человеческого и пропал.

И Джехджаур пробудился.

4

— Да! — мрачно изрек Ганеша. — Юнец сей решительно меня отверг. Представляешь, сказал, что я — смертный, такой же, как он, и что нет ему больше до меня никакого дела.

— Увы! — притворно вздохнул лукавый Джехджаур, которому было до Ганеши и любых причиненных ему унижений дела не больше, чем врагу его.

— А ведь один из лучших моих верующих был! — пробормотал или, вернее, уныло протрубил слоноподобный анахронизм.

— Я тут на днях видел Перду'Р Абу, — вставил злокозненный маг, — так он заявил мне, что стал *сотпанной*. Это уже не шуточки! Еще семь перерождений (если, конечно, он будет неуклонно следовать Пути), и негодник покинет Колесо. Так что у тебя не так уж много времени, чтобы вернуть его к своему алтарю.

Хитроумный колдун ни словом не обмолвился, что за это время и собственный его крах должен будет свершиться.

— И что ты мне посоветуешь? — спросило могучее и раздражительное, но не слишком умное божество.

— Время сейчас наш союзник, — изрек искуситель. — Воспользуйся своими знакомствами в Чертогах Рождений и договорись, чтобы каждая его жизнь была как можно длиннее. А кому как не тебе знать, что слон — из всех земных тварей самая долгоживущая...

¹ Архидьявол у буддистов.

— Да ну тебя! — захихикал Ганеша в великой радости: идея показалась ему крайне остроумной — и немедленно заковылял прочь, чтобы как можно скорее обстрипать дельце.

И Перду'Р Абу умер.

5

Вот уже великий слон рассекает величавой поступью девственные леса Ланки. Джехджаур обложился своими котлами и прочей колдовской пакостью и чувствовал себя совершенно счастливым, ведь опасность отступила далеко и не вернется, пока Перду'Р Абу не станет архатом.

Однако, невзирая на юных и прелестных движеньями коров, которые милостью Ганеши попадались ему на пути, невзирая на нежнейшие травы и сладостные кокосы, слон сей был ни в чем не похож на прочих слонов.

Времена года говорили ему лишь о бренности бытия — ведь лес вечно полон скорбей! — а в проповеди необходимости избавления от «я» и вовсе никакой нужды не было, ведь у бессловесных тварей достаточно ума, чтобы не уметь даже представить себе такое. Так что величавого сего зверя с большими бивнями можно было чаще всего встретить в некоем уединенном месте, неподвижного, как скала, и погруженного в медитацию на Три Качества.

И когда Ганеша явился ему во всей славе своей, алча поклонения, то обнаружил искомую душу, к своему крайнему неудовольствию, совершенно освободившейся от, так сказать, элэфантоморфизма.

В общем, бога вежливо попросили удалиться.

Слон был еще совсем юн, когда в джунгли радостной прыжкой, трепеща беззаботной песней в нуклеоиде, ворвалась, ни много ни мало, Бацилла.

И слон умер. Ему было всего семнадцать.

6

Коротенькая консультация, и наш *сотанна* переродился попугаем. Потому что попугай, как верно заметил

вредный Джехджаур, может прожить пять сотен лет и даже того не заметить.

Серое крылатое чудо порхало себе по джунглям. Такая развеселая птичка, думал довольный бог, скоро падет жертвой самых пошлых страстей и непременно преклонится перед его величием

Но в один прекрасный день в джунгли явилась некая фигура, причудливая и даже дикая. То был человек, одетый на чудной тибетский манер. На нем была алая хламида и шляпа, и мысли его были темны и непонятны. В руках он вертел молитвенную погремушку и даже на ходу все бормотал и бормотал таинственные слова: «*Ом Мани Падме Хум*».¹

Попугай, который в жизни не слышал человеческой речи, попытался передразнить старого ламу и поразился, с каким успехом ему это удалось. Сначала его обуяла гордость, но вскоре священные слоги возымели действие, и птица, непрерывно повторяя мантру, погрузилась в медитацию на обусловленность бытия.

* * *

Вот дом в далеком Инглистане. Старая леди и серый попугай в клетке. Попугай все еще бормочет неслышно священную мантру.

О, се, не иначе, перст Судьбы! Четыре Благородных Истины воссияли в попугайском уме. Три Качества явились, блистая, будто три привиденья на могиле убийцы. И не в силах сдержать себя, птица продекламировала загадочную фразу вслух.

Старая леди, каковы бы ни были ее прошлые ошибки, умела действовать быстро и правильно. Она позвонила.

— Сара! — сказала леди. — Убери отсюда эту жуткую тварь! Она ругается нехорошими словами!

— И что мне с ней сделать, мэм? — спросила «прислуга общего профиля».

— *Ом Мани Падме Хум*! — вставил попугай.

Леди поскорее заткнула уши.

— Да шею ему сверни! — велела она.

А ведь ему было всего восемь лет от роду!

¹ «О, драгоценность в цветке лотоса! Аум!» Самая знаменитая из буддийских формул.

— Ты — неуклюжий, халатный идиот! — сказал разгневанный бог.

— Может, сделаем его духовной сущностью?

— О! *Нат*,¹ например, живет десять тысяч лет...

— Так и сделай его натом! — заключил маг, уже начиная бояться, что, несмотря на все его хитроумие, судьбу ему не переломить. — Кто-то работает против нас на физическом плане. Надо выйти за его пределы!

Сказано — сделано. В семействе натов, обитавшем в большом дереве у Анурадхапуры, появился какой-то странный, но очень долгожданный мамой и папой малыш-нат.

Воистину благословенна была эта семья. В пяти и сорока футах оттуда стояла крайне древняя и святая *дагоба*.² Дети света собирались подле нее в вечерней прохладе или в туманном сиянье зари и с состраданием и любовью обращали мысли свои ко всему человеческому роду — да нет! — даже к мельчайшей крупине песка, вознесенной в воздух самой распоследней бурей в далекой Сахаре!

О, да, благословенна и еще благословенней того! Как-то раз туда явился святой *бхикку* из страны Павлина³ и нашел себе прибежище в дупле того самого дерева. И крошка Перду'Р Абу с готовностью принялся отгонять комаров веянием прозрачных своих крылышек, дабы добрый человек мог отдохнуть в покое и мире.

Британское Правительство, тоже обитавшее на этой земле, тем временем прознало, что в дереве живет *бхикку*, а селяне таскают ему рис и лук, и граммофоны, и решило, что так дело не пойдет.

Малыш Перду'Р Абу услышал, как оно совещалось и познал великую тайну скоротечности всего сущего, его неизбежных страданий и нематериальности.

И выселило Правительство *бхикку*, и поставило стража (со всем в духе Быт. III), и спилило дерево, и наты погибли.

Джехджаур узнал и вострепетал. Перду'Р Абу минуло всего три годика.

1 Бирманское наименование стихийного духа.

2 Правительство в интересах, разумеется, самих же буддистов резервирует себе всю землю в радиусе пятидесяти футов от дагобы. Описанный в этой главе инцидент имел место в 1901 году.

3 Из Сиама.

И вправду все выглядело так, будто судьба ополчилась против него. Бедняжка Джехджаур!

В отчаянии воззвал он к своему напарнику:

— О, Ганеша! Только лишь в мире богов будем мы в безопасности. Пусть родится он флейтисткой пред престолом Индры!

— Непросто добиться такого, — проворчал встревоженный бог, — но я уж постараюсь, приложу все свое влияние. Знаю я кое-что об Индре. Вот, скажем...

Все получилось. Прекрасен был лик девы, явившейся уже взрослой из лона Материи и пустившейся в жизненный путь длиною в сотню тысяч лет. Из всех флейтисток Индры играла и пела она усладительнее прочих. И все же некое воспоминание, смутное, как бледный призрак, скользкий ночью порой по длинным аллеям из кедров и лунного света, прокрадывалось украдкой в ее разум, и песнь ее была все о любви и смерти, и музыка лилась словно бы из иного мира.

И вот пела она как-то, пела и вдруг сокровенная правда вспыхнула в душе ее, и познала она Благородные Истины. И изготовила она уже флейту к совсем новой песне, как — о, ужас! — внутри той откуда-то взялся комар.

— Фью! Фью! — начала флейта.

— Бзззз! Бзззз! — отвечивал гнус из сокровенных глубин нежного ее естества.

Диск у Индры был всегда под рукой.¹

О, горе, горе! Джехджаур, Джехджаур, не беда ли наступает на пяты твои? Лишь восемь месяцев отпущено было деве!

— Как же ты напортачил! — ревел Ганеша. — К счастью, на сей раз все складывается в нашу пользу. Индру только что гильотинировали за подлое убийство, так что место его свободно.

— Эврика! — возопил маг. — Сама его добродетель уберет нового бога от судьбы предшественника.

Узрите же Перду'Р Абу на престоле Индры! Но господи ты, боже мой, к нему опять возвращается память!

¹ Метательный вращающийся диск — символическое оружие Индры.

— Сдается мне, — созерцательно молвил Громовержец, — что в последнее время я много менялся. Ну, что ж, я добродетелен, а добродетель — помню, читал у Кроули в новом переводе Дхаммапады¹ — это такая штука, которая держит тебя в состоянии устойчивого равновесия. Так что, думаю, можно рассчитывать провести мою *махакальпу* в практически аркадийской простоте. Так вы говорите, мальчик, госпожа моя Бхавани? Да-да, я дома. И захватите бетель!

— *Jeldi!*² — добавил он, как бы смутно припоминая Британское Правительство и детство какого-то крошки-ната.

Царица Небесная и Владыка Богов жевали бетель довольно долго. Они изящно и учтиво поговорили о погоде, об урожае, об *affaire Humbert*³ и о том, как закон относится к автомобилям.

Что могло быть дальше от благочестивого ума Индры, чем флирт с высокопоставленной гостьей! Напротив, мысли его занимала пустая природа сейфов, оборота денежных средств и социального положения, скорбь чересчур доверчивых банкиров, но прежде всего — отсутствие «я» у братьев Кроуфорд!

Пока он предавался таким размышлениям, Бхавани успела не на шутку разъяриться. *Spretae injuria formae*⁴ глодало недра ее муками неутолимыми; потому вцепившись ему в руку и как следует потрясши ее, богиня изложила суть дела без обиняков.

— Ну, мадам! — только и мог воскликнуть Индра.

Эту часть сюжета уже рассказывали — например, про Иосифа.

Бхавани поступила проще: она выкатила язык, распахнула рот и одним глотком покончила с Индрой.

Джехджаур катался по полу. Индра продержался семь дней.

1 Он его забросил. В печати появилось лишь несколько фрагментов (см.: Oracles (1904) в издании: *The Collected Works of Aleister Crowley*, vol. II (1906), p. 44).

2 И побыстрее! (*хинди*).

3 Дело Юмберов — шумевший процесс, начавшийся в XIX веке и продолжившийся в XX-м (всего около 20 лет), по делу о вымышленном многомиллионном наследстве вымышленного мистера Кроуфорда, под которое мадам Тереза Юмбер получила займов более чем на 120 миллионов франков. Наследство оспаривали, подтверждая тем самым его существование, племянники мистера Кроуфорда, оказавшиеся в итоге братьями самой мадам Юмбер. — *Примеч. перев.*

4 Оскорбление, нанесенное оставленной в небрежении красоте (*лат.*) (Вергилий, «Энеида», 1:26—7. Аллюзия на Юнону, которой Парис не дал золотого яблока. — *Примеч. перев.*

— Осталось только одно воплощение! — рычал Джеджаур. — На этот раз мы должны победить или сдохнуть.

«Гэтия говорит, что всякий бог должен исполнять долг свой», — в волнении лунографировал он на *Сваргу*¹. Но Ганеша уже поспешал к нему. Слоноголовый бог пребывал в превосходном расположении духа.

— Никогда не торопись сдохнуть! — сердечно вскричал он при виде удрученного силуэта соратника по заговору. — Я знаю, как сломать эту закономерность! В *арупа-брахмалоке*² ничего не меняется!

— Не сыпь мне рупии на рану! — простонал некромант.

— А ну, вставай, дурак! — взревел бог. — Я устроил так, что Перду'Р Абу избрали Махабрахмой!

— Господи, да неужели? — волшебник даже слегка просветлел лицом.

— А то! — громогласно вопил бог. — Пусть эон за эоном шествуют по гулким сводчатым коридорам вечности; пусть *махакальпа* громоздится на *махакальпу*, пока не минет *асанкхайя*³ *кроров*⁴ — а Махабрахма будет все сидеть в единстве своем, погруженный в медитацию, на лотосовом троне!

— Отлично, отлично! — потер руки маг. — Хотя тут местами просматриваются реминисценции на Бхагавад Гиту и «Свет Азии». Ты же не читал Эдвина Арнольда, правда?

— Читал, — сокрушенно вздохнул бог. — Нам, индуистским богам, приходится. Это, видишь ли, единственный способ получить ясное понятие о том, кто мы на самом деле такие.

И вот он, наш Перду'Р Абу — прямо после такого фиаско! — воздвиген как Достойный, Почтенный, Совершенный, Древний и Принятый, а кроме того, Регулярный Махабрахма.

Единственным его занятием теперь была медитация, ибо пока он занимался одной лишь ею, миры — то есть, вся целокупность десяти тысяч миров — могли чувствовать себя совершенно спокойно. Никому не рекомендуется читать в этом

1 Небеса.

2 Высшее небо индуизма. Зовется «Не имеющим формы местом Брахмы».

3 «Бесчисленность» — максимальная единица счисления в причудливой индийской арифметике.

4 10000.

— Почтенный сэр! — сказал Махабрахма, напяливший по случаю визита личину простого пастуха. — Лобызаю ваши божественные трильби! Простираюсь ниц пред вашей многовосхитительной достопочтенностью!

— Сэр, — отвечал святой человек (не кто иной как Господь наш собственной персоной). — Да ты никак ищешь просветления!

Махабрахма глупо ухмыльнулся, но признал, что да.

Божественный Абсолют Сокровенного Единства, — объяснил ему Триждыпрославленный, — принимающий форму последовательности сефирот и скрытый Вечной Бездной Непостижимости, этот обобщенный символ беспредельного НАСТОЯЩЕГО, не имеющий ни прошлого, ни будущего, вечно колеблется от Небытия к Бытию через Потенциальность. Голос Веков достигает самых крайних пределов пространства, открываясь слуху лишь в состоянии полного сосредоточения на умопостигаемой Абстракции; и Голос тот вечно изрекает Слово, символически запечатленное в океане беспредельной жизни². Ясно я выражаюсь?

— Более чем. Кто бы мог подумать, что все так просто!

После этого Бог прочистил горло и продолжал довольно застенчиво и даже как бы стыдливо:

— Но вот что я на самом деле хочу узнать, так это про мои воплощения. Как так могло получиться, что я столь внезапно вознесся от изменений и смерти к неизменному?

— Дитя, — отвечал Гаутама, — факты твои неверны, так можно ли ожидать корректных выводов?

— Конечно, можно, если логические методы тоже ущербны. Так все христиане добывают истину!

— Истину! — воскликнул Мудрейший. — И сколь же мал их улов! Узнай же, о, Махабрахма (ибо я зрю сквозь твою личину), что все сущее, начиная тобой и заканчивая этой крупинкой песка, обладает Тремя Качествами. Они суть Изменчивость, Скорбь и Нематериальность.

1 Ноги.

2 Сей поразительнейший пример напыщенного бреда представляет собой дословную цитату из примечания некоего С.Л. Мазерса к «Разоблаченной каббале».

— Песок еще ладно, но как же я? Говорят же, что я неизменен.

— Можешь еще сказать, что каламбур — это двусторонний треугольник, — отрезал Спаситель. — Это еще не доказывает реального существования подобного оксюморона.¹ Истина же состоит в том, что ты — крайне духовное существо и, следовательно, жертва долговечности. Человеческая жизнь так коротка, что твоя по сравнению с ней кажется вечной. Но... а, ладно, с тобой так приятно поболтать! В общем, уже через неделю ты будешь мертв.

— Мне так понравилась сила твоих суждений, — поделился мнимый пастух. — Эта вот, про качества, очень умна. Знаешь, что интересно? Последние шесть раз стоило мне постичь их, как я тут же умирал.

— Ну, тогда счастливо, старина! — сказал Гаутама. — Мне уже совсем пора. У меня встреча назначена у дерева Бодхи с братцем Марой. Он обещал познакомить меня со своими прелестными дочками...

— Прощай, и смотри, не пори горячку!

Возрадуйтесь! Боже ко древу пошел!²

Как белый стих звучит довольно погано, но зато очень наглядно показывает, что случилось дальше.

11

Вышел апрельский номер «Девятнадцатой Махакальпы». Вот что пишет в своей статье Хакслананда Свами:³

«Махабрахма всегда был не более чем идеей. Он прожил всего шесть дней».

12

— В час великого посвящения, — продолжал Будда, — в кругу пяти сотен тысяч архатов, зловредный Джежджаур

1 Терминологическое противоречие.

2 Арнольд, «Свет Азии».

3 Имеется в виду британский биолог Томас Генри Хаксли (1825—1895).

присоединился к Маре, дабы предотвратить открытие истины. И как пал Мара, так и он пал.

— В тот миг все потоки его долгой концентрированной ненависти, обратились против него, и провалился он в Бездну Бытия. И в Чертогах Рождения был отправлен в нижайшую из преисподних и стал священнослужителем в англиканской церкви — дальше от Истины, Света, Любви и Мира, чем он когда-либо был; сильней и сильней запутываясь в тенетах Обусловленности, глубже и глубже погружаясь в трясину *танхи*¹ и *авидьи*² и всего что ни есть только в свете низменного и подлого.

Да, ложные *висикитши*³ в конце концов уловили его!

13

— О, да! Пробил, наконец, час. Перду'Р Абу переродился ребенком западных родителей, понятия не имея обо всем своем достославном прошлом. Но поистине странная судьба привела его в нашу деревню!

И Будда умолк — вероятно, для пущего эффекта.

Молодой человек в публике — единственный среди собравшихся, не достигший покамест сана архата, заметно побледнел. Единственный же здесь он имел западное происхождение.

— Брат Абхавананда⁴, мой маленький друг, — молвил Будда, — что мы можем сказать обо всем сущем на свете?

— О, Господь! — отвечал неофит. — Оно непрочно, оно есть страдание, в нем нет никакого внутреннего Принципа, способного, как полагают некоторые, избежать действия сил распада или самоустраниться от него.

— Откуда тебе это известно, маленький братец? — улыбнулся Триждыпрославленный.

— Господи, всякий раз, обращаясь мыслями ко вселенной, я постигаю эту Истину. Более того, знание это, кажется, записано в самой моей природе — возможно, потому, что я жил с ним на протяжении многих перевоплощений. Я никогда и не думал по-другому.

1 Жажда, то есть, желание в низком смысле слова.

2 Невежество.

3 Сомнения.

4 «Блаженство несуществования». Одно из восточных имен Кроули.

— Встань, сэр Абхавананда. Посвящаю тебя в архаты! — вскричал тогда Будда, ласково шлепнув неофита по спине мочкой уха.¹

И тот постиг.

Когда аплодисменты и славословья малость поутихли, Будда, купаясь в золотом блаженстве заката, дал происходящему следующее объяснение:

— Ты, Абхавананда, — сказал он, — и есть Перду'Р Абу из моей сказки. Зловредный Джехджаур близко познакомился с горшком кипящего масла, пока ждал из прачечной свои литургические облачения. Что же до меня, я и был той бациллой в джунглях Ланки; и старой леди, и Британским Правительством (тут он содрогнулся) — тоже был я. Я был комаром, затесавшимся во флейту девицы, и Бхавани, и Хушланандой Свами, и наконец, в благословенный сей час, я тот, кто я есмь.

— Но, Господь, — спросили единым духом Пять Сотен Тысяч и Один Архат, — тогда Ты повинен в шести случаях насильственной смерти! Более того, Ты гнал одну-единственную душу от гибели к гибели через все инкарнации! А как насчет Твоей же Первой заповеди?²

— Дети, — отвечал им Достославный, — не будьте дураками и не думайте, что смерть — непременно зло. Не я основал Клуб Столетий и не я пригласил комаров в него вступить. Сохранить Перду'Р Абу жизнь в каждом случае значило бы играть на руку его врагам.

— Моя Первая заповедь — просто правило общего характера.³ В большинстве случаев человеку, конечно же, стоит воздерживаться от уничтожения жизни — имеется в виду, бесцельного и умышленного. Но невозможно выпить и стакана воды, не умертвив бесчисленные мириады живых существ. Если бы вы знали то, что знаю я — а именно, что суть бытия как раз

1 Известно, что уши у Будды настолько длинные, что он может покрыть ими все свое лицо. В индуистском символизме уши связаны с духом, поэтому смысл легенды заключается на самом деле в том, что Будда способен пребывать в нем одном, безо всякого участия низших элементов.

2 Вот она, та трещина в лютне, из-за которой Кроули отошел от активной деятельности на буддийском поприще; ортодоксальные верующие понять его позицию так и не смогли.

3 Куда более удобная идея, чем безупречно логичный бред пансила. (См.: "Pansil", *The Collected Works of Aleister Crowley*, vol. II (1906), p. 192.)

и заключается в смертельной и неизбежной борьбе одних форм жизни с другими, причем каждая — прирожденный и неумолимый враг всякой другой, с крайне, крайне немногими исключениями — вы не только бы сей же час прекратили болтать о том, как плохо причинять смерть, но и постигли Первую Благородную Истину — о том, что никакая жизнь не может быть свободна от страданий. А с ней и Вторую — что желание жить ведет только к страданиям. И что прекращение жизни есть прекращение страданий (а это уже Третья). И стали бы искать в Четвертой Выход — Благородный Восьмеричный Путь.

— Я знаю, о, архаты, что в этих наставлениях вам нужды нет. Но слова мои не упокоятся среди вас: они полетят вдаль и даруют просветление всей целокупности десяти тысяч миров, где архаты не растут, как здесь, гроздьями на каждом дереве.

— А теперь, братцы мои, ночь настала. Нам надо бы поспать.

Гипатия Гей² смиренно постучалась в дверь апартаментов графа Сванова³. Миссия у нее была прелюбопытная: послужить орудием зависти некоего длинного, тощего, меланхолического и вдобавок невымытого поэта, которого она любила. Уилл Бьют⁴ был не только горе-стихоплетом, но и дилетантом от магии; черная зависть к более молодому самцу и куда более замечательному поэту глодала его жалкое сердце. Ему удалось обрести некоторое — не особо, впрочем, глубокое — гипнотическое влияние на Гипатию, которая помогала ему в церемониях, а теперь оказалась отряжена на поиски его магического соперника и установление с ним некой симпатической связи, при помощи которой его удастся изничтожить.

Дверь открылась, и дева всплыла из холодных каменных сумерек подъезда в чертоги злата и роз. Апартаменты поэта были суровы и даже аскетичны в своей элегантности. Гладкая черно-золотая бумага из Японии укрывала стены; посреди с потолка ниспадал старинный серебряный светильник, в котором мерцала темно-рубиновым светом электрическая лампа. Пол устлали чернь и золото леопардовых шкур. На стене красовалось громадное распятие из слоновой кости и черного дерева. Перед пылающим огнем возлежал сам поэт (пожелавший сокрыть свое королевское кельтское происхождение под псевдонимом «Сванов») и читал большой переплетенный в велень том.

Навстречу ей он встал.

— Много дней ждал я вас, — возвестил поэт. — Много дней оплакивал вас. Я вижу вашу судьбу. О, как тонка нить,

1 Рассказ написан около 1908 года и впервые опубликован анонимно в журнале «Эквинокс», I (1) (март 1909 года). В рукописных примечаниях к «Эквиноксу» Кроули утверждает: «Эта история достоверна во всех подробностях. Произошли эти события в 1899 году е.в., в мае или июне».

2 Алтея Джайлс. — *Примеч. А. Кроули.*

Алтея Джайлс (1868—1949), ирландская актриса и художница, приятельница У.Б. Йейтса (см. ниже).

3 Алистер Кроули. — *Примеч. А. Кроули.*

Свою первую лондонскую квартиру в доме № 67—69 по Чансери-лейн Кроули снимал под псевдонимом «граф Владимир Сварев».

4 У.Б. Йейтс — *Примеч. А. Кроули.*

Уильям Батлер Йейтс (1865—1939), ирландский поэт и посвященный Герметического ордена Золотой Зари. Кроули питал к нему глубокую неприязнь.

связующая вас с Братством Серебряной Звезды, чьим трепещущим неофитом я являюсь — и как извилисты и могучи щупальца Черного Спрута, которому вы служите ныне. О, вырвитесь же скорее прочь, пока вы еще хоть как-то связаны с нами — я не хочу видеть, как вы погрузитесь в Несказанные Хляби. Слепы и гнусны черви сих Хлябей: придите же ко мне, и Верою Звезды я спасу вас!

Но дева тихим смешком осадила его.

— Я пришла всего лишь поболтать с вами о ясновидении, — возразила она. — Зачем вы угрожаете мне всеми этими странными и жуткими словами?

— Затем, что я вижу: сегодня для вас может стать решающим днем. Войдете ли вы со мною в Белый Храм, где я принесу Обеты? Или вступите в Храм Черный, чтобы прозакласть свою душу?

— Да вы глупец, право слово, — возразила на это она. — Но в следующий раз, так и быть, я сделаю, как вы хотите.

— Сегодня выбор; завтра — судьба, — торжественно проговорил юный поэт.

После чего беседа перешла на темы более легкомысленные.

Однако уходя, она умудрилась поцарапать ему руку брошью, и с триумфом отнесла крошечную капельку запекшейся на застежке крови своему господину. О, что за странные дела он намерен был с ней сотворить!

* * *

Сванов закрыл книгу и отправился почивать. На улице стояла мертвая тишина. Он обратился думами к Бесконечному Безмолвию Божественного Присутствия и погрузился в мирный сон. Никакие видения не тревожили его, а проснулся он позже обычного.

Но что за странность! Здоровый румянец увял на его щеках; руки были тонки и белы, и покрыты морщинами; а тело снадала такая слабость, что он едва доковылял до ванной. Завтрак, впрочем, его немного освежил, но еще более — ожидание визита учителя.

Наконец, учитель' явился.

— Ага, маленький братец, — вскричал он, войдя. — Ты меня не послушался. Ты снова играл с Гоэтией!

— Клянусь вам, наставник! — и поэт глубоко поклонился адепту.

Новоприбывший был смуглый мужчина с исполненным мощи чисто выбритым ликом, почти утонувшим в копне черных, как смоль, кудрей.

— А, маленький брат, — возразил тот ему, — если это так, значит, Гоэтия играла с тобой.

Тут он поднял голову и приняхался.

— Я чую зло, — сказал он. — Чую темных братьев беззакония. Исполнил ли ты должным образом Ритуал Пламенеющей Звезды?

— Трижды в день, по вашему слову.

— Тогда зло вступило сюда во плоти. Кто здесь был?

Юный поэт все ему рассказал. Глаза у того запылали.

— Ага! — воскликнул он. — Да свершится же Работа!

Неофит предоставил наставнику все необходимое для письма: перо молодого гусака, снежно-белое; девственно-новый пергамент молодого агнца мужского пола; чернила из желчи некой редкой рыбы; и, конечно, таинственную Книгу.

Учитель начертал на пергаменте некоторое количество не поддающихся пониманию знаков и букв¹.

— Положи это под подушку и так спи, — велел он. — Если на тебя нападут, ты проснешься, и что бы на тебя ни напало, убей его. Убей его! Уничтожь! Затем немедленно отправляйся в храм и, приняв форму и достоинство бога Хора, отошли назад Тварь, к тому, кто ее послал, всей силой пребывающего в тебе Бога! Идем же! Я начертаю на тебе слова, знаки и заклинания, потребные для сей работы магического искусства.

И они скрылись в небольшой белой комнате, сплошь забранной зеркалами, которую Сванов отвел под храм.

1 Алан Беннет. — *Примеч. А. Кроули.*

Алан Беннет (1872—1923), наставник Кроули в ордене Золотой Зари.

2 Вероятно, талисман из «Большого ключа Соломона». Этот пергамент сохранился у меня в архиве, вложенный в одну старинную книгу талисманов. — *Примеч. А. Кроули.*

Тем же вечером Гипатия Гей относила несколько рисунков к издателю¹ на Бонд-стрит. Этот человек, раздутый болезнью и пьянством, губы имел отвислые от вечного вожделения, глазки сальные и источающие яд, а щеки — казалось, готовые взорваться неведомыми воспалениями и изъязвлениями.

Он покупал рисунки юной дамы². «Не столько потому, что они хороши, — объяснил он, — сколько из желания помогать молодым дарованиям вроде вас, моя милочка!»

Ее суровые девственные очи встретили его взгляд бесстрашно и без каких-либо подозрений. Твари осталось лишь съежиться и прикрыть свою грязь отталкивающей ухмылкой стыда.

Наступила ночь. Молодой Сванов опочил бестревожно, но с некоторым любопытством, отличающим тех, кто ждет ужасного и неизвестного, но преисполнен решимости победить.

На эту ночь сны явились ему — и были сладостны.

Тысячу лет странствовал он в пряных садах, у возлюбленных потоков, в сени усладительных деревьев, в лазурном экстазе приятнейшей из погод. В конце длинной падубовой просеки, устремлявшейся к мраморным чертогам, стояла женщина — прекраснее всех своих земных сестер. Не успел он заметить, как оказался подле нее, и вот уже она — в его объятиях. В это мгновение он пробудился. Дама и правда возлежала в его объятиях и дождем пылающих поцелуев осыпала ему лицо. Она окутала его пламенем экстаза; касанья ее пробудили дремавшего в нем змея безумья.

И тут, будто удар молнии, вспыхнули у него в памяти слова учителя: «Убей!»

В сумрачном нежном свете видел он милый лик, лобызавший его устами бесконечных блаженств, внимал воркующим речам любви.

¹ Леонард Смитерс. — *Примеч. А. Кроули.*

Леонард Смитерс (1861—1907), издатель декадентской литературы.

² Рисунки предназначались для «Дома блудницы» Оскара Уайльда. — *Примеч. А. Кроули.*

— Убить! О, мой Бог! Адонаи! Адонаи! — вскричал он и схватил красотку за горло. О, Господь! Ее плоть была непохожа на плоть смертных женщин. Под руками она оказалась твердой, словно резина, так что сильные его молодые пальцы попросту с нее соскользнули. И, кроме того, он любил ее — любил любовью, о какой и помыслить не мог до сих пор!

Но он знал как, о, да! Он знал! Величайшее отвращение примешалось к его вождельню. Долго боролись они. Наконец, ему удалось ее оседлать и всем своим весом вдавить пальцы ей в шею. Она издала лишь один задыхающийся вопль — вопль многих дьяволов в аду! — и умерла. Он был один.

Он умертвил суккуба и поглотил его. О, что за силой, что за пламенем ревели его жилы! О! Как он выпрыгнул из кровати и скорей натянул святые одеяния! Как призвал он Бога Отмщенья, могучего Хора и спустил Мстителей на черную душу, алкавшую жизни его!

В конце ритуала он был тих и счастлив, будто младенец. Он вернулся в постель, спал хорошо и пробудился во всей своей силе и славе.

* * *

Ночь за ночью десятков раз играли и переигрывали они эту сцену, и всякий раз — точно так же. На одиннадцатый день он получил открытку от Гипатии Гей, извещавшую, что вечером она придет повидаться.

— Сие означает, что материальная основа их магии истощилась, — объяснил ему наставник, — и она хочет еще одну каплю крови. Но нам пора положить этому конец.

Они вышли в город и приобрели некое снадобье, известное наставнику¹. И в то самое время, когда она звонила в поэтову дверь, они очутились в меблированных комнатах, где она обитала, и втайне окропили снадобьем все жилище². Действие его оказалось престранным: не успели они покинуть дом, как

1 Валерианат цинка. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Хозяйка квартиры закатила страшный скандал; но ведь русский аристократ всегда прав! Джайлс дала этот порошок какому-то химику на анализ, и тот заявил, что это всего-навсего костная пыль!!! — *Примеч. А. Кроули.*

со всех концов света явилась досаднейшая компания кошек и расцвела зимний вечер своими жуткими криками.

— Этого хватит, — хихикал учитель, — чтобы разуму ее нашлось чем себя занять. Какое-то время нашему другу придется обойтись без ее черной магии!

И верно — связь оказалась разорвана. Сванов почивал в мире и покое.

— Если она явится снова, — сказал напоследок учитель, — оставляю наказание на твое усмотрение.

* * *

Минул месяц. Но вот безо всякого объявления Гипатия Гей снова стучалась в двери графа. Девственные очи ее улыбались, а цель была еще страшней предыдущей. Какое-то время Сванов пофехтовал с нею словами, после чего она перешла к соблазнам.

— Довольно! — сказал он ей. — Прежде сдержите свое слово и войдите в храм!

Преисполненная верой в темного своего господина, она согласилась. Поэт приоткрыл крошечную дверь и тут же быстро захлопнул за нею, повернув в замке ключ.

Пройдя в совершенную тьму, скрывавшуюся за завесой из черного бархата, она мельком увидела царящего здесь бога.

Скелет сидел там, скелет, и кровь испятнала его кости! Перед ним стоял алтарь зла — круглый стол, опиравшийся на фигуру стоящего на руках негра. На алтаре тлело тошнотворное благовоние, и вонь закланых богу жертв оскверняла воздух. Комната была совсем мала, и девушка, пошатнувшись, налетела прямо на скелет. Ох, если бы чисты были его кости! Но нет, жирная слизь покрывала их вперемешку с кровью, словно бы жуткие ритуалы вот-вот готовы были наделить его новым телом из плоти. В омерзении она отшатнулась.. и внезапно обнаружила, что он живой! Скелет двигался к ней! Она выкрикнула богохульство, которое гнусный ее повелитель избрал себе как мистическое имя; только глухой хохот отразился ей эхом в ответ.

Теперь она знала все. Она знала, что искать пути левой руки — значит обрести власть слепых червей Хляби. И она

воспротивилась. Даже и тогда могла она воззвать к Белым Братьям — но не стала. Ужасные чары сомкнулись над ней.

И стал ужас.

Нечто — нечто такое, супротив чего не могли ее защитить ни одежда, ни сопротивление — овладевало ею, проедало себе путь внутрь нее...

И смертным холодом веяло от его объятий! Но адская хватка, стиснувшая ее сердце, наполнила его устрашающей радостью. Она кинулась вперед; она заключила скелет в объятия; юными своими губами прижалась она к его костяным зубам и поцеловала их. В тот же миг, словно бы повинуясь сигналу, поток гибельных вод смыл всю человеческую жизнь из ее существа, и словно бы стальной прут пронзил ее от основания позвоночника до самого мозга. Она миновала врата бездны. Вопль за воплем несказанной агонии вырывался из скорченных мукою уст; она извивалась и выла в этом адском празднестве венчанья с Бездонным.

Но вот измождение охватило ее, и с тяжким рыданием она пала на пол.

* * *

В себя дева пришла уже дома. Плачевный кошачий ансамбль все еще оглашал окрестности. Она пробудилась и содрогнулась. Две записки ожидали ее на столе.

«Идиотка! — гласила первая. — Они идут по моим следам, жизнь моя в опасности. Ты уничтожила меня — проклиная!»¹

Вторая — вежливое извещение от издателя, желавшего еще рисунков. Потрясенная и отчаявшаяся, она сгребла свой альбом и отправилась к нему на Бонд-стрит.

Лепрозный свет полной деградации увидал он в ее глазах. Темный румянец залил его щеки; он облизнул губы.

¹ Это единственное во всем рассказе преувеличение. — *Примеч. А. Кроули.*

В «РЕЗВОМ КРОЛИКЕ»

Умостившись на скрещении двух самых крутых улочек Монмартра, нам сияет «*Lapin Agile*», «Резвый кролик» — крошечное окошко, заполненное поблескивающими бутылками, насквозь пронизанное светом изнутри; при нем крошечная терраска со столами, стульями и кустами, и пара темных дверей.

Родерик Мейсон взлетел громадными шагами по крутизне Рю-Сен-Венсан, решительно зажав зубами трубку; холм этот и вправду слишком крут, чтобы на ходу прохладиться. На террасе он потянулся, оборотился кругом себя с полдюжины раз, словно какой-нибудь дервиш, сунул трубку в карман и, сторбившись, проник через дверной проем внутрь.

Добрый старый Фредерик,² конечно же, был там, в своих просторных вельветах и зойдвестке, с виолончелью в придачу.

Его стриженная седая борода была еще на оттенок блее, чем когда Родерик в последний раз инспектировал «Кролика» пять лет назад. Зато добрые, веселые, победительные глаза время ничуть не затуманило. Он мгновенно признал Родерика и беззаботно подал ему левую руку, словно расстался с ним всего лишь вчера. Для хозяев таких орлиных гнезд, чья жизнь полна довольством, вином, песнями и простым человеческим счастьем, время идет легкой иноходью.

1 Рассказ был написан в Париже в 1908 году, вероятно, весной. Впервые опубликован в «Эквиноксе», I (2) (сентябрь 1909 года) под псевдонимом «Марциал Ней». По поводу рассказа Кроули писал: «Написано (думаю, в Париже) после первого визита в «Резвого кролика». В компании со мной были, кажется, Нина Оливье, Генер Скене и Виктор Нойбург. Я тогда был влюблен в девицу по имени Марсель из борделя на улице Четырех Ветров». «Резвый кролик» — кабаре на рю де Соль на Монмартре, связанное с именами Пикассо, Модильяни и Аполлинера. Нина Оливье — см. примечания к «Испытанию Иды Пендрагон». Генер Скене (1877—1916) — кузен Кетлин Брюс (там же), впоследствии Кетлин Скотт, и аккомпаниатор танцовщицы Айседоры Дункан. Поэт Виктор Нойбург (1883—1940) — один из самых продвинутых магических учеников и соиздатель «Эквинокса». — *Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.*

2 Частично персонаж списан с ирландского художника Родерика О'Коннора (1860—1940), игравшего к тому же на виолончели.

Вот на таких, как Фредерик, и возложены надежды этого мира. Его не соблазнить автомобилем, на котором можно вальяжно прикатывать в контору, чтобы мучить и поработать оттуда сограждан. Надутые, одышливые, разряженные магнаты коммерции и финансов суть не жизнь, а недуг общества. Чудовищная громада отеля — не символ гостеприимства, а тюрьма. Цивилизация — сплошное безумие, но пока есть люди вроде Фредерика, остается надежда, что и это тоже пройдет. Горе нашей земле, если Бамбл¹, Рокфеллер и их жертвы останутся единственными экономическими подвигами человека разумного!

Родерик угнездилился на своей любимой скамье у стены и произвел инвентаризацию.

О, как хорошо ему памятен необъятный Христос на том конце комнаты, рожденный, как в пору было подумать, воображением какого-нибудь гиганта ушедших времен, а ныне сплошь покрытый сухой зеленой лишаеподобной гнилью, так что все члены его гляделись распухшими и вывернутыми. Да, он производил невероятно сильное впечатление — какой-то омерзительной болезни, полностью задавившее первоначальное намерение художника живописать муки, причиняемые человеком человеку.

Родерик, ни на йоту не походивший на приличного гражданина, был в действительности вольнодумцем и полагал картину безжалостно точным символом религии наших дней.

Одесную Его возвышалась гипсовая муза, вооруженная лирой. Художественный эффект ее решительно улучшала маска комедии с широченной ухмылкой и длинным малиновым носом. Ошую — каменная палетка Лакшми, индуистской Венеры, и вправду превосходное произведение искусства, величавое и чистое, единственный оазис святости в этой комнате, не считая еще преизящного карандашного наброска ребенка, выполненного со всей деликатностью и мощью Уистлера². Прочие декорации представляли собой очаровательную помесь гротеска с непристойностями. Скетчи, пастели,

¹ Бамбл — персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», попечитель работного дома, жестоко эксплуатирующий детский труд.

² Вероятнее всего имеется в виду Джеймс Эббот Макнил Уистлер (1834—1903) — английский живописец и график американского происхождения.

гравюры, карикатуры, масло, да все возможные виды искусства истощились здесь в благородной попытке бичевания пороков — пороков мысли, линии, цвета, словом, всего, что для нас символизирует женщина.

И эти гротескные непристойности или непристойные гротески никак, никоим образом не намекали на евреев, а просто отражали здоровую реакцию жизни и юности на искусственность и алчность до денег.

По случаю, никого из важных птиц в «Кролике» не наблюдалось. Фредерик со своим сердечным тоном и мужественной повадкой, не столько шествовавший, сколько плясавший, естественным образом доминировал в собрании.

Однако в приятном полумраке маленького кабаре все же вырисовывалась одна поистине примечательная фигура.

Там сидел человек, смиренный и жалкий — вы бы даже сказали, явно и часто из многих мест с презрением выставленный. Лет ему стукнуло, вероятно, около семидесяти; выглядел он старше. Для него время не двигалось вовсе, ибо облачен он был в платье франта Второй Империи¹.

Носил он его, надо сказать, весьма изящно и в своем темном углу сидел с таким видом, словно хоть сейчас на торжественный бал или к ступеням трона.

Фредерик тем временем весело и с большим искусством — так непохожим на многотрудную неумелость оперы! — исполнил простые легкие куплеты и подплыл к Родерику убедиться, что кофе у него — именно такое, как нужно.

— Как все меняется, Фредерик! — молвил тот с легкой грустью. — Где, скажи мне на милость, Корова-Мадлен?

— В Лурсине.

— А Мими Матершинница?

— В Кламаре².

— А тот шотландский граф, который как что скажет, так будто судья вешать велит?

1 То есть, периода царствования Наполеона III — с 1852 по 1870 г.

2 Аллюзия на строфу из Эдмона Арокура (1856—1941) «Cons pourris de Lourcine et cons morts de Clamart...» («Вагины тухлые Лурсина, вагины мертвые Кламара...»). В больнице на улице Лурсин лечили сифилис, а в пригороде Кламар имелся патологоанатомический центр, где препарировали неопознанные и не востребовавшие трупы.

— Укатил в Шотландию, тут ему больше виски в кредит не давали¹.

— А его жена?

— Бедная девочка! Бедная девочка!²

— А, это должно было случиться! А Бубу Цап-за-Галстук?

Фредерик со смехом рубанул ребром ладони по столу.

— Видать, понаделал столько вдов, что ему пришлось на одной из них жениться — это только справедливо, — перевел его жест англичанин. — А Чарли-Винтовка?

— Этот — не знаю. Думаю, где-нибудь в тюрьме в Англии.

— Ну-ну. Печально, однако. «О, где ты, прошлогодний снег?»³ Мне нужен абсент. Я чувствую себя старым.

— Тебе вполтину меньше, чем мне, — возразил ему Фредерик. — Но пусть его! Да будет прошлым прошлый год, а настоящим — этот! Всех этих выдающихся личностей уже нет с нами, да и все вместе взятые они не стоят серебряной пряжки на башмаке вон того... — и Фредерик кивнул в сторону престарелого красавца.

— Точно. Никогда его не видал. А между тем он выглядит так, будто сидит тут с самого Седана⁴. Кто он такой?

— Имя его нам неизвестно, месье, — произнес Фредерик тихо и даже с некоторым благоговением, — но, полагаю, он был не иначе как герцогом, князем, уж я не знаю кем. Он даже больше — он неповторим. Он — *le Revenant de la Rue des Quatre Vents!*

— Призрак улицы Четырех Ветров?

Титул произвел на Родерика колоссальное впечатление. Тысяча самых фантастических причин подобного прозвания так и зароилась у него в голове. Возможно, на улице Четырех Ветров являлось привидение в этом обличье? Да нет, какие привидения в насквозь практичном Париже. Но из всех пришедших ему в голову идей ни одна и наполовину не сравнялась

1 Видимо, намек на Сэмюэля Лиддела Макгрегора Мазерса.

2 Видимо, намек на его супругу, Мойну Мазерс, которую Кроули упорно изображал в своих художественных произведениях простиитуирующей на улицах Парижа по приказу мужа.

3 Франсуа Вийон, «Баллада о дамах ушедших времен».

4 Имеется в виду самая знаменитая битва франко-прусской войны, произошедшая 1 сентября 1870 года при французском городке Седан.

бы странностью с той простой и естественной историей, что ему суждено было услышать позднее.

— Пошли, — между тем сказал ему Фредерик. — Я тебя познакомлю.

— Монсеньер, — возгласил он (Родерик уже занял позицию, готовый к неглубокому поклону), — позвольте представить вам месье Мейсона, он англичанин.

Старец не обратил на это никакого внимания.

— Месье проживает на бульваре Сен-Жермен, — проорал Фредерик ему прямо в ухо, — и обожает писать наши улицы.

Старец вскочил с чрезвычайной живостью, улыбнулся, поклонился, был очарован встретить одного из наших доблестных союзников, чья отвага.. — он стремительно затараторил об Альме, Инкермане и Севастополе.¹

Родерик оценил эту комедию по достоинству. Дивясь происходящему, он уселся подле древнего дворянина.

Что за чары сотворил Фредерик, что они так долго действуют?

— Сэр, — молвил он, — невероятное мужество французских войск у Малахова кургана превыше всяких похвал. Оно будет жить в веках!

Кому-нибудь другому он не постеснялся бы пропеть об *entente cordiale*², но этому человеку — не осмелился.

Не в шестидесятых ли остановилась машина этого ума?

Не катастрофа ли семидесятых разбила это сердце?

Будь осторожен, Родерик, смотри под ноги!

Но ожидаемого поворота беседа не приняла. Пожилой джентльмен элегантно, остроумно, почти весело трещал об искусстве, о музыке, о меняющемся облике Парижа. Здесь, во всяком случае, он был *au courant des affaires*³.

Когда Родерик, озадаченный и очарованный, уже приканчивал свой абсент, его визави вдруг сказал более серьезным тоном, чем до сих пор:

— Я слышал, что месье — великий художник?..

1 Речь идет о крупных сражениях крымской войны — на реке Альме (сентябрь 1854 г.), при Инкермане (ноябрь 1854 г.) и при Севастополе (1854—1855 гг.).

2 Антанта, «Сердечное согласие» (франц.) — имеется в виду период дружественных отношений между Францией и Англией в 40-е гг. XIX века. Позднее этим же термином называли военно-политический блок России, Англии и Франции в I Мировой войне.

3 Совершенно в курсе дел (франц.)

(Родерик скромно отсек и отмел рукой прилагательное.)

— ... и написал множество видов Парижа. И действительно я, кажется, припоминаю, большое полотно с Сен-Сюльпис¹ в салоне, восемь — нет, семь лет тому назад.

Родерик в изумлении воззрился на него. Как кто-то — и из них всех именно этот человек! — мог запомнить ту пачкотню, которую он сам уже давно позабыл? Старик меж тем читал его мысли.

— Один из углов этой картины весьма, весьма меня заинтересовал, — продолжал он. — Я тогда еще захотел познакомиться с автором, но вы уже ушли, и никто не знал, куда. Поистине я рад наконец-то встретиться с вами. Возможно, вы будете так добры показать мне ваши картины — у вас ведь есть и другие виды Парижа? Мне очень интересен Париж, сам Париж, его кирпичи и камни. Можно мне — если у вас, конечно, не найдется занятия получше — пойти сейчас с вами и посмотреть их?

— Боюсь, свет сейчас... — начал Родерик.

Было десять часов.

— Пустяки, — отрезал его собеседник. — У меня свои критерии качества. Света спички будет вполне довольно.

Всему этому могло быть только одно объяснение. Должно быть перед ним архитектор, чью жизнь разрушили дикие спекуляции Империи, столь мастерски описанные Золя в «Добыче».

— К вашим услугам, сэр, — сказал он, вставая.

Старикан был со всей очевидностью оригинал, и точно с тою же очевидностью — совершенно безопасен. Деньги у него водились, иначе он не стал бы таскать на себе бриллиант, стоящий каждого пенни из, пожалуй что, пары тысяч фунтов, как заключил Родерик — совсем неплохой судья по камням. От визита точно можно ждать развлечения, а, быть может, и выгоды.

Оба помахали доброму старому Фредерику — один беззаботно, друтой куртуазно — и двинулись восвояси.

Старик оказался шустр, как котенок, и обладал всем проворством юности. Вместе они стремительно промчались по бульвару, поймали фиакр, прыгнули в него и погрохотали вниз, к Сене.

Родерик забился поглубже в экипаж и погрузился в думы. Старик, напротив, выпрямив спину, восседал на краешке

¹ Церковь в 6-м округе Парижа, строилась с середины XVII по конец XIX века.

скамьи и с веселой жадностью глазел по сторонам. В какой-то момент он внезапно остановил карету перед отодвинутым по-дальше от улицы домом с низенькой оградой перед ним, выскочил, быстро его оглядел, а затем, вздыхая и качая головой, вернулся назад — чуть более усталый, чуть постаревший.

Они переехали Сену, прогромыхали по улице Бонапарта и, наконец, остановились у дверей ателье Родерика.

II

УЛИЦА ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ

— Ага, — промолвил старик, завершив осмотр картин. — Того, что я ищу, здесь нет. Если вас это не слишком утомит, я бы хотел кое-что вам рассказать. Возможно, хотя вы его не писали, он попался вам на глаза. Возможно — о, да! Мне семьдесят лет от роду, и я дурак до мозга костей.

— Слушайте, мой юный друг, — продолжал он. — Мне не всегда было семьдесят, а то, о чем я намерен вам поведать, случилось, когда мне минуло двадцать два.

В те дни я был очень богат и не менее счастлив. Я никогда не любил; мне ни до кого не было дела. Оба моих родителя давно оставили этот мир. Год свободы от ига моего старого доброго стража, герцога де Кастельнодари (упокой, Господи, его душу!), оставил меня непорочным, аки цветок. Мне была свойственна та рыцарственная вера в женщин, которая в этом мире всегда состояла уделом личностей немногочисленных и редчайших, а в остальном могла с полным правом считаться несуществующей.

Такие обычно всегда готовы к приключениям, и поскольку «пред тем, кто шанса не упустит, склонится случай сам»¹ как сказал ваш великий поэт, моя встреча с одной из них была всего лишь делом времени.

И, конечно же (я рассказываю вам об этом, так как оно поможет понять мою историю), в один прекрасный момент я очутился в крайне абсурдном положении, до которого довела меня необъяснимая вера в женскую безупречность.

¹ Кроули, «Облака без влаги» (1909 г.).

Довольно поздно ночью я возвращался домой по совершенно пустынной улице, как вдруг увидел, что в мою сторону направляются два брутального вида головореза, а между ними — дева, юная и прелестная, с ликом, зардевшимся от стыда, и к тому же кричащая от боли, так как каждый из варваров крепко держал ее за руку; вместе они волокли ее вперед весьма быстрым шагом — и одному богу известно, в какой гнусный притон!

Кулак в рожу одному и нога в живот другому! Они растянулись на мостовой. Надменно лишив их моего дальнейшего внимания, я повернулся к ним спиной и предложил девушке руку. Она же в приступе благодарности обвила руками мне шею и принялась неистово покрывать лицо поцелуями — прошу заметить, это был первый полученный мною от женщины поцелуй! Не могу сказать, что все это было совсем уж неприятно, но от девы так густо несло коньяком, что желудок у меня сжимается до сих пор при этом воспоминании. Дикари, более удивленные, чем уязвленные, принялись хохотать, но держались поодаль. Я попытался убедить юную особу отправиться домой; она со мной не согласилась. Под конец, выйдя совсем из себя, она начала молотить меня кулачками. Побоям не хватало ни силы, ни опытности, чтобы дать основание вступить в битву с безумицей, так что дать сдачи я себе позволить не мог. В общем, она избивала меня до синяков..

Я вижу эту сцену, словно она случилась вчера: ошарашенный юноша; вопящая, истекающая потом, дерущаяся и царапающаяся женщина; и двое хулиганов (в достаточной степени честных буржуа!), сползающих по стене дома, рыдающих от хохота, слишком ослабелых, чтобы стоять на ногах.

Наконец, они сжалились, подошли и высвободили меня из этого пикантного и малоприятного положения.

Весь охваченный стыдом, я крался прочь по улицам Парижа, не дерзнув той ночью вовсе идти домой, так как боялся взглянуть в лицо собственным слугам.

Я сказал себе, что это редкий и прискорбный случай, но какая-то тень, должно быть, все-таки запятнала зеркало моей идеальной рыцарственности. В прежние времена, когда

в школах еще учили логике, вам объясняли, как нежный цветок может оказаться «*universalis affirmativa*»¹.

Прошло несколько небогатых событиями месяцев после этого «крушения идеалов». Я снова поздно возвращался домой. Во второй половине дня я посетил Ботанический Сад, потом отобедал в том же квартале, а теперь стоял на мосту и глядел на Сену. Луна упала за крыши домов — тут я осознал, что пора бы и домой. Так можно, знаете ли, и на разбойников нарваться. Ничего, однако же, не случилось, пока я не оказался на улице Четырех Ветров — я всегда предпочитал узкие улочки: в них столько романтики! Оттуда, как вам известно, рукой подать до этого дома.

Я размышлял о предыдущем моем злосудии и со всей юношеской глупостью погрузился в грезы на тему «ах, если бы только...». Ах, если бы только она оказалась принцессой, похищенной злым людоедом! Если бы... Если бы..

На южной стороне улицы Четырех Ветров стоял дом, отодвинутый от мостовой вглубь и с оградой перед ним — весьма распространенный тип, не правда ли? Но один факт привлек мое внимание: перед домом царила абсолютная тьма, вернее, царила бы, если б не поток света, лившийся из окна во втором этаже. Окно было широко отворено; изнутри неслись голоса.

Первым до меня донесся старый, резкий, угрожающий голос, в котором я почуял жало жгучей ненависти — да нет, жало чего-то поистине дьявольского, куда страшнее любой ненависти! Извращенная радость злонравия наполняла его. Произносимые им слова были слишком бесчестны и гнусны, чтобы их сейчас повторять. Они шрамами врезались мне в мозг. Даже обращенные к мерзостной ведьме, рыщущей по сточным канавам в поисках падали, они все одно были бы недопустимы, невозможны, бесчеловечны! Что же до голоса, который на них отвечал...

Он был подобен звону колокольчика феи. Говорившая им — кто бы она ни была — едва ли превосходила возрастом ребенка. Чистота и сила ангела звучали в ее ответах. Удивительно, как обращавшееся к ней грязное чудовище могло его выносить, как его еще не смел удар молнии с небес!

¹ «Универсальное утверждение» (лат.), логический термин, употребленный здесь в значении «согласная на всё».

Тем временем старый голос разразился гадкими оскорблениями, пышущими самой безумной злобой.

Я услышал — о, мой бог! — свист плети и звук, с которым она пала на живую плоть.

Все смолкло за исключением зловещего хохота незримого за окном кошмара.

И жалобный, тихий стон!

Вся кровь во мне взвилась! Вне себя я кинулся на ограду и через мгновение был уже по ту ее сторону. Стремительный и никем не замеченный (так как все внимание участников сцены было сосредоточено внутри), я вскарабкался по решетке нижних окон, ухватился за край балкона, подтянулся и перемахнул через парапет.

Остановившись перевести дух (и все еще невидимый), я окинул происходящее взглядом и поразился его странности.

Комната, хотя и изящно украшенная, была совершенно лишена мебелировки — если только не отнести к этой категории кучу грязной соломы в углу, перед которой стояла плоская деревянная лохань, наполовину заполненная, видимо, хлебными корками, размоченными в воде и превращенными в месиво.

Вполоборота ко мне стояла обладательница грубого голоса и мерзкой души. То была женщина лет, вероятно, шестидесяти, с головою ангела — так правильны были ее черты, так серебристы белокурые волосы! — на безобразнейшем теле гнома. Руки волосатые и кривые, горб на спине и ноги колесом. В шишковатой правой руке держала она жуткую плеть — резная нефритовая рукоять, расцветавшая розою тонких ремней, сверкающих серебром — острыми, треугольными сколками серебра! Черная кровь капала с нее на пол. Проклятие, злоба, презрительная ухмылка запечатлелись на ангельском лице. Одежня ее довершали производимый на чувства эффект, и без того сокрушительный от невозможности и ненормальности всего этого зрелища: несмотря на жаркую летнюю пору, ее с головы до ног облачали горностаи, испещренные куда гуще обычного черными хвостиками в форме *fleurs-de-lis*¹.

Величайший контраст этому чудищу составляла скорчившаяся на полу юная девушка. На первый взгляд нелегко было вообще заподозрить в ней человеческое существо, ибо с головы

¹ Цветков лилии (*франц.*) как геральдической эмблемы.

ее бежали во все стороны потоки изысканного светлого золота, полностью скрывавшие все остальное. Лишь две крошечные ручки выглядывали наружу, сжатые, молящие о милосердии, да личико феи — обращенное вверх (вотще!) к этому средоточию черной жестокосердной ненависти. Пока я смотрел, женщина прошипела такую кошмарную угрозу, что кровь во мне застыла. Дитя отшатнулось и сжалось. Другая снова занесла руку. Я прыгнул в комнату. Карга поворотилась, сжимая плеть, и выплюнула мне в лицо еще одну гнусность.

На сей раз никакие иллюзии о святости женственности мной не владели. Одним ударом я поверг ее наземь. Кольцо с печаткой рассекло ей губу, и кровь заструилась по щеке. Я расхохотался. Дитя, однако, не двинулось с места — казалось, она едва понимала, что случилось.

Я повернулся к ней и поклонился.

— Я не мог вынести ваших криков, — сказал я ей, сообщив, как вы могли бы заметить, полную очевидность. *«Пришел, увидел, победил, о, да!»* — добавил я сам себе вполголоса. — Кто это?

И я указал на поверженную тварь.

— Ах, сэр, — и она принялась рыдать. — Это моя мать.

(И ужас происходящего возрос десятикратно.)

— Она... она..., — дитя зарделось, запнулось и вовсе умолкло.

— Я слышал вас, мадемуазель! — вскричал я в негодовании.

— Я здесь, — (она всхлипнула), — уже месяц, голодная, избитая, о! Днем окно забрано железною решеткой, а ночью — открыто, словно в насмешку над моей беспомощностью!

Затем с внезапным воплем она простерла маленькую розовую ручку, открыв безупречное плечо:

— Смотрите! Смотрите, она там, за вами!

Мать с бесконечным коварством отползла в сторону, сумела подняться на ноги и скорчилась, готовая взмыть в прыжке. В руке ее сверкнул тонкий стилет. Я едва успел, почти ее не видя, уклониться от выпада, но лезвие все равно оцарапало мне руку.

Я обернулся. Она кинулась снова, всем своим весом сметая меня, будто соломинку. Пасть ее скалилась, как у волка.

На этот раз она достала меня сильнее. Еще поворот, бросок. Теперь я сменил тактику и бросился ей навстречу. Она

запуталась в мехах, я был быстрее. Я ударил по руке с ножом с такою силой, что клинок вылетел из нее и, дрожа, воткнулся в пол: тяжелая рукоятка вогнала тончайшее лезвие в полированное дерево. Несмотря на это, я ухватил ее покрепче за пояс, заблокировал руку и одним мощным усилием спины швырнул в воздух, нимало не заботясь о том, куда ей заблагорассудится приземлиться.

По счастью, она налетела на ограду балкона, проломила ее и рухнула на брусчатку двора. Я услышал удар, но ни крика, ни стонов затем. Я вышел на балкон. Она лежала бездыханной — живое себя выдает! Белые ее волосы темнели, напитываясь густеющей кровью.

Я вернулся в комнату. С тех пор я знаю, что каждая смерть влечет за собой престранное чувство облегчения. Есть в ней какая-то надежная окончательность. *La comédie est jouée*¹ — и ты обращаешься к новой жизни и новым делам.

Золотое дитя не шелохнулось. Оно лишь свернулось в комочек и ударилось в тихие, сладостные рыдания.

— Ваша мать мертва, — сказал я отрывисто. — Могу я предложить вам покровительство моей крестной, герцогини де Кастельнодари? Вставайте, мадемуазель, нам пора.

— Благодарю вас, сэ, — отвечала она, все еще всхлипывая, — но Жан уже проснулся, и он за дверью. Жан силен и свиреп, как старый волк!

Я схватил с полу кинжал.

— Зато я могуч и гибок, как молодой лев! Пусть остережется старый волк!

— Я не могу встать, сэ, не могу, — смятение ее становилось все острее. — я не смею двинуться... Я... я... мать забрала всю мою одежду.

Я изумился — за этим чертогом золотых волос никто бы подобного даже не заподозрил. Теперь наступила моя очередь краснеть и самым ярким образом. Дилемма представлялась совершенно абсурдной.

— Все в порядке, — сказал я, наконец, — я спущусь вниз и заберу горностаев.

Она содрогнулась при этой мысли. Меха ее мертвой матери!

— Так надо, — сказал я твердо.

¹ Комедия сыграна (франц.).

— Идите же, мой отважный рыцарь! — нежная улыбка озарила ее лицо. — Вверяю себя вам.

Я склонил перед нею правое колено.

— Вы будете моей госпожой, — воскликнул я, — клянусь сражаться во имя ваше, почитать и любить вас вечно!

Она протянула мне правую ручку — о, как нежна и хрупка была ее красота! — и я ее поцеловал.

— Мой рыцарь, — молвила она, — Жан уже внизу. Вы управляетесь, быть может, на смерть — поцелуйте же меня!

С рыданием я схватил ее в объятия, и уста наши встретились. Погрузившись в транс, я смежил веки; мышцы мои обмякли, и я пал перед нею ниц.

Когда я открыл глаза, она молилась. Неслышно, ни слова не говоря, я двинулся к окну, взял кинжал в зубы, перемахнул через ограждение и легко приземлился подле мертвого тела. Ведьма была совершенно мертва: череп проломлен, зубы оскалены в последней гримасе. Она лежала на спине; я распахнул шубу, перевернул ее. Мрачный мой труд был почти окончен, когда двери дома распахнулись, и старик с иссеченным шрамами лицом и одной губой, наполовину отсеченной в какой-то старой стычке (так что ухмылка у него вышла жуткая и кривая) кинулся на меня с рапирой в руке. Мой стилет, хотя и куда длиннее обычного, все же был совершенно бесполезен против оружия такого предела действия.

В последний момент горностаевая шуба спасла меня, позволив отразить удар. О, если бы только мне удалось запутать в ней рапиру, враг оказался бы всецело в моей власти! Он тоже заметил это и предусмотрительно уклонился. На самом деле перевес был на моей стороне. Угрожая швырнуть шубу, я выбирал момент, чтобы поймать его оружие, ослепить противника и пустить в ход кинжал — он отступал и отступал, огибая по кругу двор.

Ни звука не доносилось из комнаты наверху. Возможно, кроме нас троих в доме никого не было. Увы, битва не могла длиться вечно; вес шубы вскоре меня истощит и сведет на нет преимущества возраста. Не успел я понять, что происходит, как мы уже фехтовали на улице. На помощь я не звал — тут, скорее, дозовешься бандита, чем стража порядка. И вот еще вопрос: на чьей стороне будет закон?

Я со всей определенностью убил даму и теперь прилагал все усилия, чтобы с помощью украденных у нее мехов укукошить слугу дома; кроме того, я планировал похищение. Лучше уж убить его по-тихому и скорее бежать!

Но когда и как Жан умудрился открыть железные ворота и оттеснить меня на улицу?

Впрочем, факт этот мало меня занимал, хотя и оставил неприятное чувство замешательства. Куда важнее было то, что мы дрались в полутьме (заря еще не вставала из мрака, молодая) и не на жизнь, а на смерть.

— Десять тысяч крон, месье Жан, — выкрикнул я, — и место моего слуги. Я, вижу, вы человек верный.

Я назвал ему мой титул.

— Верный до гроба! — прорычал он.

Жаль было его убивать. Мы мрачно фехтовали дальше.

— Но ваша госпожа мертва, — уговаривал я. — Вы теперь служите ее дитяти, а я этому дитяти...

Он поднял взгляд.

— Знамение! — вскричал он, указуя на огромную статую святого Михаила, повергающего Сатану, ибо мы тем временем оказались уже на площади Сен-Мишель. — Тьма слагает оружие пред светом. Я — ваш слуга, сэр.

Он упал на одно колено и протянул мне меч рукоятью вперед.

Но стоило мне протянуть руку за ним (я, позволю себе похвастаться, был готов к внезапной атаке, но не к последовавшей за тем хитрой уловке), как он вцепился в горностаев, свободно наброшенных на мою левую руку, и, оставив меня с рапирой и кинжалом, захохотал и умчался прочь через площадь Сент-Мишель. Перебросив меха через перила моста, он и сам кинулся в Сену и сильными гребками поплыл на другой ее берег.

Преследовать его не было никакого смысла. Пора подобрать мех и возвратиться с победой. Увы мне! Шуба потонула. Быстрая река, крутя, увлекла ее вниз по течению. Где же теперь мне раздобыть плащ?

Какой я глупец! На старухе было множество и других одежд под мехами — возьму их!

И я радостно пустился бегом обратно к дому.

Но то ли в волнении я промахнулся мимо нужного поворота, то ли... Короче, как бы там ни было, до сих пор не понимаю, почему мне не удалось сразу же найти дорогу. Шло время. Наконец, я признал, что заблудился, понял, как мне казалось, свою ошибку, исправил ее, заблудился еще раз.. Я не на шутку разволновался — еще бы, ведь от моего возвращения зависело столь многое! — и принялся метаться туда и сюда, словно бешеный голубь, у которого застрелили голубку. Потом я остановился и попытался собраться. Давай-ка подумаем! Где я сейчас? Оказалось, я стоял в тени (заря как раз позолотила край небес) одного из могучих плеч Сен-Сюльпис.

«Поспешай медленно! — сказал я себе. — Сейчас я пойду вдоль по бульвару, поверну на восток и просто не смогу пропустить *Carrefour de l'Odeon*». Оттуда, собственно, и начинается улица Четырех Ветров, как мне давно и хорошо было известно. Конечно, я прекрасно помнил перекресток по этой ночи — я через него проходил. Я, помнится, еще задержался там, решая, куда повернуть — вы же знаете, что он треугольный в плане, и одна улица выходит у него из вершины, а еще четыре (с двумя меньшими ответвлениями сразу за перекрестком) — из основания.

Следуя своему плану, я в три минуты или около того уверенно добрался до улицы Четырех Ветров. Она совсем не длинна, и я был убежден, что хорошо помню местоположение искомого дома — напротив крошечной улицы Сен-Грегуар, которая ведет обратно к бульвару Сен-Жермен. Конечно же, именно по этому темному проулку мы с Жаном и удалялись от дома, фехтуя. Помнится, я ожидал встретить хоть кого-нибудь в месте впадения улицы в бульвар, а потом... ох, наверное, я был слишком занят дракой — я не помнил ровным счетом ничего между устьем Сент-Грегуара и площадью, где Жан обжулил меня и удрал.

Ну, вот он я, и дом должен стоять прямо передо мной — но его там нет! Я пробежался взад и вперед по улице: там вообще не было домов подобного типа — ни домов, ни оград, ни даже жилых зданий. Я поверить не мог, что где-то ошибся! Я ущипнул себя — нет, это не сон. Более того, в этот момент

1 Перекресток Одеона (франц.) в 6-м округе Парижа.

я обнаружил, что в руках у меня по-прежнему меч и кинжал. И по левой руке текла кровь — меня дважды задели! Я вытащил часы: четыре. С тех пор, как я ушел с моста.. кстати, когда я ушел с моста? Я понятия не имел — о, нет, имел. Луна как раз садилась. А было той луне дней девять.

Нет, все было совершенно реально. Я внимательно изучил рапиру и стилет: серебряные позолоченные рукояти, клинки невероятной остроты, на головках эфесов монограмма одного княжеского дома Франции, выложенная крошечными бриллиантами.

Тут же мелькнувшая в голове идея заставила меня вздрогнуть в приливе решимости и отваги: я спас принцессу от позора и пыток; о, как я любил ее! И она любила меня, ведь я ее спас — черт, ведь я так ее и не спас! Это только еще предстояло сделать.

Но как? Времени у меня было довольно. Жан, скорее всего, к дому не вернется. Однако скоро проснутся рынки Парижа, а два клинка в руках и кровь неизбежно возбудят любопытство. Что же мне делать?

Проклятием моим стала уверенность в названии улицы. Будь у меня хоть какие-то сомнения, мне бы с большей легкостью дались систематические поиски, к которым я решил приступить. В итоге организованное патрулирование квартала носило недостаточно научный характер; я не был безупречен. Снова и снова возвращался я на эту улицу и обыскивал ее, словно в надежде, что дом хитроумно спрятался в сточных трубах или исчез по волшебству и теперь рано или поздно появится обратно. Как будто в предыдущих моих поисках по какой-то невероятной случайности и общей рассеянности я мог что-то пропустить! Так мы следим за фокусниками в цирке, внимательнейшим образом улавливая каждое мгновение — за исключением того самого, единственного, которое и решает все.

Искать ведь все равно долго не придется, рассуждал я по мере того как разочарование отрезвляло меня. От Перекрестка Одеона невозможно отойти сколько-нибудь далеко без того, чтобы не наткнуться на какой-то безошибочный ориентир. Два бульвара, школы, сам Одеон, церковь Сен-Сюльпис — это просто не может быть далеко. И все же... а вдруг я, например, перепутал Одеон и Люксембургский дворец?

А вдруг...? А вдруг...? Полчища предположений роились у меня в мозгу и гонялись друг за другом, еще больше все запутывая, так что воля сбивалась с рыси и принималась спотыкаться, а вслед за нею и ноги.

И вместе со всем этим еще одна мука — острее отравленной рапиры — терзала меня: моя любовь ждет и плачет, надеется, что я спасу ее, жаждет убежать со мною...

Но где же она?!

Стоял белый день. Я смыл все отметины битвы, сел и как следует разговелся; трезвый мой рассудок неуклонно вырабатывал планы дальнейших действий, время от времени решительно затыкая готовые вырваться наружу вопли отчаяния. Весь день я прочесывал улицы. Проходя мимо антиквара, я завернул к нему и показал трофейное оружие. Он тут же с готовностью изложил его историю; но, увы, никого из этого семейства не осталось в живых еще со времен великой революции. А их имущество? Четыре ветра небесных о том знают. На словах «четыре ветра» я вылетел из лавки, будто ужаленный гадюкой.

Я отправился домой и отрядил всех своих слуг на поиски домов с оградами. Их отчеты я собирал на улице Четырех Ветров. Каждый неучтенный дом, каждый, в котором крылась хоть какая-то тайна, я намерен был инспектировать сам.

Все труды вотще! Слуги выбились из сил, но я не верил им и с мрачным упорством сам обыскивал Париж.

Есть одно математическое правило, которое помогает успешно пройти абсолютно любой лабиринт. Я применил его к городу. Я прошел все его улицы, отмечая каждый угол своей личной печатью. Каждый дом с оградой я изучал сам, отдельно и наитщательнейшим образом. Благодаря общественному положению меня везде привечали. И каждую ночь я мерил шагами улицу Четырех Ветров и ждал...

Чего же я ждал? Ну, в конечном итоге, возможно, смерти. Дети дразнили меня; взрослые сторонились.

— Призрак, — шушукались они, — вон идет Призрак улицы Четырех Ветров.

Забыл вам сказать об одной вещи, особенно укрепившей меня на выбранной стезе. Два дня спустя после моего приключения я в пылу исканий пробежал мимо морга. Две женщины как раз из него выходили.

— А нехороша рыбка-то! — сказал одна. — Я про этого, с рассеченной губой...

Не слушая дальше, я ринулся внутрь. На столе, ухмыляясь и в смерти, лежал, конечно, Жан. Река прикончила его. Верен до гроба, о, да!

Я долго смотрел на него. Потом пообещал крупную сумму денег за опознание. Полиция даже встревожилась: с чего он мне сдался? А что я мог им ответить? Он был слугой у...

Боже, я даже не знал имени моей милой!

* * *

Так еще при жизни я превратился в привидение.

IV

— Как-то лет десять спустя, — продолжал свой рассказ старый кавалер, — когда я бесцельно шатался по улице Четырех Ветров, муж седой и суровый встал на моем пути; невысокий, крепко сбитый и бородатый, но исполненный неопишуемой мощи и величия.

Без колебаний он возложил руку мне на плечо.

— Несчастный! Ты приносишь жизнь свою в жертву призракам, — вскричал он. — «Не призывай зримый образ Природной Души, — сказал Заратустра. — Взор отведи от Природы: в самом ее имени — гибель»¹. То, что ты видел... — я ничего не знаю о нем, за тем только исключением, что это псоглавый демон, исхитивший душу твою от священных мистерий, Мистерий Жизни и Долга.

— Но дайте же мне рассказать вам мою историю! — вмешался я. — И тогда судите меня... — ибо кто бы вы ни были, я ощущаю вашу силу и истину.

— Я — Элифас Леви Захед. Люди зовут меня *Abbé*² Констан, — отвечал он.

— Великий маг?

— Враг великого мага.

¹ Цитата из «Халдейских оракулов» (148—149), авторство которых приписывалось Зороастру (Заратустре).

² Аббат (*франц.*).

Мы вместе отправились ко мне.

Я уже начал подозревать какие-то адские уловки. Зло той дьявольской старухи, возможно, не дремало и после ее смерти. Не скрыла ли она от меня дом магической завесой? Или, быть может, сама ее гибель неким странным образом привела к... к чему? Даже фантазия побледнела и стушевалась перед лицом такой загадки.

Но без магии здесь определенно не обошлось, а Элифас Леви — самый знаменитый парижский адепт современности.

Я рассказал ему эту историю в том точно виде, что и вам, но с большею страстью.

— Здесь есть иллюзия, учитель! — такими словами завершил я ее. — Прострите же Силу и разрушьте ее!

— Если бы я уничтожил иллюзию, — возразил мне маг, — думаешь, ты снова увидел бы златовласую деву? Нет, но Вечную Деву и Золото, которое не имеет отношения к золоту.

— Так что же, ничего нельзя сделать?

— Ничего! — отвечал он со странным светом в глазах. — Но чтобы суметь не сделать ничего, ты сперва должен достичь всего.

— Когда-нибудь, — улыбнулся он при виде моего смятения, — ты еще сам будешь гневаться на дурака, предложившего такую банальную глупость.

Я попросил его принять меня в ученики.

— Я потребую платы, — сказа он, — и клятв.

— Говорите же! Я богат.

— Каждую Страстную Пятницу ты будешь отсылать тридцать серебряных крон в Больницу для умалишенных.

— Будет сделано, — заверил я его.

— Тогда клянись, — продолжал он, — клянись мне на сем самом месте...

Он встал, ужасный и грозный.

—... Тем, кто восседает на Святом Престоле, живущим и властвующим во веки вечные, что никогда отныне, ни ради спасения жизни, ни ради восстановления чести не ступит нога твоя на улицу Четырех Ветров до самого конца твоих дней.

Не успел он закончить, как я поднялся, воздел руку и принес клятву.

Сразу после этого в комнате раздались десять отрывистых ударов, словно бы слоновой костью по дереву, в определенном причудливом ритме.

То была самая первая из многочисленных наших бесед. Конечно, я самым настойчивым образом старался научиться у него оккультной мудрости, которой он владел сполна. Но хотя он снабжал меня всеми мыслимыми источниками знания — книгами, манускриптами, папирусами — сами по себе они оставались безжизненны; не струились чрез них живые воды. Следует ли мне сказать, что учитель не допускал ученика к посвящению, или же это ученик не сумел до него дорасти?

Но, по крайней мере, время ослабило мою мономанию — ибо теперь мне вполне ясно, что все это приключение было просто необычайно жизнеподобным и достоверным сном, приступом отроческого безумия. Сейчас мне не хотелось бы выносить суждение о том, насколько переплетались во всей этой истории факт и видение: меч и кинжал до сих пор у меня. Быть может, в некоем трансе я и вправду пережил некие приключения — только совсем не такие, какие воспринимал? Быть может, Жан был просто уличным вором, у которого я отобрал трофеи? Если бы я, сам того не сознавая, сделал именно это, оба клинка и сцена в морге получили бы какое-то объяснение...

Но, увы, точно сказать я не могу.

Кроме того, я узнал от моего учителя, что завеса жизненных событий — лишь тень куда более великой реальности, открытой лишь тем, кто обрел глаза, чтобы видеть.

И этих-то глаз я обрести не мог. Одна лишь вера в учителя укрепляла меня. Еще я начал понемногу узнавать, что собой представляет человеческий мозг, на что он способен. Я начал узнавать небо — и ад!

Жизнь шла, кипучая и полная наслаждений. Единственным не дававшим мне покоя воспоминанием был порывисто данный, навязчивый обет, что никогда нога моя не ступит вновь на улицу Четырех Ветров.

Жизнь, говорю я, шла — а для учителя она закончилась.

— Завеса Храма — лишь паучья сеть! — сказал он мне за три дня до смерти.

Я следовал за Элифасом Леви Захедом до самой могилы.

Но за этот порог мне хода не было.

Весь следующий год я с новым пылом изучал многочисленные рукописи, которые он мне оставил, но никакого результата не добился — я ослабел и обленился. Более того, я отдался проклятию моей жизни — я принялся рационализировать.

И вот в один прекрасный день, облокотившись на перила моста Сен-Мишель, я позволил всей этой странной истории снова всплыть в моем сознании. Я припомнил свои смертные муки, и нынешнее мое спокойствие поразило меня. Я подумал о Леви, о принесенном обете. «Он же не имел в виду *всю мою жизнь*, — сказал я себе. — Он хотел сказать, пока я не буду в состоянии созерцать все происшедшее без привязанности и страсти. Разве страх — не признак неудачи? Да, я пройду по улице только один раз, чтобы показать, как многого я достиг». И через пять минут (лишь на одно мгновение усомнившись внутренне) я уже мчался найденным путем по заколдованной улице.

И моментально — да, моментально! — старый самообман ухватил меня за горло! Я нарушил клятву и теперь нес за это расплату.

В большем, чем когда-либо, безумии я снова преследовал, снова искал по изменившему облик Парижу любовь своей мечты — и буду искать ее до конца моих дней. Если я и кажусь сейчас спокойнее, так это потому, что возраст ограбил меня, лишил былой силы страсти. Тщетно вы со смехом станете убеждать меня, что если та дева и жила когда-то на свете, она уже давным-давно мертва или, по крайней мере, превратилась в старуху; что белокурое золото потускнело, детское личико покрыли морщины, тело согнулось и одряхлело. Я сам посмеюсь над вами — над вами, кощунствующий вы осел! Ваша глупость не в силах прогневать меня!

— Я вовсе не смеялся, — со всей серьезностью возразил ему Родерик.

— Что ж, — произнес старый джентльмен, подымаясь, — боюсь, я вас утомил. Благодарю за терпение. Знаю, я просто старый умалишенный... Но если вы вдруг встретите... — ну, вы понимаете. Прошу вас, свяжитесь со мной. Вот моя карточка. Мне время идти. Меня ждут в другом месте. Да, меня ждут.

Мне никогда и в голову не приходило, что мой тихий приятель может оказаться магом. До самого того рокового воскресенья я честно полагал, что маленькая черная дверь — просто шкаф.

Вот как все случилось.

Проводить воскресенья с моим тихим приятелем давно уже вошло у меня в привычку. Я свято верю в воскресенье, святой День Отдохновения — а, между тем, британское воскресенье представляет собой обычно акме беспокойных мучений. Впрочем, в доме моего друга и окружавшем его мирном парке колеса недель вращались на диво гладко — особенно в маленькой обсерватории, которую он возвел над озером. Со стороны суши в нее не было никакого входа, зато внутри под стенами имелся причал, так что заплыв туда с озера на лодке, вы сразу оказывались у подножия узкой и темной, вившейся спиралью лесенки, которая вела в ярко освещенную комнату с окнами на все стороны, вознесенную почти в пятидесяти футах над водой. Комната была так высока и велика, а башня — так узка, что меня, безусловно, извинят за предположение, будто бы маленькая черная дверь в восточной стене — это неглубокий шкаф.

Много приятнейших воскресений провели мы в этой комнате. Мы то читали, то играли в шахматы или карты, то, когда утренние упражнения с форелью подходили к концу, музицировали на скрипке. В обычае у нас было жарить рыбу на открытом огне и поедать ее потом с хлебом и плодами дивных местных садов, в компании кое-каких добрых винтажей, освежавших нас своим нежным восторгом.

Хочу, чтобы вы хорошо представляли себе моего друга. Он был все еще молод, бледен и тонок. Некая отрешенная красота живо обитала на его ланитах, в глубине темных глаз. Он был тих и спокоен, как мало кто из людей, и в то же время каждый его жест искрился звездной радостью. Его покой был мерцающим покоем самих звезд небесных.

1 Рассказ написан около 1908 года и впервые опубликован в «Зе айдлер мэгэзин» XXXIV (76) (январь 1909 г.).

В то роковое воскресенье за игрою в шахматы я трижды замечал, как взгляд его с некой мрачной пытливостью обращается на часы. Они так его занимали, что игра чахла на глазах, и, в конце концов, мы согласились на ничью.

— Вы извините, — обратился он ко мне, — если я вас на минутку покину? Вы знаете, я любительски занимаюсь химией: у меня тут важный эксперимент ждет точного времени по часам.

— Нет-нет, останьтесь, — добавил он. — Почему бы и вам, как говорил Келли,¹ не стать «причастником тайн творения»?

С этими словами он ключом открыл дверку — ту самую маленькую черную дверь — потому что никакой ручки снаружи у нее не было, и моим глазам предстало прелюбопытное помещение, врезанное прямо в толщу стены.

Очень длинное было оно, очень узкое и очень высокое. Стены глухого черного цвета. С одного конца посреди него висела длинная, тонкая трубка бледно-фиолетового цвета — словно огненная лента, в сиянии которой оба мы казались лишенными красок жизни призраками.

Вдоль стен тянулись полки, заполненные странной аппаратурой, по большей части из стекла или — как мне казалось — из серебра.

Мой тихий друг² с искусным изяществом исполнил ряд затейливых движений.

— Вот и довольно, — улыбнулся он. — Совсем минутное дело, но сколько же месяцев пришлось мне прождать нужного мгновения!

— Представления не имел, что здесь есть такая необычная лаборатория, — вставил я.

— Продукция в полном соответствии, — гордо заявил он. — Вот, взгляните на эту флягу.

Указанный предмет оказался причудливой перекрученной формы, сам зеленоватый с золотой искрой — нечто как будто

1 Сэр Эдвард Келли (1555—1595) вместе с Джоном Ди разработал енохианскую систему магии. Цитата представляет собой перевод енохианского словосочетания «Odo kikale Qaa»; см. «Ключ тридцати эфиров» в «Liber Chanokh», II.

2 Это краткое описание указывает на Алана Беннета (1872—1923), занимавшегося аналитической химией и познакомившего Кроули с рядом наркотиков. Однако прототипом для персонажа мог послужить и доктор Сэмюэль Перри (1869—1952), один из первых членов А. : А. :

не совсем мертвое, нечто волнообразное и, вне всяких сомнений, змеистое.

— Эта жидкость, — объяснил он мне, когда мы вернулись в комнату, — получается, если взять чистую ртуть и предоставить ее определенным образом воздействию солнца и воздуха. Затем ее омывают огнем, после чего она с готовностью принимает влияние созвездия Девы и планеты Сатурн. От этого она становится совершенно темной, но в конце... Смотрите!

Он капнул одну каплю себе на ладонь. Она была цвета чистейшего опала и источала собственное сияние, переливаясь многочисленными оттенками. Тонкий дымок вился над нею в неподвижном воздухе. Мгновение, и она полностью исчезла.

— Это снадобье летучей природы, — сказал он, — и я до сих пор работаю над его закреплением. Но задача дается нелегко.

— Как же оно называется? — спросил я.

— Уверен, вы не из тех, кто считает, будто бы дав чему-то имя, вы получите и объяснение!

— Довольно будет и того, — добавил он, — что все люди однажды пробуют это снадобье, но никто — дважды!

— Тогда имя ему должно быть — Смерть, — рассмеялся я.

— Нет, — улыбнулся он. — полагаю, что нет. Давайте, друг мой, выпейте! Вещество это дарует странные видения.

Он нацедил около драхмы напитка в высокий стаканчик. Внешний вид жидкости при этом совершенно изменился — теперь она слабо сияла серо-жемчужным блеском.

— Пейте! — вскричал он. — Пейте же!

Я взял стакан и выпил. Вкус оказался тонок и сладостен, как поцелуй — и в то же мгновение меня затопил экстаз. Я погрузился в насыщенный алый сумрак, который становился вокруг меня все черней и чернее. Мне показалось, что прошло много времени, но каким измерениям подвластно время разума, койи есть отрицание всего сущего?

И, тем не менее, я блаженствовал в аннигиляции и — как мне тогда казалось — в покое.

Довольно неожиданно сознание возвратилось ко мне. Я был закутан в черную ночь, задушен тьмой, распахнут какому-то безымянному ужасу.

Едва лишь я начал это понимать, как со всех сторон на меня навалилась какая-то мучительная тяжесть — словно обезумевшая хватка гигантского кулака. Когда кости мои уже были готовы затрещать под нею, давление спало. Покой улетучился без следа; в волнении и тревоге я ждал.

И не напрасно. Снова и снова сжималась невидимая рука, и каждый раз сильнее прежнего.

Все это не имело совершенно никакого смысла — я ничего не понимал — да и как я мог понять?..

Я пытался бороться, кричать. Бесполезно — у меня не было голоса.

Но вот — о, мой Бог! — еще один стальной спазм в десять тысяч раз яростней прочих, и в глазах моих вспыхнул свет. Вой беспомощной муки вырвался из меня и превратился в вопль боли — несказанной, немислимой — нет, я не в силах даже писать об этом!

И долгое затишье.

Животное довольство, реакция на агонию.

Животное недовольство, эхо агонии.

И занимающаяся заря странных видений...

Безбрежный внутренний изгиб сферы света, в которой я обнаружил себя... Свет прохладного оттенка молодой зелени, пропущенный сквозь росы и отраженный цветами. Нежный пленительный аромат витает в воздухе, и рябь, будто от медлительных незримых вод.

Светлая струя счастья и радостного ожидания играла в душе моей, словно ветер в дубовых ветвях, производя сладостную музыку. И все же снова и снова возвращались ко мне, стреляя болью, воспоминания о прошлой муке. Внезапные конвульсии рыданий сотрясли меня. Однако в череде сменявших друг друга грез вся сцена была невыразимо прекрасна.

Единственным руслом для сил умственного непокоя было постепенно возраставшее чувство уязвимости. Ни блаженство, ни страдания не имели очевидного источника; их назначение

и цель оставались еще непонятнее. Вопрос забрезжил у меня в голове: уж не независимы ли все эти явления? Или, другими словами, не сошел ли я сам с ума?

Вызванную этой мыслью тревогу еще пуще подкрепляло разнообразие открывавшихся передо мною исследовательских перспектив. Видение за видением в мимолетном экстазе скользили у меня перед глазами, и я, кажется, уже начинал различать между ними некую смутную связь — а потом приходило следующее, в свете которого все мои построения немедленно рушились.

Все это кажется пустяком — вы вряд ли поверите, какие умственные муки способна причинить столь простая проблема; и все росло и росло внутри насмешливое: ну что, так-таки безумен?

Однако по мере того, как я привыкал к происходящему, кое-что становилось яснее. Бледное зеленое свечение объяснялось, без сомнения, скоплением ярчайших звезд, висевших в прозрачном, без цвета и красок эфире. Время от времени одна из них срывалась с небосклона и тут же разгоралась пламенем, порождавшим странные формы, которые приковывали мое внимание. Они проносились мимо меня, так что вихрь присутствия оведал мое существо волною их сути. Но ни одна меня по-настоящему не задевала, пока одна — она была больше многих других — взорвалась великолепным ликом прекраснее пеннорожденной Афродиты. Она мчалась по небу, и пламя полета ее стало ореолом дивных волос. Все ближе и ближе летела она; душа моя прыгнула наружу, ей навстречу. Невинность, божественность, мир и любовь, нежность и вся бесконечность блаженств были в ней. Душа моя рванулась к ней — о, да! Сейчас! И волны чистейшего золота окатили все мое существо, когда уста наши встретились в долгом и страстном лобзании.

Но длась, оно менялось. Губы ее раскалились — о, ужас! Под устами ее мои распадались и гнили; невыразимая боль терзала и рвала на куски все мое существо.

И вдруг все это сотрясающее душу виденье исчезло. Я дрожал. Восторг радостных ожиданий начал меркнуть. Живой ток крови во мне ослабел. Легкий заревой румянец вселенной подернул зелень розой и золотом, и в золоте — пятнами сумрачной серости. А затем я ощутил, что в спину мне смотрят

какие-то лица. Сколь бы стремительно ни оборачивался я, удавалось поймать лишь мимолетный их очерк, оставлявший, впрочем, ощущение сил, невыразимо страшных и пагубных.

Но все равно потоп восторга от видения унес меня, и я с легкостью позабыл о них — пока в общем течении с высоты не понеслась на меня еще одна звезда, и я признал в ней лик, похожий на Их. Она прошла мимо, но так быстро и так близко, что обожгла меня лютым холодом. Мне показалось, что и меня отнесло поспешно в сторону, чтобы избежать встречи с нею. И вслед за тем пришла слабость страха. До сих пор я всегда наслаждался стабильностью в непрестанно меняющемся мире. Теперь же и я воистину открыт измененьям! Могучий ужас сотряс меня.

Затем — спазм воспоминания о той злой женщине. Словно бы природа ее проникла в меня, стала моей частью — и какое же отвращение питал я к себе! Жуткая, безжалостная война поднялась внутри, война, где человек воздвигся супротив себя самого, распря, которой несть конца.

В это самое мгновенье необычайное новое явление захватило мой дух — вся моя жизнь растворилась, пропала в нем.

Звезда росла передо мной, ярче миллиона звезд; стремглав неслась она с небосвода, осиянная прозрачным золотом, затопившим и заполнившим собою все блистательные небеса.

Она приближалась, она любила меня — я зрел лик скорби и странного желания, глада к недостижимому, слитого с восторгом перед достигнутым. Лик был уже рядом, и его руки сжали мои, и поднесли их к устам, и мои уста вострепетали.

Затем мы слились в поцелуе, и видение распустилось экстазом слишком безмятежным и возвышенным для любых предметов и целей.

Как и в тот, другой раз, все внезапно исчезло — но все ж та звезда и доселе висит в вышине (так я чувствовал) и пребудет там вовек.

И это было огромным утешением. Ибо видение теперь быстро менялось и принимало новые обличья, и жило новыми жизнями.

Казалось, тонкий яд снадобья вошел в новую фазу. Сменялись не только образы видения, но и сама точка моего зрения становилась другой.

Теперь уже не ожидание некоего неизреченного блаженства питало мою грезу. Нет, я все еще вспоминал о нем, но теперь лишь с презрительной усмешкой. Его место заняло и возоблдало неодолимое ощущение не имеющего названия ужаса.

Так кошмарен был смысл видения — смысл, которого искал я так долго — что я попытался погасить внутри всякое о нем размышление и занять себя исключительно явлениями как таковыми.

Но стоило мне возвратиться от принятого решения к осознанию себя, как мне предстали хищные очи одного из Ликов, взиравшие на меня с нечестивым торжеством нацеленной прямо на меня ненависти.

Я снова лишился чувств.

Придя в себя, я попытался вернуть утраченный контроль. Я уцепился за осязаемое, за зримое. Но все оно разрушалось с течением времени. Златые небеса почти сокрыли яростные тучи; солнце обрело тусклый, лишенный лучей багрянец умирающего пламени и превратилось в нечто омерзительное.

И новые содрогания безымянного ужаса; и новые видения порчи и разрушения; и еще более назойливые знаки враждебного внимания устрашающих этих Ликов.

Только лишь крепко держась за себя, мог я не впустить внутрь этот страх — и стоило ему раз проникнуть в меня, как откуда ни возмись — странная склонность привечать его снова и снова.

Между тем, с вещами зримыми и осязаемыми я вполне преуспел; владычество над ними стало мне легко и приятно. С тем только единственным исключением, что сама хватка за них по причине нужды (возможно) вызывала воспоминание о той, другой хватке в самом начале видений. И немедленно я осознал всю самодовольную глупость моего положения: то, за что я цеплялся, ускользало от меня *именно по причине* успеха.

Но так страшно было мне любое внутреннее размышление, что я еще яростнее, еще отчаяннее хватался за зримые победы. Но как же они изменились! Красота почти улетучилась; гармония напрочь исчезла. Единственным все еще желанным объектом оставался некий железный стержень, висевший надо мной. К нему я стремился; в нем сосредоточивались и страх мой, и жажда.

Да, я боялся, что он может, крутясь, помчаться ко мне на встречу по воздуху и уничтожить — если только я не сумею достать его первым, схватить, присвоить.

За это я и боролся.

И вдруг обнаружил себя сидящим среди великого множества мартышек, чья трескотня заглушала все прочие звуки на свете. Шесть сотен и еще шестьдесят девять их было, и я среди них, и я — один из них.

Но я все равно боролся. Я подражал их коварству, их алчности, их безумию и, в конце концов, стал над ними главой.

И вот теперь — о, да, наконец! — железный прут был у меня в руках. Я воздел его, чтобы ударить — как вдруг!

В своих сражениях я почти позабыл о Ликах. Один из них глядел на меня теперь глаза в глаза.

На сей раз никакой спасительный обморок не стал мне облегчением. Я стоял, полностью сознавая этот кошмар и хватая ртом воздух; он же — более не смутный фантом, но совершенно реальный, настоящий, грозный — излучал невероятную боль, парализующий ужас в каждую частицу моего существа.

Затем превышающая всякое разумение, невыразимая мука — и темнота... темнота... темнота...

* * *

Я пришел в себя. Мой тихий друг стоял и с улыбкой глядел на меня.

— Ну что ж, — нежный его голос возвращал меня к жизни, — как тебе понравилось видение?

Меня все еще трясло, я истекал потом, весь съезжившись от пережитого страха.

— Было бы мудро, — отвечал я, — наречь ему имя — Смерть.

— О, нет! — возразил он мне с тяжкой печалью в глазах. — Думаю, имя ему — Жизнь.

Так возлежала она, позлащенная лилия с гераниевыми устами, посреди цветения ночи. Благосклоннее луны было тело ее и сияло золотом, роскошнее урожайного. Огневое знамения двойной Венеры, изумрудные ее очи испускали великое пламя. Из золотой чаши любви восходил аромат, ужасный и пленительный, сильный и неумолимо превосмогающий нежное благовоние всего ее существа властным своим и неустыженным зовом.

Она лежала, раскинув руки, словно ожидая явления бога.

Какого-то ужасного бога, ведь правда? Ибо там где лежала она, лилия позлащенная с устами цвета герани, царило цветение ночи.

Это была небольшая квадратная комната, черная от пола до потолка той глухой мертвой чернотой, что не способна была отразить свет двух торжественных серебряных шандалов, увенчанных длинными оплывающими свечами, единственно сулившими облегчение в этом царстве тьмы.

Стояли они в головах весьма причудливого ложа. То был громадный гроб без крышки, с боковинами на петлях — в нем она и лежала. Она ослабила крепления и опустила бока, чтобы раскинуться там с удобством. Шесть черных шелковых вервий с крюками на концах свисали с потолка — крюки можно было уцепить за кольца в стенках гроба, чтобы при желании пустить его медленно раскачиваться туда и сюда.

Тяжелое покрывало из шкур черных кошек покрывало лежанку, словно бы для того, чтобы тело, мерцающее то адуляром, то янтарем, высекало из меха электрические искры.

Чудесно и удивительно было тело женщины: возлежа, она непрестанно менялась. Она преступила границы обычного репертуара из музыки и цветов, драгоценностей и сладких словес; не было на земле такой красоты, с которой она не имела бы сходства. Вдоль стен комнаты возвышались высокие зеркала в черных рамах, хитроумно расположенные так, что из центра можно было созерцать нескончаемые анфилады ее красоты, устремленные в бесконечность.

¹ Видение влюбленного (франц.). Рассказ впервые опубликован в «Эквиноксе», I (2) (сентябрь 1909 г.) под псевдонимом «Фрэнсис Бендик». Прототипом для героини рассказа послужила Ада Леверсон (1862—1933), писательница и любовница Кроули.

Даже потолок был забран зеркалом, так что, возлежа на мехах, она могла устремить взор свой ввысь и созерцать себя ви-сящей, подобно звезде, под черными сводами ночи.

Кроме нее в храме был еще только один образ — и престран-ный. Вырезанный из того гладкого черного египетского гра-нита, что кажется телесным воплощением самой Ночи Времен, на пьедестале присел на корточках бог; непроницаемый бог с вечной улыбкой, и улыбка эта говорила о бездонной похоти и жестокости, претворившихся — посредством какой теурги-ческой алхимии? — в чистое и бесстрастное блаженство. Это была тварь, вечная, как звезды — нет, сами звезды склонились бы перед нею в почтении Юности перед Древностью! И все же словно бы юность и красота золотой молодости сияли в ней.

Отполированная кожа бога лоснилась, отражая не сдержан-ный свет электрических ламп: словно бы самая душа света — света слишком высокого, чтобы люди признали в нем свет — обитала в ней и ее заполняла.

Так возлежала она, лилия позлащенная, и страстные губы ее шевелились в некоем таинственном молении, что возвышеннее и крепче любой молитвы.

— О, прекрасный, о, обожаемый и исполненный чу-дес! О, душа порока! О, высшая скверна, Тебя призываю! Поклоняюсь Тебе! Люблю Тебя! Телом и душой я призы-ваю Тебя! Пробудись! Восстань! Приди! Яви мне блаженство, мне — душе, алчущей твоей мудрости не меньше, чем тело мое алчет твоих поцелуев!

— Разве не домогалась я Тебя, не ждала? Но Ты все не шел. Каким заклинанием заклясть мне Тебя? Не насмешка ли я вели-чию Твоему? Ах, мой бог, мой владыка, возлюбленный мой — нет, все это не Ты.

— Но я люблю Тебя! Я поклоняюсь Тебе!

С невероятною силой воззвала она к Господу. Пальцами впивалась она в свою прекрасную плоть; извивалась она на ме-хах; слова устрашающей страсти кипели на губах ее, рот ее — бушующее море кощунств. Стонала и билась она, раздираемая некоей внутренней силой, словно женщина в муках деторожде-ния. И вот, откинувшись, пала она в черное безмолвие, измож-денная и оцепеневшая.

Но теперь слова возвращались к ней, точно бесконечность вторила эхом — я люблю тебя! Я поклоняюсь тебе!

Все огни погасли; черный бог собирал себя воедино; могучее тело его преступило пределы пространства. Сосредоточив себя, в мощи и пламени пришел он и черным облаком объял ее — тело и душу. Первым же поцелуем пожрал он ее; руки его смяли, сломили ее в пасти бога, как отрок мнет, поедая, золотую виноградную плоть; величие страсти его иссекло ее, словно добела раскаленную сталью. Жизнь ее устремилась вниз головою с кручи полного уничтожения.

Но грозная заря новой жизни уже занималась в ней, изумительная и безбрежная. Богом стала она, ибо Его существо поглотило ее. Страшный ее крик — вопль души у небесных врат, низвергнутых молнией в бездну — в миг, когда коснулась она пика блаженства, стал чудесным смехом любви.

* * *

Вот что видел я. Но отступило облако. К светочам вернулся свет. Там, посреди, любовь моя ждала меня — меня! — и стоял я, как ныряльщик перед прыжком, что колеблется, всецело наслаждаясь предвкушеньем свиданья с водою.

Я стоял, истинный Бог Бога истинного, в мерцающей зелени очей ее, метавшей в меня пламенами изысканной страсти — о, да! в меня.

Мгновение или эон так простоял я?

ОХОТНИК ЗА ДУШАМИ'

Это тело я купил за десять франков. За несколько месяцев до того я купил и душу — купил за первую склянку яда, первую в новой серии кошмаров со времени его выписки с грифом «вылечен» — вылечен! — из приюта. Да, конечно, я его искушал, я, врач! Связанный клятвой — тьфу! Мне нужно было его тело. Душа? Ха! Просто нагрузка к сделке. Душа — всего лишь слово, и совершенно бесполезное притом — поле битв философских дураков с дураками теологическими со времен Анаксимандра² и Григория Назианзина³. Игрушка. А что сознание? Вот что мы называем *душой*, мы, другие. Оно же должно где-то обитать. И какой оно природы — атомарной, как полагал Декарт, или флюидной — сегодня тут, а завтра там? Или, может, это просто термин для обозначения суммы телесных ощущений? Как считал этот, Вейр Митчелл⁴. Ну, там посмотрим. Купить что ли мозг и поохотиться в нем на это неуловимое сознание? Ну да, удача приходит с мастерством. Мозг Жюля Форо среди прочих мозгов этого мира был самым лучшим. Самый сознательный человек в Европе, да! До невероятности интеллектуальный, настолько самоуглубленный, что и индусам даст фору, и *вдобавок* одержимый фатальной жаждой, которая и отдала его мне в руки. Ах, Жюль Форо, ты мог бы стать государственным мужем, а стал пьянчугой — но ты навек прославишь имя доктора Артура Ли и положишь конец величайшей в истории человечества загадке. Что за безумие с моей стороны набивать дневник такой дешевой интроспекцией, друг мой! Я каким-то нутром чувствую, что вся афера кончится плохо. На самом деле я пишу себе *оправдание*. Это, несомненно, послужит извинением подобной форме. Присяжные никогда не в состоянии понять голый факт — от холодного сияния науки они мерзнут; им подавай витийства, сантименты...

1 Неопубликованные страницы дневника доктора Артура Ли, вампира из Монружа. — *Примеч. автора*. Рассказ написан в Париже весной 1908 г. Впервые опубликован анонимно в «Эквиноксе», I (3) (март 1910 г.)

2 Анаксимандр (610—547/540 до н.э.) — древнегреческий философ, представитель милетской школы натурфилософии, автор первого греческого научного трактата, написанного прозой («О природе»).

3 Григорий Назианзин или Григорий Богослов (329—389) — христианский богослов, один из Отцов церкви.

4 Сайлас Вейр Митчелл (1829—1914) — американский врач и писатель.

Если проблемы и вправду возникнут, лучше я заплачу адвокату, пусть отдувается... А, впрочем, с чего бы это? У меня все схвачено — верьте мне!

Я дал ему снадобье вчера. Атропин был идеей почти сверхчеловеческой проницательности: застывший, стеклянный взгляд, мертвее самой смерти. Пришлось подчиниться идиотским требованиям закона; через три часа тело было у меня в лаборатории. При теперешнем абсурдном состоянии права в таком бизнесе нет никого, равным счетом никого заслуживающего доверия. Ну и *tant pis!*¹ Месяц или около того придется готовить себе самому. Потому что шума будет наверняка предостаточно. Наверняка предостаточно. Но я пойду на этот риск. Я не дерзну трогать что-то еще, кроме мозга, это может пустить псу под хвост весь эксперимент. А еще этот гипс, черт бы его! Видите ли, здоровый мужчина в расцвете сил, тринадцати с небольшим стоунов весом² не одобрит никаких глубоких вмешательств в свой мозг, даже станет в некотором роде возражать. Цепи тут не помогут; ничто не заставит человека лежать совершенно неподвижно. Наркоз придется исключить. Но только его один. Он должен все чувствовать, должен разговаривать и вообще быть в нормальном, насколько это возможно, состоянии. Так что я просто закатал его шею, плечи и руки в гипс. Пусть орет или дерется, мне дела нет. Если ему от этого лучше — ради бога. Но к делу!

10:30. Он определенно под действием нового наркотика, но при этом не двигается. Чтобы вернуться к жизни, ему нужно больше времени, чем я думал.

10:40. Конечности теплеют. Ингаляция *l*. Думаю, говорить он пока не может. Глазами сверкает не из ненависти, а от атропина.

10:45. Пациент обратил внимание на гипс и на обстановку комнаты. Думаю, он догадывается. Булькает. Зажигаю сигарету, вставляю ему в рот. Выплевывает. Кажется, моего юмора он не понимает.

1 Тем хуже (*франц.*).

2 То есть, около 90 кг.

10:47. Первые слова: «Что происходит, черт бы тебя побрал?» Показываю ему нож *et cetera*¹, и велю сохранять спокойствие и хладнокровие.

10:50. Смех, причем не слишком нервный. Глубокий вздох. «Ей-богу, вы меня удивили!» Затем, с тоскливым вздохом: «Я думал, вы хотите просто меня отравить каким-нибудь новым патентованным способом...». Плохо. Он хочет умереть. Надо его развеселить.

11:00. Прочитал небольшую научную лекцию. Никакого впечатления на пациента она не произвела. Абсент повредил его умственные способности. Он не в состоянии постигнуть *a priori*² необходимости эксперимента. Странно!

11:10. Господи, как смешно! Он думает, что я сошел с ума, и пробует все старые выкрутасы, чтобы как-то меня задобрить. Придется его отрезвить.

11:15. Отрезвил. Показал ему его собственный череп. Разумеется, тот оставался при нем. Все же факт его удивил. Это важно для моей диссертации. Существует, как минимум, одна часть тела, чье отсутствие ни в малейшей степени не сужает спектр чувственного восприятия души. Как ее лучше назвать — «х»? Кое-какие важные железы, конечно, управляют всей жизнью человека. Другие же... вот зачем душе, например, лимфатическая система? Этой самой нашей «х»? Ладно, с железами нужно будет разобраться подробнее в первоисточнике, то есть, в мозге.

11:20. То, что я все время пишу, его, по-видимому, раздражает. Наркотики давать не решаюсь. Он слишком легко краснеет и бледнеет. Отсутствие черепа? Отрезать, наложить жгут и там посмотрим.

NB: Эти записи не должны касаться чистой хирургии дела.

11:22. Долгий, интенсивный, сосредоточенный крик. Совершенно меня потряс. Ничего подобного никогда не слышал.

1 Здесь: и все остальное (*лат.*).

2 Здесь: заведомую (*лат.*).

«На всю катушку», как мы раньше говорили в Кеме.¹ Он совершенно физически истощен, *e.g.*², перестал лягаться. Ноги нетвердые, будто охромел. Ужас. Я же его и пальцем не тронул.

11:25. Любопытно: я ощущаю, как меня охватывает сильное отвращение к этому человеку. С почти безумным интересом, мысль: «А если бы мне нужно было его *поцеловать?*» Сразу дрожь физического омерзения и гадливости. Таким идеям тут совершенно не место. К работе.

12:00. Хочу выпить. В сознании совершенно удивительные провалы — причем без обморока. Склонен думать, явление, называемое у нас постоянной болью, представляет собой ритмические колебания с частотой менее одного на шестьдесят. Крики просто душераздирающие.

12:05. Тишина, еще более ужасная, чем крики. Боюсь, у меня тут несчастный случай. Он улыбается, пытается меня ободрить. Говорит: «Знаете, доктор, довольно валять дурака; вы меня раздражаете, понятия не имею, почему — вот я и ору, потому что это вам досаждаёт. Но послушайте: я от этого вашего снадобья действительно умер, хоть вы и думаете, что я симулировал смерть. Наоборот, это сейчас я симулирую жизнь». Мне показалось, да и сейчас еще кажется, что в этих словах присутствует какой-то принципиальный абсурд. И при этом опровергнуть их я не смог. Раскрыл рот, да так и закрыл. Голос тем временем продолжал: «Следовательно, весь ваш эксперимент — полный провал, а причина этому — незрелость». Тут я его оборвал, на этот раз слова нашлись. «Вы забываете, в каком положении находитесь, — горячо возразил я ему. — Не было еще такого прецедента, чтобы вивисцируемый оскорблял своего хозяина и господина. Какая неблагодарность!» Я так на него разгневался, что яростно ринулся к операционному креслу и парализовал ганглий, идущий к управляющим речью мускулам. Вообразите мое удивление, когда он продолжал, ничуть не стесняясь: «Напротив, это вы мертвы, Артур Ли». Голос

¹ Сокр. от Кембридж, один из двух основных университетских центров Великобритании.

² *Exempli gratia* (лат.) — например.

исходил у меня из-за спины, откуда-то издалека. «Пока не умрешь, не узнаешь, но вы-то были мертвы с самого начала». Всякое присутствие духа оставило меня; случай чистой галлюцинации, как пить дать. Начинаю припоминать, что я один.. один в большом доме с... пациентом. А, может быть, я заболел?.. Эта мысль что, была написана у меня на лице? Он разразился грубым и громким смехом. Вот ведь мерзкая тварь!

12:15. Что я за дурак, блокировал не тот нерв! Неудивительно, что он продолжал болтать! Досаднейший промах в таком эксперименте, как этот. Нужно срочно все перепроверить..

1:00. Теперь все хорошо. Нужно пообедать, что ли. Странно, но я уверен, что он говорил правду. Боли он не чувствует и вопит, только чтобы меня позлить.

2:10. Замечательно! Я блокировал все каналы чувств, кроме обонятельного, и дал ему носовой платок его жены. Теперь он воркует над ним и несет какую-то любовную ахи-нею. Будет приятно рассказать ему, от чего она умерла, и кто... Интересная деталь, эта последняя ремарка. Почему он мне так *не нравится*? Может, дело в А1...

NB: Зашить веки шелком. Черт бы подрал его взгляды.

2:20. Теизм! Извилина с идеей причинности располагается слишком близко к извилине со страхом. Связь образуется при помощи воображения! Около 24μ между Чарльзом Бредлоу¹ и кардиналом Ньюманом!²

2:50. Так что там насчет веры и сомнения? Скептический критицизм всего моего эксперимента во мне так и кипит. Что есть «нормальность»? Даже так, каково отношение между объектами и данными о них, фиксируемыми в мозге? Данные... максимум, *о чем-то*. Показания термометра описываются

1 Чарльз Бредлоу (1833—1891) — английский политический активист и один из самых знаменитых атеистов XIX века.

2 Джон Генри Ньюман (1801—1890) — английский религиозный деятель, обратившийся из англиканства в католицизм, основатель Католического университета Ирландии (затем Дублинский Университетский Колледж). Беатифицирован папой Бенедиктом XVI в 2010 году.

кривой, а ртуть, между тем, движется только вверх-вниз. А измерение времени? Это вообще не измерение никакое, а просто слово, объясняющее множественность ощущений. Слова! Слова! Слова! Последняя соломинка. Не существует никакого понятного стандарта измерения чего бы то ни было. Бесплезно даже притворяться, что он есть.

3:03. Короче, мы все свихнулись. И, тем не менее, все это просто работа ганглия сомнения в человеческом организме. Надо вытащить из него ганглий веры!

4:45. Сделано. Дьявольский труд. Он оказался пантеистическим антиномистом со склонностью к ритуализму. Не впечатляет. Мой наблюдательный ганглий (почти равняется ганглию сомнения) работает на всю катушку. (Забавно, что пришлось скатиться в старый университетский жаргон.) Вероятно, если бы работал ганглий веры, получилась бы драка; если бы ганглий восприятия новых идей — обращение.

5:12. Жалко, что у меня нет двоих таких: можно было бы проверить «настроечную теорию» групповой галлюцинации и всякое такое прочее. Совершенно исключено; придется подождать социализма. На сегодня довольно и уже открытого. У меня есть тема для работы на всю жизнь.

7:50. Хороший импровизированный обед — дело небыстрое. Черепеховый супчик, тушеная форель, йоркширский пирог, стилтонский сыр, бургундское. Лучшее, чем ничего. Завтра займемся гнилостными изменениями в конечностях и их связи с мозгом.

3:00. Занес бациллы в левую ногу. Оставлю его спать. С этим никаких трудностей: мерзавец устал не меньше моего. Слишком устал, чтобы ругаться. Всю дорогу декламировал «Со мной пребудь»¹, чтобы его убаюкать. Некоторые строчки, учитывая обстоятельства, звучат весьма юмористически. Покурю в студии и проверю протокол операции. Слишком

¹ «Abide with me» — христианский гимн, написанный шотландцем Генри Френсисом Лайтом в 1847 году.

ошеломлен, чтобы все понять, но я определенно сделаю эпоху. Куда там вашему Робби Пастеру!

12:20. Итак, значит, весь день я шел по ложному следу! Ход эксперимента увел меня совершенно прочь от «охоты на х». Проселки увлекли меня с главного шоссе. Однако ценно; весьма и весьма ценно. Утром успех. В постель!

12:30. Снова крики и борьба, когда я пришел попрощаться. Я тщательнейшим образом парализовал *все* сенсорные каналы (чтобы обеспечить ему полный покой), так откуда же он знает, что я здесь? Воспоминание о надушенном платке тоже еще очень сильно; много говорил о жене, думал, что она тут, с ним. Ба, что за твари, должно быть, некоторые мужчины! Отвратительный парень! Да и я тоже не ханжа. Если у меня когда-нибудь будет женщина, я заблокирую кишечник. *Ce serait trop.*²

12:40. Может быть, он и не знал о моем присутствии, а просто вспоминал меня. У него есть на то причины. А может, ему взбрело в голову отбивать мячи. В мире боулеров каждый — отбивающий. Как в этой игре — как мы ее бишь назвали? — крикет, но ногами.. Все, в постель, в постель!...

5:00. Пациент серьезно болен. Гипс мешает дышать. Все проблемы сразу, предвиденные и непредвиденные. Гниение левой ноги сильно продвинулось: многообещающе для дневной работы, но это если удастся предотвратить коллапс.

5:31 Пациенту значительно лучше. Парализовал моторный ганглий. Безопасно снял гипс. Слишком много времени уходит на эти чисто механические детали, когда ищешь самого Оператора Машины.

6:12. Пациент в отличном состоянии. Теперь за дело: ищем «х» — душу!

1 Контаминация имен двух ученых — основателей микробиологии: Луи Пастера (1822—1895) и Роберта Коха (1843—1910).

2 Это будет уже слишком (*франц.*).

11:55. Измотан. Пока никакой души. Пациент в хорошем состоянии, все нормально. Кричать прекратил; изощряется в уловках.

2:15. На еду времени нет; только бренди. Пациент боеспособен. Никакой «х».

3: 00. Умер! Никакой причины — я, должно быть, достал до самой «х», до души.

Менингеальный...

[Здесь дневник доктора Ли внезапно обрывается. Результаты его исследований так никогда и не были опубликованы. Вспомним, что приблизительно через шесть месяцев после вышеуказанной даты его обвинили в причинении смерти любовнице, Жаннетт Ферон, при таинственных обстоятельствах. Протокол операции, о которой идет речь, обнаружен не был. — Ред.].

ПИЯВКИНА ДОЧЬ'

СКАЗКА

*Tria sunt insaturabilia, et quartum, quod nunquam dicit: Sufficit.
Infermus, et os vulvae. . . .*²

Великий Белый Дух потянулся и зевнул. Он честно отработал все шесть дней, чего человек почти никогда не делает. Однако после продолжительного «лечения» на модных водах «Пралайя», Он пребывал в столь превосходной физической форме, что ни в малейшей степени не устал. Один только *Loi du Répos Hebdomadaire*³ заставил Его бросить инструменты.

— Как бы там ни было, а работа сделана! — сказал Он, глядя кругом с довольным видом. Даже Его критический взгляд подтверждал, что оно хорошо и хорошо весьма.

И — о, да! — приходится признать, что у него были все причины радостно кукарекать. Не имея иной основы кроме Метафизического Абсолюта каббалистов, он совершенно немислимым, но успешным образом сформулировал Бесконечное Пространство, заполнил оное Бесконечным Светом, сосредоточил его в эдакий гладкоконечный комедончик (а вовсе не в торпеду!) и эманировал Себя последовательно в виде четырех сотен разумов от самого Риша Кадиша, что в Ацилут, дотуда, где заканчиваются всякие разумы и начинается Англия.

Он еще раз напоследок обозрел творение и тихонько пробормотал:

— Да, хорошо весьма! И, к тому же, прекрасно устроено!

— И нигде ни единой дырочки, — добавил Он, помолчав.

И потому его слегка удивил тоненький серебристый смешок, колокольчиком прозвеневший у Него над ухом. Смешок

1 Рассказ впервые опубликован в «Эквиноксе», I (4) (сентябрь 1910 г.) под псевдонимом «Этель Рэмзи». Относительно описания духовных существ существует следующий комментарий Кроули: «Все они полностью соответствуют анализу имен по *Liber 777*».

2 «Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: „довольно!“». Преисподняя и утроба бесплодная...» (Притч. 30:15-16).

3 Закон еженедельного отдыха (*франц.*).

был так тих, что Он едва смог поверить в подобную наглость, и, несмотря на всю свою музыкальность, определенно прозвучал так, будто кто-то над Ним насмеялся.

Он стремительно обернулся (это был один из Его особых атрибутов, выходящий за пределы плана, где деятельность и вращательность категорически несовместимы), но никого не увидел. И закинул Он тогда ноги Свои на стол и зажег длинную трубку, и погрузился в мирные штудии захватывающего «космического романа» под названием «Берешит» тандема скрытых за псевдонимами авторов — i.e.¹, Г.О. Ва и Л.О. Хим с их оригинальным вкусом, возвышенным воображением и склонностью (которую впоследствии заклеямили предосудительной) углубляться в самые грязные детали всякий раз, как в сюжете начинает доминировать любовный интерес. Но повествование было поистине увлекательное! Оно начиналось с комического рассказа о творении, возможно, представляющего собою сатиру на наших мужей науки или, возможно даже, мужей религии (в том и другом случае получилось бы очень достойно), а дальше переходило в больничный триллер. Пресловутый любовный интерес возникал в главе второй; в третьей имелась сцена выселения, после которой змей в Ирландии уже не осталось; четвертая отличилась первоклассным убийством, а после нее авторы уже совсем закусили удила.

Но Великому Белому Духу не суждено было провести день законного отдохновения в тиши и покое.

Едва он добрался до подлинного шедевра литературы «Адам познал Еву, жену свою...»² (содержащего все, что когда-либо было сказано и что вообще можно сказать о проблеме секса, в виде истины простой, трезвой и ясной), как вдруг, обратив взгляд Свой вверх, обнаружил неожиданно для себя, что кое-чего проглядел. В сконструированной им Бесконечности Вселенной имелась крошечная трещинка.

Совсем, совсем крошечная.

Всего в дюйм, не больше.

Исправить проблему было нетрудно. По случаю рядом порхал премилый крошка-дух (с прозрачными, как водится, крылышками наподобие стальной сетки и в платьице из алых

1 А именно (лат.).

2 Быт. 4:1.

шелков), крайне воинственно размахивавший малюсеньким мечом и копьем.

— Смирррно! — скомандовал Великий Белый Дух.

— Направо! Оправиться!

— Храпцы, один шаг вперед, марш!

— Приготовиться ликвидировать течь!

— Ликвидировать течь!

Но не тут-то было! Через пять часов усердного труда крошка-дух совершенно выбился из сил; дыра при этом с виду не стала ни на гран меньше.

Он вернулся к Великому Белому Духу:

— Прошу простить, сэр, — отрапортовал он, — но я никак не могу заделать эту дыру, чтоб ее, никак, сэр!

— Это несущественно! — отвечал Великий Белый Дух с очаровательной метафизической двусмысленностью. — Можешь идти!

Теперь трещина определенно казалась Ему еще больше прежнего.

— Это, — сказал Он, — явно работа для Барцабеля.

И немедленно отправил «спешную» сему достойному духу.

Барцабель, не теряя времени, явился на вызов. Пламенеющего, блистательного, далекоразящего злата был его венец; быстрее молний рассыпал он лучи свои. Глава его была подобна солнцу во славе в сиянии полдня. Плащ цвета чистейшего аметиста струился за плечами, будто полноводная река. Доспех был сплошь из живого злата, денницами отполированный до самых наголенников и латных обуви. Невыносимую роскошь злата излучал он и в руках держал меч и весы Правосудия. Могучи и златы были и его широкопростертые крылья!

Ужасный в могуществе своем, он низко склонился перед Великим Белым Духом и отправился исполнять приказ.

Двадцать и пять лет трудился он над сей простой задачей; затем гневно отшвырнул орудия свои и возвратился пред лице Владыки, и, трепеща от страсти, простерся ниц, весь во власти отчаяния и ярости.

— Ба! — с улыбкою молвил Великий Белый Дух. — Надо было Мне как следует подумать, прежде чем нанимать низшее материальное создание вроде тебя. Графиэля Мне, живо!

Сердитый Барцабель, исходя пеною гнева, отошел, и на его место явился Графиэль.

Преславлен был луновидный венец великого Разума Графиэля. Подобен солнцу лик его, каким является оно за пределами земных небес. Воинственное тело его — как башня из стали девственно-прочной.

Алы царственные его одежды, и члены его спеленуты листовою молодых лотосов, ибо крепче члены сии любых доспехов, от начала времен откованных в преисподней или на небе. Крылат он был, и крылья его — из золота и сам Вихрь суть они; меч из зеленого пламени в деснице его и лазурное перо Правосудия — в шуйце, непо потревоженное ни ветрами полета его, ни сотрясениями мира.

Но и он, просветленный разумом почти что божественным, после пяти и шестидесяти веков напряжений и мук вынужден был признать себя побежденным.

— Сэр, — вскричал он со всею силою, — задание это в пору лишь Камаэлю Могучему со всем воинством его серафимов впридачу!

— Вот их и найму, — отвечал Великий Белый Дух.

И воспламенились гневом небеса; ибо Камаэль Могучий шел с юга, и легионы его с ним, приветствуя Создателя. Узрите же мощь, узрите Камаэля Сильного! Чело его неувенчанное подобно вращающемуся колесу из аметиста, и крутом летят в нем все силы небесные и земные. Тело его — само неодолимое Море и шрамы распятия несет оно на себе и дважды двадцатикратно сильнее стало от них. И крыла у него, и орудия Правосудия и Пространства; и сам собою он — тот великий Аминь, кой есть и начало всему, и конец.

Позади него шли Серафим, Змеи огненные. На главах их тройной язык пламени; слава их подобна солнцу, и чешуя их — как пластины расплавленной стали. И плясали они, как девственницы пред владыкой своим, и мчались во славе своей верхом на буре, на реве пучины морской.

— Сэр, — возопил архангел, — сэр! — вскричал Камаэль Могучий, и легионы вторили эхом грому гласа его, — ужель призвал нас Ты ради исполнения столь тривиальной работы? Ну, раз так, будь по-твоему!

— Презрение твое, — возразил Великий Белый Дух достаточно мягко, — возможно, не совсем оправданно. И хотя дырка эта всего лишь в дюйм — а и сам Графиэль был побит!

— Никогда не ставил высоко Графиэля! — заухмылялся архангел, и змеи его гоготали так, что мир наполнился эхом глумливого смеха.

Однако отойдя от лица Духа, он строго наказал им, чтобы работа была выполнена со всем тщанием. Допустить неудачу никак невозможно!

И вот три сотни и двадцать, и пять эонов трудились они, не щадя сил своих.

Но ни на толщину волоска не уменьшилась трещина; нет, еще шире, чем раньше, казалась она — зияющий зев лона вселенной.

И, удрученный, вернулся Камаэль к Великому Белому Духу, и змеи его плелись позади, и пресмыкались они пред тронном Всемогущего.

Он изгнал их коротким смешком и мановением правой руки. Если он и обеспокоился, то слишком был горд, чтобы это показывать.

— Это, — сказал он себе, — явно работа для Элохим Гибор.

И потому призвал он сию божественную силу пред лице Свое.

Венцом Элохим Гибор было само Пространство; две полу-сферы мозга его — Да и Нет Мироздания; вздох уст его — дыханье самой жизни; бытие его — Махалингам Изначального, того, что за пределами Жизни и Смерти, сотворителя из Ничего. Латы его — первичные воды Хаоса. Бесконечен луновидный изгиб его тела; подобна молнии стремительность его Слова, и Слово это дало жизнь тому, что было прежде Хаоса и Космоса; мощь его превыше мощи Слона и Льва, и Черепахи, и Буйвола, прославленных в индийских преданиях, опор четырех букв Имени; великолепие его равно великолепию Солнца, что было до и прежде всех солнц, и звезды — лишь крошечные искорки, высеченные им, когда сражался он в Бесконечности супротив Бесконечности...

Все это Великий Белый Дух отметил и оценил. Вот тот, решил Он, кто свершит дело Мое для Меня.

Но увы! Пять и двадцать пять, и шестьдесят пять, и еще три сотни и двадцать пять мириад мириадов мириадов коти кроров лакх асанкхай махакальп трудился он и прилагал божественную силу свою — и все же мелкая эта трещина ничуть не заполнилась, а, напротив, расширилась!

Бог возвратился.

— О, Великий Белый Дух, — прошептал он, и вселенная содрогнулась от ужаса при звуках гласа его, — Ты и один лишь Ты достоин заделать сию малую трещину, которую Ты оставил.

И тогда встал Великий Белый Дух и создал себя как Столп Беспредельности и даже как Махалингам Шивы Великого, Разрушителя, отверзшего око Свое и се! Всё Не Стало. И узрите ж! Умостил он себя в трещине, и наполнилась пустота, и Природа осталась довольна. И тогда Элохим Гибор и Камаэль могучий с серафимами его, и Графиэль, и Барцабель, и все обитатели Мадим с ними возопили в радости и воспели славу и честь, и хвалу Великому Белому Духу; и звук ликования их заполнил собою миры.

Одну тысячу мириадов вечностей Великий Белый Дух оставался Столпом Беспредельности посреди малой трещинки, что он просмотрел и оставил, и — о, да! — Он очень устал.

— Не могу же я торчать тут до скончания времен, — воскликнул Он и вернулся в человеческий Свой облик и набил трубку Свою, и зажег, и задумался...

И пробудился я, и понял, что это был сон.

И зажег тоже трубку, и погрузился в мысли свои.

— Не думаю, — сказал я себе, — что ситуация хоть как-то улучшится, даже если мы разрешим им голосовать.

СКРИПАЧКА¹

Комнату заполняли облака ядовитых благовоний: шафран, опопонакс, халван, мускус и с ними мирра — чистота этого ингредиента гляделась богохульством, последней издевательской каплей. Так выродок мог бы оскорбить Рафаэля, повесив его в зале, предназначенной для разгула.

Дева была высока и превосходно сложена, стройна, как охотница². Ее тесное платье коричнево-золотого шелка сочеталось, но не соперничало с венчавшими чело кудрями, сверкающими и шипящими, будто змеи.

Нежность лица веяла Грецией; но откуда на нем взялся такой рот? Рот сатира или даже дьявола, полный, сильный, дважды изогнутый, уголками устремленный вверх, гневно-пурпурный, гладкогубый. Улыбка ее походила на оскал дикого зверя.

Она стояла со скрипкою в руке напротив стены. На стене красовалась большая мозаика: множество квадратов множества цветов. На квадратах начертаны буквы неизвестного языка.

Вот она принялась играть, устремив свой взор на квадрат, в центре которого виднелась буква «N», черная на белом; четыре грани квадрата были синего, желтого, красного и черного цвета.

Да, она стала играть. Звук был тих, сладостен, нежен и неспешен. Казалось, она слушает — но не свою игру, а нечто другое. Смычок ее ускорился — выражение стало грубым и диким, даже гневным — и ускорился еще, до спешки пламени, пожирающего скирду сена; и вновь смягчился до погребального плача.

Каждый раз, меняя душу песни, она казалась почти изможденною, словно пыталась выплести некую музыкальную фразу и снова и снова отступала, сбитая с толку в последний момент.

Ни малейшего проблеска света не озарило ее взгляд. Решимость была там и усталость, и терпение, и настороженная готовность. Комната странно безмолвствовала, черствая к ее настроению. Она была темнейшим сгустком в этом сером свете. И все же она боролась. Она напряглась, губы ее сжались в безобразную гримасу. Глаза засверкали — уж не ненавистью

1 Рассказ написан весной 1910 г. и впервые опубликован в «Эквиноксе», I (4) (сентябрь 1910 г.) под псевдонимом «Фрэнсис Бендик».

2 Прототипом персонажа послужила Лейла Уодделл (1880—1932), австралийская скрипачка и любовница Кроули начиная с весны 1910 г.

ли? Душа песни была теперь сплошь боль, сплошь мольба и отчаяние — извечное устремление к чему-то извечно недостижимому.

Вот она задохнулась, издала судорожный всхлип. Прекратила играть, укусила губы. Капля крови выступила на них, алая на яростном их пурпуре — закат в бурю. Она сжала их в прямоугольник, и красное испятнало белизну. Она схватилась за сердце, которое пронзила какая-то странная боль.

Снова скрипка взлетела вверх и пал на нее смычок. То могли бы быть мечи двух искусных фехтовальщиков, ослепленных смертной ненавистью. А могли бы быть и тела двух искусных любовников, ослепленных бессмертной любовью.

Жизнь и смерть рвала она в клочья на струнах. Вверх и вверх воспарял феникс ее песни; ступень за ступенью по золотой лестнице музыки штурмовала она цитадель Желания. Кровью наливалось лицо под завесою пота; кровавые молнии прошивали глаза.

Песнь вздымалась в апогее — перескакивала все преграды, обретала, наконец, желанную фразу.

Она остановилась — но длилась музыка. Облако скапливалось на великом квадрате, грозное, ужасающее. Пронзительный вопль перекрыл мелодию.

Перед нею — ладони на ее губах — стоял отрок. Златовласым был он, и алыми — губы его, и синими — очи. Но бесплотным — тело, подобное пленке росы на стекле или рже, приставшей к воздушным одеяниям. И все, все было страшно испачкано черным.

— Мой Ремену! — молвила она. — Как же долго!

Он прошептал что-то ей в ухо. Свет позади нее мигнул и погас.

Дух взял ее скрипку и положил, вместе со смычком, наземь.

А музыка продолжалась — одышливая, жаркая мелодия, словно обезумевшие орлы схватились в смертельной битве с горными козлами; словно змеи попались в ловушку лесного пожара; словно скорпионы, которых мучают арабские отроковицы.

И в этой тьме она рыдала и вскрикивала в унисон. Не этого ждала она; о любви более страстной были мечты ее,

о вожделинии, более причудливом и неистовом, чем положено смертным.

Но так?

Истинная утрата истинной непорочности? Упадок и разрушение не тела даже, но души? Это добела раскаленное пламя, льдом обвившее ее сердце? Эта рвущая ее иззубренная молния? Этот липкий и грязный паук, крадущийся вверх по ее хребту?

Кровь отлила у нее от груди, пена выступила на губах.

И тут внезапно вспыхнул свет. Она стояла, качаясь, голову осев ему на руки.

И снова он прошептал нечто ей в ухо.

В левой его руке явилась коробочка черного дерева: в ней некая темная паста. Он втер немного ей в уста.

И в третий раз прошептал ей какие-то слова.

С улыбкой ангела — если б не хитрая ее тонкость! — он отступил в скрижаль.

Она обернулась, раздула огонь, тут же приветливо занявшийся, и кинулась в кресло. Пальцы ее праздно забренчали что-то простое и старомодное.

Дверь открылась.

Веселый парень вошел и принялся отрясать снег со своих мехов.

— Моя малышка сильно соскучилась? — спросил он радостно и самоуверенно.

— Нет, милый! — отвечала она. — Я тут поиграла немножко.

— Поцелуй же меня, Лилия моя!

Он склонился и встретил ее губы своими. И, словно молнией пораженный, растянулся у ног ее — труп.

Она лениво глядела вниз сквозь полуприкрытые веки — все с той же улыбкой-оскалом...

ЛИСИЦА'

Н. И. Л. Б. У. туда и обратно...²

Патриция Флеминг³ кинула поводья конюху и взбежала по ступенькам в дом. Тонкие ее губы побелели от гнева.

Лорд Эйр тяжело топал за ней.

— Спускаюсь через полчаса, — весело засмеялась она. — Скажите Доусону, пусть принесет вам выпить.

И она умчалась сквозь комнаты; девические ее очи были воплощенное богохульство.

Уже третий раз кряду ей не удавалось швырнуть Джеффри Эйра к своим ногам. Она стащила с головы шляпу и устремила взгляд в ее глубины: там, за подкладкой, прятался талисман, который она решила сегодня опробовать — и он, представьте, ее обманул!

«Что же мне нужно? — задумалась она. — Может, кровь?»

Патриция была девой чисто английского рода и склада: отважная, веселая, прямодушная, практичная. И никто, никто не умел разгадать сокровенного пламени, пожиравшего ее изнутри. Когда к ней впервые явился Гость, она была еще совсем малышкой.

Первое посещение состоялось во сне. Она пробудилась, задыхаясь: воздух — свежий, сладкий, здоровый — врывающийся с Чилтернских холмов в распахнутое окно, был отравлен какой-то плесневелой вонью. Гувернантку разбудили рассказами о тигре.

Второй раз Он пришел тоже ночью. Днем она охотилась, видела смерть, била собак. Ночью в комнате раздалось тьяканье лисицы. До рассвета она в ужасе не сомкнула глаз. Утром на подушке была рыжая лисья шерсть.

Третий Визит случился не во сне и не наяву.

После она лишь сжала губы и спрятала в глазах исполненный ненависти отблеск.

1 Рассказ впервые опубликован в «Эквиноксе», I (5) (март 1911 г.), под псевдонимом «Фрэнсис Бендик».

2 Посвящение Лейле Уодделл, полное имя которой Кроули приводит как «Наташа Ида Лейла Батхерст Уодделл».

3 Прототипом персонажа послужила Лейла Уодделл.

Правда, именно в тот день лакею досталось конским хлыстом.

Она была так трезва умом, что в точности знала, где в ней кроется безумие; и потому все свои силы устремила туда — не чтобы побороть, но чтобы утаить его.

Прошло два года. Патриция Флеминг, осиротевшая наследница Картвел-Эбби, числилась любимицей всего графства, подлинной Дианой Чилтерна.

И, тем не менее, Джефффри Эйр от нее ускользал. Честность и собачья преданность приковали его намертво к одной маленькой северянке, тремя месяцами ранее искусившей его неискушенность. Он ее даже не любил — просто она целый час кряду заставляла его в это верить. С тех пор на нем висело опрочметчиво данное слово.

Открытые объятия Патриции будили в нем ненависть как раз потому, что были так соблазнительны. Не ее он ненавидел, а собственную слабость.

Патриция, туго натянутая и злая, мчалась через дом. Сей факт не укрылся от слуг.

«Госпоже кто-то перешел дорогу, — подумали они. — Сейчас побежит в часовню, и там ее попустит».

Ну, да, в часовню она и побежала и там заперлась, пала перед алтарем, нажала секретную панельку и вдруг оказалась в тайной норе священника, достаточно, впрочем, просторной, чтобы вместить десяток-другой человек, случись в том нужда.

В конце комнаты помещался большой алый крест, а на нем, лицом к деревяшке, с запястьями и лодыжками, опухшими над стягивавшими их ремнями, висела нагая девица, крупнокостная, пышная. Рыжие волосы потоком бежали по спине.

— Что я вижу, Маргарет! Грустна, как небесная синь? — расхохоталась Патриция.

— Мне холодно, — сообщила девица на кресте безразличным тоном.

— Чушь, милочка! — отрезала Патриция, стремительно разоблачаясь от амазонки. — Там ни намек на мороз; отличная погоня и прекрасная добыча. С такого тебе должно быть тепло.

На сей раз девица заизвивалась и слегка застонала.

Патриция извлекла из старого гардероба тесное одеяние из лисьего меха и скользнула в него своим белым и узким телом.

— Заставила тебя ждать, дорогая? — бросила она, склонив головку и искоса глядя на нее. — Уж будь спокойна, в охоте я дока!

Она извлекла из шляпы вероломный талисман. Это был небольшой квадратный пергамент, надписанный черным. Из волос своих она вынула шпильку, проткнула талисман и вогнала девице в бедро.

— Им нужна кровь, — пояснила она. — Поглядим теперь, как сменится синий кармином! Да ну, нечего вздрагивать! Я тебя и так на целый месяц оставила в покое.

Змеей метнулась из мехов рука, словно вырезанная из слоновой кости, и жалящий стек вытянул юную Маргарет промеж плеч.

Прозвенел вопль. Единственным эхом вторил ему смех Патриции — ребячливый, дьявольский и ледяной.

Она ударила еще и еще. Крупные пурпурные рубцы проступили на девушкиной спине; окрашенная кровью пена пошла изо рта, так искусала она в муке себе язык и губы.

Патриция согрелась и порозовела — стала прямо-таки изысканно хороша. Детские груди ее вздулись, разомкнулись уста, все тело и душу с ним, казалось, охватил экстаз.

— Хотела б я, чтобы это был Джефффри, крошка! — выдохнула она.

И кожа разорвалась. Мясо засочилось кровью, ручейком побежала она по спине.

А прекрасная дева все била и била в безмолвии, пока отдельные струйки не встретились и не слились, и не достигли талисмана. Тут она швырнула в угол окровавленный китовый ус и опустилась на колени. Поцеловала подругу, поцеловала талисман и снова девушку. Теплая кровь запятнала непорочные ее губы. Затем, взяв талисман, она спрятала его на груди. Под конец она ослабила путы, и Маргарет осела грудой плоти на пол. Патриция кинула поверх тела меха и завернула, закатала в них девушку, принесла вина, влила ей в горло и улыбнулась по-доброму, будто сестра.

— А теперь поспи, радость моя! — прошептала она и запечатлела поцелуй у нее на лбу.

Обед для бедняги Джеффри, глубоко ушедшего в думы о своих ошибках, оживленно и весело давала дева, уже совершенно степенная и владеющая собой.

Старая тетушка Патриции, которая вела для нее дом, посмеивалась, глядя на эти заигрывания, и отнюдь не случайно оставила пару наедине перед огромным камином.

— У бедняжки Маргарет опять разыгрался ревматизм, — невинно объяснила она. — Я должна пойти проведать ее. Ах, эта верная Маргарет!

Так и случилось, что Джеффри как-то внезапно потерял голову

— Плющ достаточно крепок [прошептала она, не успев угаснуть их первый поцелуй]. Прежде чем взойдет луна, не забудь!

И стоило вернуться тетушке, как она ускользнула.

Эйр извинился и откланялся.

В полумиле от усадьбы он велел груму отвести лошадь домой, а десять минут спустя уже ощупью искал дорогу к Патриции.

Белее лилии телом и душой, она приняла его в объятия.

Но, пробудившись, словно бы от смертного сна, он внезапно вскричал:

— Мой бог! Что же это такое? Мой бог! Патриция! Тело! Твое тело!

— Уже твое! — проворковала она.

— Да ты вся волосата! — возопил он. — И запах! Ох, этот запах!

Снаружи, гулкий и резкий, донесся лай гончей. Вставала луна.

Патриция ощупала тело — он говорил правду!

— Это Гость! — вскрикнула она в ужасе и умолкла. Он зажег свет, и тут она закричала опять.

Дикая похоть была на его лице.

— Сегодня ты назвала меня псом, — вскричал он. — Я выглядел, как пес, и думал, как он; и, Господь свидетель, я и есть пес. И буду действовать, как пес!

Повинуясь какому-то странному инстинкту, она прыгнула из постели прямо в окно.

Но он уже был на ней; зубы его сомкнулись на горле.

Поутру нашли два мертвых тела — лисы и собаки. Как же это объяснило чудесный побег лорда Эйра и мисс Флеминг? А никак. Ни того, ни другую больше никто никогда не видал.

Правда, думаю, Маргарет все поняла. В монастыре, которым она ныне заправляет, на стене подле запятнанного кровью стека висит серебряное изображение лисицы с такою надписью:

PATRICIA MARGARITAE VULPIS VULPEM DEDIT.¹

¹ Патриция Маргарите лисью лису дала (*лат.*).

АЛЫЙ ЧАС

Мирра и мед — миррой и медом истекала улыбка, с которой Эдгар Роллз отвернулся от фасада Пантеона. «*Aux grands homes la patrie reconnaissante*»³... На самом деле, думал он, ничего не дожидаться великим мужам от благодарной отчизны, кроме вот такой вот гробницы.

Тут оно и обрушилось на него всей своею массой. Да это же шутка раблезианского масштаба! Один напыщенный осел придумал надпись; другой, трудолюбивый осел взгромоздил ее туда, наверх; а восхищенные ослы сбежались греть свои костлявые души у ненастоящего костра получившейся в итоге помпезной сентиментальности.

Возможно, он первым разглядел насмешку! Эдгар Роллз трясся и покатывался со смеху — пока не очутился вдруг (споткнувшись о столик) в надежных объятиях крепко сбитой молодой особы, соединявшей (он успел окинуть ее взглядом) в поистине кельтской гармонии здоровую грубость крестьянки с декадентской утонченностью поздних греков. Лик вакханки, даже, возможно, сатирессы, но сатирессы Рафаэлевой⁴; лик мадонны — но мадонны Родена.⁵ Кроме того особа оказалась

1 Рассказ написан, вероятно, весной 1911 г. и впервые опубликован в «Эквиноксе», I (6) (сентябрь 1911 г.) под псевдонимом «Марциал Ней». Кроули комментировал это так: «Писано в кабачке “Пантеон”. Думаю, по возвращении из второго путешествия в Сахару».

2 То есть, Иде (Лейле Уодделл), Джейн Шерон (также известна как Джун и Джайя, знаменитая модель парижских художественных ателье; впоследствии вышла замуж за московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Уолтера Дюранти) и Кетлин Брюс (1878—1947, одна из парижских любовниц Кроули в 1902 г.). Ида Пендрагон представляет собой сочетание черт этих трех возлюбленных Кроули.

3 Великим мужам — от признательной отчизны (франц.).

4 Рафаэль Санти (1483—1520) — великий живописец итальянского Возрождения.

5 Франсуа Огюст Рене Роден (1840—1917) — французский скульптор-импрессионист.

чрезвычайно соблазнительной и привлекательной — скорее, Мессалиной¹, чем Аспазией². *Chienne de race!*³ Она была молодая; уста ее скорее ухмылялись, чем улыбались — скорее злорадствовали, чем ухмылялись. С ваших при этом невольно срывалось слово «каннибал». Ее отличали совершенная и извращенная радость жизни и при этом совершенное и извращенное к ней презрение: презрение философа, радость катающейся в луже свиньи. *Porcus e grege Epicuri.*⁴

Все это Эдгар Роллз, скорее, унюхал, чем увидел, ибо, повернувшись к ней, он встретился с ней глазами. У нее были глаза энтузиаста, святого, аскета — но святого, который, крепкий в муке своей благодаря вере, надежде и любви, все еще несет тяготы Темной Ночи души.

— Ты должен со мной пообедать, милый мальчик, — [изрекла она], — и принять мои извинения, ты чуть не упал. А за обед заплатишь, рассказав, чего это тебя так скрутило от смеха при виде Пантеона. Уж не «*L'homme aux trois sous*»⁵ ли — ибо так непочтительные французы, внимательные к своим повседневным нуждам, прозвали роденовского «*Le Penseur*»?⁶

— Мадемуазель, — ответствовал Роллз, — ваше любезное приглашение я охотно принимаю. Я предал Церковь ради Таверны.

И они двинулись в сторону *Taverne du Panthéon*,⁷ прокладывая себе дорогу через толпу профессоров и профессорских любовниц — толпу умную, нелюбопытную, домоседливую, словом, пленительную.

— Целую ваши ручки и ножки. Шутку я вам расскажу до обеда, чтобы вы могли вовремя раскаться, если она окажется несмешной. Но только на ушко, чаровница! Правда заключается в том, что я — великий человек.

1 Валерия Мессалина (ок. 17-20—48) — третья жена римского императора Клавдия. Ее имя стало синонимом распутной женщины.

2 Аспазия (Аспасия) (ок. 470—400 до н.э.) — вторая жена Перикла, по некоторым версиям, бывшая гетера, известная красотой, образованностью и умом.

3 Племенная сука (франц.).

4 Свинка стада Эпикурова (лат.). Парафраз «*Epicuri de grege porcum*» из «Посланий» Горация, 1.4.

5 Человек с тремя су (франц.)

6 Мыслитель (франц.).

7 Таверна у Пантеона (франц.).

Словно во вспышке экстаза, ей явилась эта картина.

— Тогда, друг мой, мне придется вас закопать!

— Только в ваших волосах! — вскричал он.

Ей были свойственны огромные клубящиеся массы бронзовых кудрей, словно бы какой-то великий скульптор пожелал вдруг обессмертить штормовое море.

— Сначала помажьте меня благовониями, — возразил он с глухим всхлипом, во внезапном приступе ясновидения созерцая Христа и Магдалину у ног Его.

— А умирать для этого специально будете? — они уже уселись, и рука ее каким-то образом оказалась у него на колене. — Великие никогда не умирают.

— Как и добрые слова! — парировал он. — Сначала вы мне льстили; *tu veux me perdre...*¹

По-английски выразить мысль не вышло. Она слегка поежилась.

— Чего же вы хотите? — спросил он с тревогой мужчины, встретившего, наконец, женщину, которую он, возможно, сумеет полюбить.

— Тело ваше и душу, — торжественно отвечала она; взгляд ее погрузился ему в глаза, словно кинжал — в чрево неверной кабийской жены. — Но кроме того — вашу тайну. Вы знаете жизнь и при этом можете смеяться, как полоумный, от всего сердца.

— Легко вам сказать. Завтра я еду в Лондон. Там меня сделают банкротом (потому что ближнего своего я люблю пуще себя самого) а потом казнят за богохульство и общее непотребство — и все из-за нескольких изреченных мною простых истин, которые и так все знают.

— Что ж, мой друг, вы станете знаменитым! — сказала она. — *«Aux grands homes la patrie reconnaissante»*.

— Может, и да, — признал он. — По крайней мере, передовицы американских газет я уже заработал. Имя мое там интимно связали с наследницей герцога, которую я в жизни не видел.

— Отлично, отлично! — согласилась она. — Все ради славы. Но вы и вправду великий? Смеетесь вы почище Заратустры! В чем ваша настоящая тайна? Зачем вы вздумали любить вашего ближнего? Зачем изрекали истины? Как так вообще

¹ Теперь хочешь меня потерять (франц.).

получилось, что вы узнали эту жизнь настолько хорошо, что это дало вам право смеяться — так, как вы смеялись перед Пантеоном? Подобное несдержанное веселье подразумевает совершенно незыблемые твердыни серьезности.

— Да вы колдунья, — сказал он. — Это ведьмовство — прознать, что у меня есть тайна. Но чтобы раскрыть ее, вам придется оказаться адептом.

— Я знаю, — сказала она и сделала тайный знак.

— А вот вам, — ответил он на это, *mano in fica*.¹

— Раз вы смеетесь надо мной, — вздохнула она, — видать, вы и вправду великий человек.

— Знайте же, — провозгласил он со всем возможным пафосом, — что вы говорите сейчас с Абсолютным Великим Патриархом Обряда Мицраима.

— А вот и пуговица! — засмеялась она. — Я рождена, чтобы они у меня расстегивались. Поэтому всегда ношу башмаки на шнурках.

— А ведь верно, — сказал Эдгар Роллз. — Ну, что ж, буду тогда принимать вас всерьез. Если вы и в самом деле понимаете знак, который мне показали, вам известно также и то, что *mano in fica* — просто карикатура на требуемый им ответ. С какой стати вы так поваплены и раздушены?

— Могу ль не быть развратной я, коль я честолюбива? — почти стихами сказала она. — Вижу кого-нибудь развлекательного и начинаю первая его развлекать.. или ее. Разве это не Золотое Правило?²

— Нууу, — неуверенно протянул Эдгар. — Нууу..

— Я так воздержанна и так умеренна, что боюсь впасть в аскетизм. Любовь — вот мой балансир, с ним иду я по канату.

Руки ее вспорхнули ему на шею, а губы затрепетали на его губах долгим, умышленным, искусным поцелуем.

— Искусство? — выдохнул он, наполовину в обмороке откидываясь в кресле.

— Искусство сокрытое, — просияла она, мерцающая, опьяненная собственным воодушевлением.

— О, да! — согласился он. — Совершенное искусство!

1 Сложив пальцы фигой (*ит.*).

2 «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф. 7:12). — *Примеч. перев.*

— И у всех искусств — одна-единственная Вершина! — продолжала дева.

— Да вы — нимфоманка, — сказал он. — Все ваши устремления — ложь, в которой вы сами себя убедили.

Она вlepила ему пощечину.

— Дьявол! — вскричала она так громко, что во всей *Taverne du Panthéon* народ посмотрел в их сторону и засмеялся. — Не это ли слышу я от собственной совести с тех пор, как мне минуло шестнадцать? Затрещина — вот единственный достойный ответ.

— Затрещина — всего лишь мужское желание в вас, — возразил он, оставаясь недвижим.

— Как еще мне доказать, что я права? — всхлипнула она, озабоченная и злая.

— Загладьте свой проступок, девочка моя, — сказал он мягко. — Доверьтесь мне. Я испытаю вас и оправдаю. Но позже!

— Вы что, думаете... сейчас?... — начала она возмущенно.

— Я не думаю, я знаю, — отрезал он. — Завтра в сумерках мы поговорим.

Внезапно холод и страх обуяли ее.

— Я не готова, — промямлила она. — Я недостойна..

— Вот чтобы доказать вашу достоинство, — обронил он, — меня к вам и послали.

— Помоги мне, боже, — только и смогла сказать она.

Теперь она посерьезнела и почти готова была расплакаться. Личико ее вытянулось и побелело подо всею краской. Эмоции, надо сказать, только добавили остроты ее сладострастности, а животной притягательности — трагизма.

— Но именно сейчас... — почему сейчас? Как мне вас найти? Это же один шанс на миллион миллионов!

Эдгар поднял лежавший подле него нож. На скатерти сидела муха. Проворный и стремительный, как лосось, он разрубил ее в точности пополам.

— Ну что, не повезло мухе? — расхохотался он. — А мне-то — да. Случайность означает всего лишь неведение о причинах.

— Так вы, что ли, верите в Братьев?

— Настолько же, насколько пирую в твоих поцелуях, — отвечивал он, прижимая ее лицо к своему.

Роскошная радость, влажная радость поднялась в ее глазах — прямо как первый прилив артезианской скважины посреди моря дюн.

— Итак, — промурлыкала она, снова оживленная и веселая, скрывая за маской раздурманившуюся душу, — с шестью дюжинами устриц и чертовым морем бургундского мы справились.. Интересно, голодна ли я еще?

Она устремила взгляд ему промеж глаз.

— *Hors d'oeuvres!*¹ — провозгласил Эдгар. — У меня ложа на бой Сэма Холла.

— О, возьми же меня туда! — выпалила она.

— Побьет он Джо Мэри, как думаешь? — добавила она с некоторой тревогой. — У него и вес, и опыт, и рекорды..

— Дураки бьются об заклад, что да. Я ставлю на того, кто на три года моложе, на шесть дюймов выше и на двенадцать дюймов дальше достает. Не говоря уже о в двадцать четыре раза более твердом черепе.

— Но у него такая кожа..

— Единственное, что способна любить женщина.

— И он такой.. активный.

— Ну, да. Ты не способна понять Бытие, которое есть Мир.

— А ну, хватит! Ты слишком близко подобрался к *моей* тайне.

— Дождись сумерек, говорю я тебе.

Она кинула на тарелку три наполеона и, не желая ждать сдачи, взяла его за руку. Они взяли фиакр.

— Кстати, я так и не знаю, как тебя зовут, — заметил он, пока они грохотали по Буль-Мишу.²

— Ида Пендрагон. Но зови меня Поппи, Маков-Цвет — ведь губы мои красны, и несу я сон или смерть.

Пауза.

— А тебя как зовут, милый мальчик?

— Эдгар Роллз — но можешь звать меня Аконитиком³.

— Что, *тот самый* Эдгар Роллз?

— И всегда им был.

1 Это лишь закуски (франц.).

2 Бульвар Сен-Мишель. — *Примеч. перев.*

3 Аконит или борец — ядовитый цветок, выросший, по легенде, из слюны Цербера, выведенного из подземного царства Гераклом.

— Да они ж тебя повесят! Они тебя точно повесят... за эту последнюю твою книгу. Но сначала ты повисишь вот тут... — и ее длинные белые пальчики взлетели к шее, словно устремившаяся за добычей каракатица. Глаза ее запахнулись, горло некоторое время конвульсивно сжималось. Роллз и сам откинулся на спинку сиденья, бледный от волнения, и принялся большими глотками хватать свежий воздух. Затем он выпрямился и пал вперед, уткнувшись головой ей в декольте.

— А ну-ка, сядьте прямо и ведите себя благоразумно, мистер Роллз! — вот что услышал он дальше. — Мы с вами пересекаем Сену. Страсти не одолеть мрачных вод. Здесь крадется Порок, а на пяты ему наступают англичанин. Даже кофе *sent son Ahglais*.¹

— *Et les femmes*,² — пробормотал Эдгар.

Она шлепнула его по руке почти рассерженно.

— Аморальность — искусство плакатное.

— Помню, пошел я как-то с одной американочкой в парижский гиньоль.³ Там давали комедию, какую впору играть и в шотландской воскресной школе. Однако Веррро-ника (так ее звали), которая не понимала ни слова по-французски, сочла, что атмосфера там ужасно, просто ужасно похотливая. Бедняжка! Она и так заплатила кучу денег, чтобы увидеть «Евррропу» и ее пороки. У меня духу не хватило ее разубеждать.

— Вы посочувствовали и предложили уйти оттуда?

— Разумеется.

— Но она предпочла остаться?

— Разумеется.

— Как бы там ни было, а вот он, Цирк.

— Будем надеяться на честный бой.

Когда они заняли свои места, второй раунд как раз близился к концу. Сэм Холл был массивен и яростен, и, может, на унцию или две перетренирован; Джо Мэри почти не походил на человека, черная кожа его мерцала, а руки простирались так далеко, что казались почти непропорциональными. Выглядел он при этом апатично и как-то в целом вызывал мысли об индийском каучуке.

1 Отдает его английскостью (франц.).

2 И женщины тоже (франц.).

3 Кукольный театр (франц.).

Обмен любезностями начался только в шестом раунде. Ида села прямо. Джо впечатал резкий апперкот в губу англичанина. Ида вонзила ногти в руку Роллза, вяло возлежавшую на ее колене. Сэм Холл ответил ударом в грудную клетку, запустившим негра зигзагом через весь ринг. Он ринулся вслед с быстротою молнии, чтобы закончить бой, но негр парировал с неожиданной жесткостью, а раунд закончился клинчем.

В седьмом оба бойца вели себя осторожно и словно бы опасались нанести друг другу увечье. Джо Мэри в особенности изображал сонную муху. Его ложные выпады отличались превосходной ленивой грацией. Он методично изматывал англичанина, не расточая себя.

В девятом Сэм Холл подбил ему глаз. Он, однако, только засмеялся и напрыгнул на противника, вминая того в канаты, несмотря на превосходство в полтора стоуна. В ходе разъяренного обмена ударами оба бойца получили и нанесли немало урона. Да, это был настоящий «плохой бокс».

В десятом раунде Джо Мэри наконец проснулся. Он провел серию атак и трижды достал белого боксера в лицо.

Ида терлась об Роллза всем телом, будто кошка.

— Он же как черный леопард, — мурлыкала она. — Есть ли на свете что-то красивее этого ловкого черного тела?

— Видал я как-то кровь на плече буйвола под лучами солнца..., — проворчал в ответ Роллз.

— Обожаю смотреть, как чистый зверь побивает простую скотину. Белым мужчинам вообще не стоит драться: пусть думают, а телом делают всякие красивые вещи, изящные и с хорошей репутацией.

— Ида! Ида моя! Если б ты только видела, как раздуваются твои ноздри! Да ты сама могла бы драться с такою же яростью, неспособная следовать правилам бокса.

— Ненавижу тебя! Ты во всем увидишь...

— Свойственную тебе жажду крови, — серьезно закончил он.

— А ведь и правда, — медленно проговорила Ида. — В глазах у тебя нету света битвы. Ты ее видишь картинкой.

— Иероглифом.

— Но это же драка!

— В драки я не верю. Я верю в красоту.

— Ах, как это верно, как же ты прав! Как благороден! — она спрятала лицо в ладонях и принялась оплакивать себя. — Я понимаю! Теперь я понимаю! Так Бог должен видеть Вселенную, а иначе как бы Он вынес подобную жестокость, глупость, негодность.

— Точно так. А теперь представь, что мир — просто символ (я бы даже сказал, таинство); представь, что все эти звезды, плавающие в безграничном эфире — просто тельца в крови какого-нибудь той-терьера Создателя.

— Ты меня пугаешь. Не хочу я такого представлять.

— Тогда подумай о вечных битвах гемоглобина, оксигемоглобина и карбоксигемоглобина в наших жилах. Та же самая идея. Сострадаем ли мы побежденным? Закатываем ли пацифистские вечеринки под лозунгом «Остановите войну!»? Напротив, мы делаем все возможное, чтобы эти смертоубийственные конфликты могли спокойно продолжаться. Так что когда снова будешь называть Бога, которому молишься, «Милосердным» и «Сострадательным», следи за тем, что именно хочешь сказать.

— Мне холодно. И страшно. Мир кругом рушится. Забери меня отсюда. Можешь испытывать меня, все равно мне ничего больше терять.

— Я говорил: в сумерках поутру.

Аудитория между тем уже вся повскакала и ревела что-то радостное. Джо Мэри навалился на противника, слишком уже слабого, чтобы парировать или защищаться, и дубасил его туда, сюда и вообще куда только мог. Процесс был совершенно односторонний — с тем же успехом можно избивать ковер. Дважды он швырял его на канаты. В первый раз тот нетвердо поднялся, только затем чтобы снова рухнуть. Во второй друзья, которым было уже наплевать на правила, помогли ему встать. Вот уж медвежья услуга! Чернокожий обрушил на него град безжалостных ударов, прогнал через весь ринг и последним зубодробительным натиском выбросил через канаты прочь, прежде чем рефери успел вмешаться и остановить бой.

Эдгар Ролз отвез Иду Пендрагон к себе в ателье на Монпарнасе. Всю дорогу она льнула к нему, хлюпая, словно дитя. Он сидел неподвижно и только гладил ее по головке, с которой давно слетел тюрбан.

— Вот тебе победа Сути над Формой, — рассуждал он, — Материи над Движением. Женщина есть форма и думает, что Форма — это Бытие. Бог ты мой!

Он даже вскочил.

— Я — мужчина. Что если бы я, кто есть Бытие, стал бы думать, что Бытие — это Форма!.. Да захоти я даже, к этой фразе невозможно привязать хоть какой-то смысл! Я слепее остриженного Самсона. То и другое должны быть равны, одинаково истинны, одинаково ложны перед очами Его, где все истинно и все ложно, а Он — над ним всем. Только лишь разум ребенка — да, разум Ребенка — в состоянии постичь такое. «Если <...> не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».¹ Да, слепее остриженного Самсона я! Ну-с, ныне на мне висит Далила, а вот и Дом, куда нет хода филистимлянам! А ну, вставай, малышка!

Он нежно извлек ее из фиакра и уплатил кучеру.

— Топчи! — молвил он. — Попирай ее твердо, как доктор Джонсон! Земля тверда под стопами твоими.

— *E rip si tiuove*,² — пробормотала она и прилипла (о, этот нелогичный пол!) еще теснее к его локтю.

2

СЕРЫЙ ЧАС

— И, дабы резюмировать, — сказал Роллз, убирая чайный поднос, — поскольку вы не выполняли никаких предписанных практик (ах, нехорошая сестричка!), вы не сможете изгнать телесное, просто приказав ему хранить безмолвие. Значит, изгнать его вам придется истощением и пробуждением духа посредством семикратной дозы Эликсира.

— А у вас есть Эликсир?! — спросила она в благоговейном ужасе.

¹ Матф. 18:3.

² И все-таки она движется! (ит.) По преданию, сказано Галилео Галилеем на суде инквизиции в 1633 году, где его вынудили отречься от убеждения в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. — *Примеч. перев.*

— Его доверили мне, — ответил он скромно. — Ради этой похвальной цели я и заказал достаточно Биск-Кадоша¹ в «Кафе Риш», а за ним вослед омара по-кардинальски и трюфелей в шампанском. Плюс острая закуска моего собственного изобретения. Трюфели в шампанском из «Кафе Риш» куда желаннее порочных грез заправских гашишинов, а с ними и божественных видений праведников. Туда пойдем пешком, а обратно — поедом. Вот это благовоние зажжем, а эту лампу оставим гореть.

С этими словами он достал странный предмет из запертого шкафчика. Чеканные трубочки из золота, меди и платины вились вокруг хрустального яйца. Три змея встречались над ним головами, готовые не то укусить, не то расцеловать кристалл. Роллз наполнил яйцо бледно-голубой жидкостью из флакона венецианского стекла, после чего сдвинул змеиные головки еще чуть ближе друг к другу. Тут же между ними сверкнуло пламя, мгновенное, ослепительное, сияющее — и осталось гореть с тихим шипением, изредка прерываемым сухим треском.

— Вот так, — сказал он. — Ну, нам пора.

Ида Пендрагон не вымолвила ни слова. Она водрузила на голову шляпу и проследовала к дверям с фатализмом приговоренного к виселице. Она уже была по ту сторону опасений и просто ждала — будь что будет.

У дверей, благоговейно придавленная безмолвием комнаты с ее монотонным шипением, она прошептала ему на ухо:

— У вас есть Лампа... Я почти готова заподозрить, что у вас есть и Кольцо!

— «Сие есть знак тайный, — процитировал он. — И да не будет он явлен непосвященным». Будет вам сегодня кольцо — Вечное Кольцо, Змей, обвившийся вокруг моего сердца.

— О, если бы мне раздавить его в объятиях!

Он захлопнул дверь. Будто священник, гордый своей первой торжественной обедней, он вел ее через Париж. Оба молчали. Только лишь поднимаясь по ступеням кафе, он внезапно схватил ее за руку и произнес отрывисто и строго:

— Внимание! С этого мгновения я — Эдгар Роллз, а вы — Ида Пендрагон. Не более! И ни мысли о подлинных наших отношениях. Просто мужчина и женщина, если угодно; дикие

¹ Биск — густой суп из морепродуктов, шедевр южно-французской кухни. Кадош — святой (*древнеевр.*).

звери в джунглях, если угодно; цветы на обочине, если угодно; и только! Иначе вы не только провалите испытание, но и будете безжалостно сметены прочь с нашего Пути. Сегодня днем вы были в куда большей опасности, чем могли предположить. И цена еще не уплачена!

— Понимаю, — сказала она. — Вы дьявол! Я вас люблю.

— А я люблю каждый дюйм вашего белого тела!

И они, рука в руке, смеясь, ворвались в двустворчатые двери.

* * *

Эдгар Роллз восседал, скрутившись на индийский манер, у себя на кровати. Священная лампа все еще шипела. Подле него лежала Ида, раскинув крестом руки. Она едва дышала; ни кровинки не было в лице. Ее впору было принять за останки обретшей мученическую кончину девственницы. Тело ее, словно вуалью, было укрыто собственной своей чистотой.

Эдгар Роллз наблюдал за лампой, прямой и внимательный. Наконец, она погасла. Ни следа серого не просачивалось через тьму. В руках он держал две нитки.

«Одна белая, другая черная, — размышлял он. — И одному Богу известно, какая где. Так что один только Бог знает, что есть грех. И в нашей тьме мы, мнящие, что в силах различать — просто лгуны, шарлатаны, бредущие ощупью мошенники в лучшем случае. Что же, солнце никогда не взойдет? Ибо нам, кому свет экстаза воссиял хотя бы на одно мгновение — «немало увидишь при свете его» — нам свет бури. Но Свет Серебряной Звезды? О, Братья мои, Братья [он уже говорил вслух], подайте мне мудрости, как вы дали понимания! Знание, милость и сила? Все это ничто, и менее, чем ничто. Не драгоценность ли вы отдали на попечение мое? Не слишком ли я молод между вами, чтобы нести бремя столь чудесное? В первый раз я дерзнул столь на многое. О, Бездна! О, Лезвие Бритвы! Мост хрупкий и острый! И нет, не луч это Звезды Вечерней, не луч Венеры, любви Небесной!»

«Способен ли я отличить черное от белого? Вроде бы и да, но вот поколебалась уверенность, и я уже сомневаюсь. Я сомневаюсь. Я всегда сомневаюсь. Мудрец, возможно, обозлился бы да и приказал: «Будет столько времени, сколько я скажу!»

Или ... А, ладно! Положу обе нитки на белую ее грудь — вот и нет никаких сомнений.

И громко и отчетливо:

— *Ave Soror!*¹

Девушка, словно бы механически, пробормотала в ответ:

— *Rosae Rubeae*².

— *Et Aureae Crucis*³, — подхватил он.

Затем вместе, очень медленно и ясно:

— *Benedictus sit Dominus Deus Noster qui nobis dedit signum*⁴.

Казалось почти невозможным, чтобы ее голос вот так присоединился к его. Губы едва двигались: словно бы некий внутренний голос говорил в сердце ее. И комнату вдруг залил бледно-зеленый свет — или розовый — или золотой? — или подобный луне? Было в нем что-то странное. Каждому приложенному к нему эпитету внутренний голос отвечал: нет, не так; вот *эдак*, но не совсем. Ясный, призрачный, туманный, переливающийся — все это и еще нечто большее.

Он положил ладонь ей на лоб.

— Вполне ли ты пробудилась?

— Я пробудилась, *frater*⁵.

— Можешь ли ты показать мне знак своей степени?

— Я не должна двигаться. Но я подвешена и готова погрузиться, *frater*.

— Слово?

Запинаясь, пришел ответ:

— Ар... ар... ит... а⁶.

— Едино Его начало; Едина Его сущность; перестановка Его едина. Не забывай об этом, маленькая сестричка. Ты готова?

— Я готова. Прощай... прощай навсегда!

— Прощай.

1 Радуйся, Сестра! (*лат.*).

2 От Розы Алой (*лат.*).

3 И Золотого Креста (*лат.*).

4 Благословен Господь Бог наш, подавший нам знак (*лат.*).

5 Брат (*лат.*).

6 «Арарита» — каббалистический акростих из датированного XIII веком текста, приписываемого рабби Хаммаи «Сефер ха-Ийюн» («Книга созерцания»). См. также «*Liber DCCCXIII vel Ararita sub figura DLXX*», 1:0 из корпуса «Святых книг Телемы».

Он нажал пружину в перстне-печатке. Гнездо открылось и явило небольшое, отделанное разноцветными камнями колесико, разделенное на множество ячеек. Он надавил вторую пружину. Колесико принялось вращаться; в тишине сыграла коротенькая мелодия. Это было слабое треньканье, словно бы от далекого коровьего колокольца или же церковной звонницы — еще дальше, из-за пелены падающего снега. Было в этом звуке что-то ледяное.

— Где ты?

— Я... я..., — она замолчала.

Взгляд его озарился радостью.

— Я в песках. Я закопана по пояс в песок. Не вижу ничего, кроме песка.

Лицо его снова погасло.

— Что есть песок? — спросил он.

— Просто песок... Лиги и лиги песка. Словно огромная миска с песком.

— Но что такое песок?

— Песок... о, думаю, песок — это Бог.

Терпение и усталость были у нее в голосе, будто она долго страдала и теперь отдыхает или же выздоравливает после недуга.

— Кто же ты?

Она не ответила.

— Теперь я вижу небо, — сказала она помолчав. — Небо, полагаю, тоже Бог.

— Значит, ты видишь Бога?

— О, нет! Я думаю, что и сама я — тоже каким-то образом Бог. Так уже было когда-то, давным-давно. Я была когда-то пауком в пустыне. Бог — это паук; вселенная — мухи. И я — тоже муха... Теперь в пустыне полно мух.

Роллз прикусил губу; лицо его исказилось болью. Сейчас он выглядел совсем стариком.

— Черные мухи, — продолжала она, — отвратительные белые черви. А теперь еще и трупы. Черви пируют в глазах их, во ртах. Тут три трупа, и все они были Богом при жизни. Я убила Его. Это случилось, когда я была верблюдом в песках. Теперь там только мои кости.

— Это, может быть, всего лишь завеса, — пробормотал он, не желая, чтобы она его услышала. Но она услышала.

— Это завеса, — промолвила она, — но есть ли что-то позади завес?

— Смотри!

— Только песок.

— Разорви ее!

— За нею может не оказаться Ничего.

— Там и есть Ничего. Через него тебе нужно пройти — дальше.

— Эта завеса — Бог. Я — святая монахиня, погруженная в транс под названием *Раматурана*. Меня уже канонизировали. Имя мое — на всех флагах. Лику моему поклоняются все народы. Я — дева непорочная, все прочие осквернены. Мысль хуже деяния. Все мои мысли святы. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Силою мысли я сотворила Слово; от слова произошли Миры. Я — создатель. Я напишу закон мой на скрижалях из оникса и нефрита.

Роллз лишь склонил голову в молчании.

— Я — сама мысль, — продолжала она безмятежно. — И все мысли суть Я. Я есмь знание. Все знание — в трех. Три сотни и тридцать три. Я — половина Мастера. Я разрубила его пополам.

Адепт содрогнулся.

— Это случилось, когда я была топором. Стрелую я не буду. Я буду топором.

Она хихикнула.

— Я весела из-за ненависти.

Пауза.

— И я весела, потому что я — разум. Весь разум упирается в двоицу. Я разрубила Мастера надвое.

«Сумеет ли она пройти? — думал Эдгар. — Не ошибочно ли так отождествляться с тем, что видишь?»

— Вот демоны, — вскричала тем временем она. — Черные, нагие, вопящие демоны. Они касаются друг друга и с прикосновением каждый снова растекается слизью. Слизь эта — Хаос.

— Арарита! — он дохнул словом ей на лоб.

— Не трогайте меня! Не трогайте меня! — раскричалась она. — Я святая! Я Бог! Я есмь Я!

Черен был лик ее, черен и искажен внезапною страстью.

«Совершенно не похоже на мой собственный опыт, и по многим причинам, — думал наблюдатель. — И, тем не менее, не в том ли суть всех испытаний, всех посвящений, что они должны быть неожиданными? Иначе бы кандидат проходил сквозь врата, еще даже не подойдя к ним, а это абсурдно.

Последнее слово он, вероятно, произнес вслух.

— Абсурд! — воскликнула она. — Никакой это не абсурд. Все совершенно рационально. Это ты — абсурд!

— Ты вообще понимаешь, что говоришь?

— Нет! Нет! Ненавижу всех, кто понимает. Я их укушу. Искусаю я их за пояса.

И вдруг упав голосом:

— Это случилось, когда я была мышеловкой.

— Боже ты мой! Это уже безумие.

— О, давай еще про Бога! Ничего не имею против Бога. Я бы тебе порассказала всяких чудес о том, что я сделала с Богом. Когда-то я была проповедником-нонконформистом: у меня были тайные грехи. Они были мои! Мои! Как же я ими гордилась! Каждое воскресенье я проповедовала супротив грехов, которые творила всю неделю. В пустыне так много бабочек — куда больше, чем можно себе вообразить. Это доказывает, что Бог есть добро. А потом, видишь ли, есть еще и жуки. Жуки и жуки. И скорпионы! Эти милые крошечные янтарные твари. Ага! Вот один меня ужалил. Это таинство ненависти. Лягу я спать на ложе из скорпионов и розовых листьев. Скорпионы будут получше терний. Почему это я разгуливаю голой? И почему мучаюсь жаждой? И этот холод! В пустыне должно быть жарко! А тут — нет. И это все доказывает... — ах, ты кисонька моя! Тебе надо бы молочка. И ударю я в скалу для тебя, и потекут молоко и мед!

Тут она внезапно вскочила и закрыла лицо руками, а потом кинулась к нему на шею.

— Эдгар, милый! — возопила она. — Твоей киске приснился такой жуткий кошмар! Иди ко мне и люби свою девочку!

Он так и не осмелился сказать ей, что она попыталась и потерпела неудачу, что вернулась той же, что ушла. Всю свою волю он устремил на сей акт милосердия, и поцелуи его восхитили ее в обитель блаженств.

Пробудились они поздним утром, ослабевшие от восторга. Свежие поцелуи цвели на их юных губах. Само солнце купало их пробуждение в волнах своей любви.

Лишь затем вернулась память, а с нею серьезность и скорбь.

— Мне нужно успеть на четырехчасовой, — сказал он, покидая ее. — По одному из этих адресов меня всегда найдут. Если буду нужен, телеграфируй. Если буду должен, приду — хотя бы и с края земли, но ты ведь знаешь Братьев! Если ты будешь по-настоящему нуждаться во мне, я буду рядом.

— О, моя дорогая! Моя дорогая! — он вспыхнул нежностью, наполовину человеческой, а наполовину сверхчеловеческой. — Как же я люблю тебя! Как люблю! Не хочу ехать в Англию!

— Ах, да! Твое мученичество! Как жаль, что я недостойна его разделить.

— Боже мой! Боже мой! Ну почему мы должны расставаться? Одно лишь идиотское тщеславие заставляет меня желать этих мук. На самом деле я хочу тебя — только тебя.

— Но ты же не только Эдгар Роллз.

— Когда я вернусь, будь больше, чем Ида Пендрагон. Пусть будет крепко твое сердце, девица!

Так, с тысячей рыданий и поцелуев, они расстались. Она не поехала его провожать. У нее и так уже почти не осталось самообладания — такой удар нанесли по нему новая любовь и ужасное испытание, которое она претерпела. Разум ее не сохранил о нем никаких воспоминаний — таков милосердный порядок вещей; но душа ее, избитая палками, кровоточила.

Итак, Эдгар Роллз отправился в Англию навстречу мученичеству с локоном ее кудрей в записной книжке. Мученичество он обратил в битву, а битву — в победу. Ради одной реснички не грех положить и королевство — так, по крайней мере, было до сих пор.

ЧЕРНЫЙ ЧАС

— Вот гадость! — сказала Ида Пендрагон, глядя на чересчур правдоподобный портрет оратора, обращающегося с речью

к избирателям, в Люксембургской галерее. Эти слова она адресовала через плечо длинному негру по имени Джо Мэри. Глаза у него тут же выкатились, руки задержались, а толстогубый рот расплылся в ухмылке. Казалось, еще мгновение, и он жадно принюхается к ее волосам. Плачевное создание — суший дрессированный леопард. Сплошь улыбки и «да, да!» — притом, что об истинном смысле разговора он не имел ни малейшего понятия.

— Реализм! — внушительно продолжала Ида. — Нам подавай правду жизни, но и красоты не забудьте положить. Мы при этом не хотим того, что называют правдой наши глупые глаза — нет, нам нужна красота, которую зрит душа художника. Фотография — ложь, потому что камера — это вам не Бог. Мы предпочтем правду, окрашенную личностью художника, той лжи, которую говорят ему его простые земные глаза. Женщины Бужеро¹ и Жерома² больше похожи на жизнь простыми глазами, чем женщины Дега³ и Мане⁴. Я хочу правды Бытия, а не правды Формы.

— Ты меня вообще слышишь? — закричала она. — Мне нужна правда, Правда!

— Я тебя хочу, — сказал на это Джо Мэри.

— В таком случае мы попали оба, — улыбнулась она ему. — И, возможно, оба оказались бы разочарованы, получи вдруг желанное. Теперь я иду домой писать письма, а ты, если будешь хорошо себя вести, сможешь пообедать со мной завтра.

— Тогда дай мне заплатить! Я хочу заплатить за твой обед!

— Кому-то крупно повезло, Джо! Придут еще мой приятель со своей девушкой — Ты сможешь заплатить за всех нас.

Негр так и просиял.

— Ида Пендрагон! — пролопотал он (слюни, между прочим, так и брызнули). — Я люблю тебя, Ида Пендрагон!

— А Ида Пендрагон любит своего леопарда. А теперь пошел вон.

1 Уильям Адольф Бужеро (1825—1905) — французский живописец, академик и традиционалист.

2 Жан Леон Жером (1824—1904) — французский художник и скульптор, также представитель академизма.

3 Эдгар Дега (1834—1917) — французский живописец-импрессионист.

4 Эдуар Мане (1832—1883) — французский художник, один из родоначальников импрессионизма.

Она огляделась: в галерее они были одни.

— Можешь поцеловать меня в холку, если хочешь.

Негр зарылся лицом ей промеж плеч.

Ида поежилась: волосы ее так и зашипели под поцелуем.

Она извернулась, и на одно клейкое мгновение ее рот отдался его губам. Однако она тут же оттолкнулась, и бедное незадачливое животное поспешно и грациозно ретировалось из залы. На углу оно пошатнулось — дева увидела это, и улыбка ее была подобна зарнице в полнеба.

В четверти мили оттуда Эдгар Роллз оторвал край у маленького голубого конверта.

«Готова уплатить штраф, — прочел он. — Отобедай со мной завтра в час в «Лавеню». И прихвати какую-нибудь даму».

— Отлично, — пробормотал он. — Но хотел бы я знать, что у нее на уме.

И он отправился в «*Le Dôme*»¹, где и нашел старую добрую Нинон², *la grande hystérique*³ всего Квартала⁴, полубезумную и всецело влюбленную, полумальчишку и полудаму большого света, сытую, но неудовлетворенную и при всем при том совершенно невинную. *La Dame de Montparno*⁵ было ее прозвание; она владычествовала над своим окружением безо всяких усилий. Никто не мог, однако, объяснить или проанализировать те чары, перед которыми капитулировали все. Друзей у нее было больше, чем любовников. Никто ни разу не сказал против нее ни слова неправды. Никто не мог допустить, чтобы она хоть в чем-то нуждалась.

Приглашение она приняла с радостью.

— Ида Пендрагон! О, этот типаж мне знаком. Имечко в пору тигрице..., — и тут же затрещала о том, как в Фонтенбло охотились на оленя, и какую роль (главную и совершенно невероятную) сыграла в этой охоте корнуэльская девица.

1 Вероятнее всего, имеется в виду кафе «Купол», где с начала XX века собирались интеллектуалы.

2 Нина Оливье (1882—1949), более известная как Нина Монпарнасская, одна из парижских любовниц Кроули начиная с 1902 года. Настоящее имя Эухения Виктория Аузиац. Приблизительно в 1909 году она стала возлюбленной американского коллекционера и критика искусства Льва Штейна (1872—1947). В 1921 году они поженились; ее золовкой стала Гертруда Штейн (Стайн).

3 Великая истеричка (франц.).

4 Имеется в виду Латинский Квартал, район на Левом берегу Сены.

5 Госпожа Монпарнаса (франц.).

Все кафе наострило уши и, когда абсурд истории достиг пика, рассыпалось смехом.

Однако Эдгар Роллз лишь насупил брови.

— Жаль мне Иду, — промолвил он. — Если бы история ваша была правдой, я бы только порадовался. Она — художник, который просто мешает краски на палитре. Никогда душа ее не изливается потоком на холст. Тигрица? Ну да. Но не бодхисатва, готовый дать тигрице себя сожрать. Она всегда выигрывает — просто не может проиграть. Говорят «везет в игре, не везет в любви» — а еще говорят «Бог есть любовь».

— Слушайте все! Он опять глаголет из Черной Мессы! — в восторге завопила Нинон и, вскочив на стол, пустилась в пляс под названием «Тут-тук, это почтальон!»¹, от которого тогда уже стонал весь Монпарнас, и инфекция грозила захлестнуть остальной Париж, а с ним и Лондон. Некий юный поляк вспрыгнул на стол напротив и присоединился к веселью; еще через минуту оно охватило все кафе.

Но Эдгар Роллз, глубоко засунувши руки в карманы и блестя непролитыми слезами в глазах, уже был на пути к себе в ателье.

— Ах, если бы только жизнь была безумием! — вздохнул он. — А между тем наиглупейшие творимые нами вещи суть мудрость — где-то, в чем-то...

Он отпер дверь и вошел.

* * *

Обед в приватном кабинете в «Лавеню» оказался втайне забавным. Джо Мэри не сводил собачьего взгляда с Иды; Нинон развлекалась попытками его отвлечь. Эдгар пространно разглагольствовал об искусстве в бесстрастно-выставочной манере.

— Искусство, — вещал он, — (и даже не смейте воображать, будто искусство — или что бы то ни было еще — есть нечто иное, помимо Высокой Магии!) представляет собой систему святой иероглифики. При помощи него художник, он же посвященный, придает форму мистериям. Все

¹ Postman's Knock — по всей вероятности, имеется в виду английская мореска (или моррисдэнс, шуточный народный танец) в сопровождении песни, написанной Л.М. Торнтоном и У.Т. Райтоном в 1860-х гг.

остальные глумятся или пытаются понять, или притворяются, что понимают; лишь немногие избранные постигают истину. Технические навыки художника равны понятности его речи — к степени просветленности они ни малейшего отношения не имеют. Бужеро технически куда лучше Мане: он более ясно объясняет, что видят его глаза. Но что же они видят? Он — жрец ложного бога. Форма не имеет никакой иной важности, кроме этой. Экстравагантность новых символических систем не должна отвращать нас. Гогену и Матиссу нужна целая жизнь, чтобы их поняли, а с причудами Рафаэля мы уже безропотно смирились.

Ида издала смешок, в котором сквозила довольная издевка.

— Милая девочка, перспектива — это причуда, символ, не более того. Как вообще может человек втиснуть трехмерный мир в два измерения? Только при помощи символов. Мы смирились с тем, как видели мир мастера прошлого — не думаете же вы, что для нормального необученного взгляда люди и вправду выглядят, как на картинах Фра Анджелико?¹ А в один прекрасный день мы, возможно, смиримся и со всеми крестиками-ноликами Надельманна!² И так повсюду. Я рисую дугу и круг, и еще вот так хвостом вверх и вниз — и всякий способный читать по-английски, может быть совершенно уверен, что я имею в виду именно то безмятежное жвачное, женского пола, травоядное и млекопитающее, с которым мы сравниваем самых ручных своих куртизанок и наименее ручных полисменов. Бытие не равняется Форме; однако, понять его можно только через Форму. Отсюда и воплощения. Вселенная — всего лишь картинка, нарисованная разумом Отца, при помощи которой он хочет сообщить нам... — но что? А это уже наш *Magnit Opus* — понять, что же Он имел в виду! Отсюда и выражение «глазами веры». Обычное земное зрение говорит нам, что гипсовый слепок куда вернее природе, чем величайший из шедевров Фидия; с ним вполне согласна наука со своими топорными измерителями. Человек разумный предпочтет хорошую фотографию ландшафта плохому пейзажу. Фотограф в этом случае

1 Фра Беато Анджелико (1400—1455) — доминиканский монах, художник, представитель Раннего возрождения.

2 Эли Надельманн (1882—1846) — американский скульптор и график, в период действия рассказа живший в Париже и увлекавшийся авангардом.

предлагает зрителю тот же взгляд, что и его собственные глаза, через посредство общепринятых символов; картина же явит взгляд души индифферентной и убогой через посредство размазанной по холсту грязи. Но есть Коро! Есть Уистлер! Есть Моррис! Коро видит лес и пишет Пана; Бужеро видит хорошенькую модель и пишет хорошенькую модель. Он никогда не пишет Женщину. Моррис рисует Венецию Байрона, наших исторических и сладострастных мечтаний — не Венецию янки и фырчащих пароходов. Рафаэль раскопал в своей любовнице Мадонну; Рембрандт царицу темной страсти и соблазна — в собственной жене. Тем или иным способом мы должны прорваться к Господнему смыслу сквозь нагромождения инструментов, которые сами по себе смысла не имеют.

— Подобно тому, как через нагромождения завтрака мы прорываемся к десерту! — расхоталась Ида, которой явно было что сказать — и куда больше, чем являло ее личико. На всем протяжении обеда она прельщала и завлекала большого черного дикаря, пока под ее взглядами он не стал плавиться в агонии. Все первобытные страсти устроили драку у него в сердце. Он готов был убить Роллза за одну только эту беззаботную светскую болтовню. Тот факт, что кто-то смеет говорить с Идой иначе, чем словами любви, причинял ему сущие мучения. Впрочем, с тем же успехом он готов был пришить Роллза за тень подлинного чувства у него в голосе.

Эдгар Роллз между тем вполне понимал его муки, понимал подспудную мощь намерения Иды, но природу его угадать не мог.

Всему происходящему он некоторым образом не доверял.

— А возьмите литературу! — твердил он этим своим неусыпным голосом. — Возьмите Золя с его миллионами рассортированных фактов. Какой в них вообще смысл? Никакого. Ну, да, мы узнали правду о Второй Империи — и если бы факты Золя были сплошь ложны, это ни на йоту не изменило бы правду, которую он явился нам сообщить, мелкую, несчастную, провинциальную, приспособленческую правдочку как она есть.

— И возьмите Ибсена! Никакое обвинение не станет утверждать, что норвежцы в жизни не вели себя, подобно его персонажам; никакая защита не докажет, что норвежцы именно так и поступают. Это вообще не имеет ни малейшего отношения к вопросу. Ромео и Джульетта говорят о любви

по-английски — и всем плевать! Шотландца Макбета никто не обязывает прибавлять «Слышь-ка, леди!» всякий раз, как он обращается к жене. Идиот, озабоченный местным колоритом, проشياпит солнце. Человек с бюреткой не заметит моря. Во время оно один благочестивый голландец, желая изобразить Авраама и Исаака, вручил старику в руки мушкетон! Говорю вам, все это символизм, все — иероглифы. А возьмите Вагнера!

— Возьми лучше сигарету! — вставила Ида.

Он пожал плечами и смирился с местным колоритом.

— Мистер Роллз, — сказала она. — Нам нужно вашего совета по поводу реальной жизни. Давайте поговорим серьезно. Вот этому милому мальчику (она ухватила негра за губы своими тонкими пальчиками и как следует их ущипнула) я нравлюсь.

— Я люблю ее! Я умру за нее! — вмешался тот, совершенно не в силах себя сдерживать, рыдая от счастья и боли. При этом он с такой силой вцепился в стол и подтянул себя к нему, что со ска-терти слетело два бокала. — Я люблю ее! Я люблю ее! Я хочу ее!

— Цыц, Джо! Видите ли, мистер Роллз, я его тоже люблю...

Роллз кинул на нее быстрый взгляд. Она не заметила.

— Я люблю его страстно, правда-правда. О, да, я люблю его, люблю его!

Они кинулась на широкую грудь боксера и зарылась в нее лицом. Его длинные ручищи конвульсивно обвилились вокруг нее; глаза, видимо, решили покинуть границы черепа; пена запузырилась на пересохших губах. Говорить он уже не мог. Выдох, горячий и яростный, со свистом вырвался из раздутых его ноздрей — сущий бык на арене! Она высвободилась.

— Видишь ли, он хочет на мне жениться. Я его люблю! Я хочу быть с ним навеки. Но...

Огромный боксер обмяк в кресле.

— ... это непросто. Есть определенные трудности. Моя мать...

Эдгар Роллз уловил у нее в голосе фальшивую нотку. Он все понял. И разозлился — разозлился на то, что его втянули в эту аферу. Зубы его заскрипели.

— Да? — осведомился он, желая на самом деле орать, крушить мебель.

— Мы не можем пожениться, — продолжала она, и на сей раз преступное схиждство едва не порвало шелк ее печали лихим взвизгом.

— Итак, Джо... — она обратила к нему свои невероятные очи, лучезарные, молящие.

— Я хочу тебя, — вот и все, что он смог на это сказать, но голос его был подобен глухому и дикому реву слона.

— Ты же не... — она поколебалась мгновение, — ты же не *осквернишь* меня?

Такой тихий и трепетный голос — но белые-то поняли! В нем слышался вой тайфуна, рвущего паруса.

Нинон, не выдержав, издала тонкий истерический всхлип, предвещающий приступ невыразимого хохота. Подобной комедии она не видала с тех пор как... — да ну! Она вообще никогда не видала подобной комедии! Что же за тупая скотина это чернокожее создание!

Эдгар Роллз вскочил резким движеньем. Он не знал, что грядет.

В дремучей чащобе африканского разума забрезжил свет. Тысячекратные тенета паучьих ее сетей разлетелись в клочья. Он понял! Он понял, что Иде все равно и всегда было все равно, что ни единого волоска с драгоценной своей головы не отдаст она за тело его и душу вместе взятые. Понимание это стало для него мгновенною смертью.

Затем с безмолвным рыком он бросился на нее. Вместе со стулом рухнули они назад, на пол, и черный леопард подмял женщину. Зубы его вонзились ей в горло.

Эдгар Роллз поспел как раз вовремя. Его ботинок повстречался с черепом убийцы прямо за ухом — а ведь Эдгар Роллз играл в футбол!

Чудовище было мертво.

Он склонился и поднял ее; кровь рывками била из горла. Нинон, крик за криком взлетая в муке, ринулась за помощью в ресторан.

— О, брат мой, — выдохнула дева. — Разве не понимаешь? Я и хотела умереть.

И это стали ее последние слова — надолго.

Буря судачащего и жестикулирующего дурачья захлестнула «Лавеню». Полиция отогнала всех назад. Труп — в морг; девицу — в больницу; мужчину — в участок. Нинон, ломающая руки, рыдающая и хохочущая сразу, умчалась, словно вакханка, по бульвару в сторону «Купола».

ЗОЛОТОЙ ЧАС

Удовлетворить французское правосудие было легче легкого. Иду Пендрагон сравнивали с целым рядом раннехристианских мучениц, имена которых я, впрочем, позабыл. Эдгара Роллза попросили позировать в образе святого Георгия для Фола — картина стала сенсацией Салона следующего года. Филантропические газеты вынуждали закон запретить бокс со всеми его зверствами. Парижские техасцы возмущались и ликовали; техасские парижане с чистой совестью продолжали посещать эти публичные линчевания по мере возможности.

Ида шла на поправку. Жуткие шрамы, искромсавшие горло, останутся с нею навеки; а лицо — неужели и его никогда не оставит выражение некой таинственной экзальтации? Повидавшегося с ней Эдгара понимание почти испугало. Попрощавшись с нею, он двинулся через самое сердце Парижа к определенному дому.

Он хотел уверенности; он намеревался посоветоваться с кем-нибудь из Братьев Серебряной Звезды.

В наши дни нетрудно отыскать Брата, если знаешь пароль. А вот заставить Брата рассказать тебе то, что ты хочешь, совсем не легко. Он почти наверняка будет избыточно груб; он, весьма вероятно, будет толковать тебе о здравом смысле, и это может крайне раздражать, если тебе подавай возвышенный мистицизм; и очень возможно, что он просто кивнет в ответ и вернется к своим заботам, а это уже совсем выводит из себя, когда дураку понятно, что дело у тебя чрезвычайной важности — и для тебя, и для него, и для всего Братства, не говоря уже о человечестве в целом! А он меж тем занят игрою в какие-то бирюльки и продолжает тебя оскорблять, преспокойно объясняя, что он, мол, тут пытается доказать возможность (если, конечно, действовать достаточно осторожно) изъятия планет из солнечной системы безо всякого вреда для последней!

Роллзу, впрочем, необычайно повезло обнаружить знакомого ему Брата за отдыхом — даже по его собственным меркам. Стопы его покоились на каминной полке, во рту торчала

длинная трубка, а большие пальцы степенно крутились один вокруг другого.

— *Ave, Frater!*¹ — изрек он, когда Роллз вошел. — А также и *Vale.*² Как же вы, юные братья, обожаете влипать в неприятности!

— Мисс Пендрагон через четыре дня выпишут из больницы., — приступил к объяснениям Эдгар.

— Повезло псине! — молвил великий человек. — Самое смешное, что у меня тоже проблемы.

— Ой! Жаль слышать об этом.

— Ты, возможно, сумеешь помочь. Вот как обстоит дело. Иногда я кручу пальцами вот так — мы это называем плюсовым направлением; а иногда вот *эдак* — в минусовом. Счет я потерял годы и годы назад, так что теперь, как ни крути, возможно, удаляюсь все дальше и дальше от равенства. И как — спрашиваю я тебя! — человеку достичь Вселенского Равновесия?

— А не будет ли в таких обстоятельствах разумнее вовсе не крутить? — смиренно спросил Роллз.

— Бесславный недоросль! — отпарировал Брат. — Низменный буддист! Так ты никогда не сравниешь счет. Нет! Мой план таков: всегда теперь крутить только в одну сторону. Тогда с равными шансами *вот так* будет правильно.

— А если нет?

— Тогда я буду проклят навеки, надо полагать.

— А если все получится, и ты сравниешь счет?

— Без малейшего понятия.

— Но...

— О, мелочный, бесчувственный юнец! Бьюсь об заклад, ты так и не понял, в чем мое затруднение!

— Да тут *все* — сплошное затруднение.

— Мое наивысшее, мое сокрушительное сомнение!

— Даже и угадать не берусь, сэр.

— Вот! В уши твои, мой юный, друг, в самые уши! Я не могу вспомнить, в какую сторону теперь нужно крутить все время.

Пораженный Роллз даже отшатнулся.

— Иди, почитай Ницше! — горько бросил ему Брат.

1 Привет тебе, Брат (*лат.*).

2 Прощай (*лат.*).

— Но... но..., — принялся заикаться тот. — А, вот оно! Так я говорю, что мисс Пендрагон выписывают через четыре дня...

— Жаль, что ты так и не освоил верчение, — печально молвил Брат.

— Че... чего я не освоил, сэр?

— Верчение, чертов идиот!

— Я знаю, вы всегда что-то такое подразумеваете...

— Да никогда! Тут Нечего подразумевать.

— О!

— Вон отсюда, у меня нет на тебя времени — пошел! Собирай свои вещи — *это-то* тебе понятно?

— Так вам нечего мне сказать?

— А что я тебе, по-твоему, втолковывал последние четырнадцать минут двадцать семь секунд? Павиан! Козел! Дурак! Олух! Продолговатый кусок экскремента! Думаешь, можно наверстать упущенное время? С ним, видите ли, надо говорить простым английским языком — английским, ты, отельная промокашка, непитывающая ты губка! Английским, англичанин чертов!

На последнем оскорблении Роллз почти что вышел из себя.

— Тогда иди собирайся. Чемоданы свои пакуй, дубина! Сундуки, баулы, сумки, ящики, и, ради Господа, не забудь положить немного мозгов! Вези девицу в Иерихон или в Йоханнесбург и раздобудь там ума-разума, — глядишь, научишься говорить фразами хоть по три слова! Крутим так — Бытие! Крутим эдак — Форма! Уравновесь их, бакалейный ты жулик! Нация лавочников! Кручу-верчу-кручу! Не в Ребенке ли Равновесие? Научи ее понимать детей!

Тут Брат замолк, чтобы раскурить погасшую трубку, и выбил чашечку об решетку над мерцающими углями.

— Понимать детей? Это трудно. Но мы любим детей, сэр.

— И какая же тогда, к черту, разница между любовью и пониманием? Если есть одно, есть и другое. Да крути же ты, крути!

— Кстати, можешь прислать мне один из этих дрянных ножей для бумаги из Иерихона, — добавил он уже более миролюбиво. — С дрянным сефардским клинком — вот ведь богохульники! А, вот еще что! Не смей *сам* богохульствовать, приятель. Тебе досталась хорошая женщина: используй ее с умом.

— Великая женщина, быть может.

— Хорошая женщина. Во время следующей осады Парижа, надеюсь, мне не придется варить твою голову — мне нравится суп погуще. Хорошая женщина. Сестра Серебряной Звезды, дорогой мой козлик!

— Не понимаю, учитель!

— И не поймешь, я думаю. О, поколение гадюк! О, скучные, банальные фаты! О, Кафозелевы хлыщи!

— Я прошу прощения, сэр! Вам известно, что в Бездне она потерпела неудачу?

— Мне? А вам? Это невыносимо! Еще хафиза!¹ Давай сюда, тупица!

— Она, полагаю, была вашей любовницей? Большинство женщин в Париже были. Сэр, да или нет? Ага, молчание — знак согласия...

— Нет, не была!

— Лжете!

— Она никогда никому не отдавалась — только один раз. Ступай, посмотри на отметины у неё на горле!

Роллз отступил, оглушенный грубой правдой.

— Я Дурак!

— Не такой уж! Держи хвост трубой и уже в этой жизни станешь Магом. А тем временем будь Дьяволом!

За *brusquerie*² Брата юноша разглядел бесконечную любовь и мудрость. Глаза его наполнились слезами.

— Я завоюю ее, сэр, Богом клянусь! — восторженно воскликнул он.

— Заблудись в ней. Только так. А теперь прочь, мальчишка! Я занят. Мне еще крутить и крутить...

Эдгар поклонился и ушел. Он не решился бы сейчас заговорить: Бытие Брата растопило снег Эдгаровой души — и стала Любовь. Он любил. Не Иду, не мир, не что-нибудь иное. Это была чистая любовь, любовь без предмета, любовь как она есть сама по себе. Нет, он не любил — он был Любовью.

Тем не менее, он отправился напрямик назад, к Иде Пендрагон. Не успела она встать с постели, как они уже пожелтели. Неделю спустя прохладные стремительные ветра уже

¹ Хафиз — хранитель Корана, мусульманин, знающий Священное Писание наизусть.

² Грубость (франц.).

несли их на юг; и там, среди лоз, они узнали, как — один раз в столетие — Страсть феникса возносится из пламен Порока, а в клюве его блистает, неподвластное огню, кольцо Любви.

Прошел год. Они были на вилле в Мустафе. Море и небо ревниво спорили, кто лучше ответит на вопрос солнца словом «синева».

Ида Пендрагон, бледная и хрупкая, словно редкостный фарфор, извивалась на ложе, не в силах обрести покой. Эдгар склонялся над нею, бдительный, как в ночь ее первого испытания. В тени стоял врач; у кровати сидела сестра, держа на руках ребенка.

— Брат, — слабо произнесла она, — это Третья степень, трижды я отдалась. Один раз — зверю, другой — мужчине, моему мужчине!

Ее рука сжала его руку — о, так слабо!

— Ныне же — Богу!

Слезы бросились ему в глаза.

— Это тебе, — прошептала она, — предстоит понять Дитя.

Она упала на подушки. Врач кинулся к ней. Он знал, что делать ему тут нечего, но все равно отпихнул Эдгара прочь. Слишком поздно. Произошедшее стало ему ясно.

Он рухнул на грудь мертвой девы.

Сестра встряхнулась, почти сердито, словно вылезший из воды ретривер, и вложила ему в руки ребенка.

АПОЛЛОН ДАРУЕТ СКРИПКУ¹

СЮЖЕТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА СЦЕНЕ

1

Пастбища тянулись от гирляндюю окаймлявших деревню фигов и олив до верхних склонов гор, где нагромождение утесов, иссеченных огнем, хмуρο взирало на угрозу вечного бесплодия — само Мироздание против отчаянно сражающегося человека.

Дафнис нечасто гонял своих коз так далеко к скалам — к чему, если равнины так щедры и зелены? Только в одном месте рвался зеленый покров дернины. Мхи и цветы, желтые, голубые и белые, укрывали там холмик, мягкий и твердый, словно девичья грудь.

Дафнис, сущее дитя, тешил себя верою в то, что холмик посвящен какой-нибудь нимфе. Он ни сам не заходил за границу круга цветов, ни коз своих не пускал по нему пастись. Вместо этого он доставал флейту и призывал нимфу или выплескивал слабые волнения нарождающегося в его мальчишеской груди мужества в какой-нибудь простой песенке, вроде этой:

Не паситесь тут, козлята,
Не топчите эти травы:
Настежь небо здесь разъято,
Боги близятся во славе,
И весенние цветы
Внемлют зову красоты.

Здесь бывал Владыка Мира,
Теша страсти на свободе,
Здесь наяды и сатиры
Шли в веселом хороводе,
Да пребудет вечно свят
Этот дивный вертоград!

¹ Рассказ впервые опубликован в «Эквinoxе», I (март 1912 г.). Прототипом главного персонажа послужила Лейла Уодделл.

Всё я жду, что нимфа свыше,
От небесной благодати,
Песнь печальную слышит
И сойдет в мои объятия.
Чу! Колышутся цветы!
Нет... лишь ветер — и мечты...¹

Так, в стенаниях и жалобах и текли его дни: монотонная пастораль, чья неизменность — сам мир и покой.

Однако в день летнего солнцестояния, когда он предавался сетованиям на все тот же старый мотив, лилии кругом закачались как-то особенно сильно — а день-то стоял безветренный. И еще ему показалось, что будто бы легкая дымка заволокла цветочную чашу. И запел он:

Не твой ли, светлая, покров —
Туман волшебный этот?
Увы... он тает снегом снов,
Росою в час рассвета!

Тем не менее, мальчик был уже на ногах и едва не подпрыгивал от любопытства, потому что туман вздымался совсем большими клубами, а промеж лилий уже взбрызгивали и посверкивали язычки огня.

Иль это дух самой земли
Клубится мрачным дымом?
Иль силы тьмы на свет взошли
Огнями роковыми?

Буйство на холме нарастало, и он рискнул еще на шаг приблизиться к кругу. Но тут опять привычный страх овладел им, и пастушок отшатнулся — а рвение все гнало его вперед! Наконец реальность подмяла воображение; он осторожно двинулся к холму. словно сосок на груди, земля вспучилась, алая, взморщенная, растресканная. Все это Дафнис увидал, когда раздвинул стебли рослых лилий. Из центра ее бил мгlistый,

¹ Здесь и далее стихотворные фрагменты в этом рассказе приводятся в переводе Анны Блейз.

розово-багряный туман. Он протянул вперед руки, чтоб разделить пополам цветочный занавес, но тут ветерок подхватил завиток дыма и смешал с его вздохом.

Голова его рванулась назад: Дафнис едва не задохнулся. Задушенный вопль вырвался у него, за которым тут же последовал дикий хохот. Помешательство передалось и членам. Он скакал, вертелся и выделывал пируэты, словно укушенный тарантулом. Все это время бессмысленные вопли вырывались из его горла. Чем ближе подходил он к соску на груди земли, тем причудливее становились его ужимки и тем пронзительней смех.

Между тем у подножия холма объявился караван купцов, путешествующих со своими рабами. Увлеченные в сторону с пути своего непривычными звуками, они узрели эту пляску. «Не иначе как некий Бог одержит его», — прошел кругом шепоток, и все они пали на лица свои и вознесли моление.

И се! — случилось чудо из чудес. В разгар полудня окуталось солнце мраком затмения. И в сгущающейся тьме, среди странных теней все так же прыгал и хохотал юный Дафнис. Когда же дракон целиком поглотил солнце, издал юноша самый громкий свой вопль и рухнул наземь, изможденный.

2

То, что некогда было цветочным холмиком, ныне скрывалось глубоко под мраморным полом, просвечивающим, будто перламутр. С каждой стороны четверо обсидиановых слонов припадали к земле, поклоняясь центральному в зале предмету — хрупкому треножнику из серебра; на их спинах восемь порфиристых столбов обвивали питоны цвета злата и черни. Колонны несли на себе купол, блиставший ляпис-лазурью. Формою храм повторял рыбу или ее, рыбы, пузырь; нигде не виднелось ни единого креста — ни в обычном виде, ни подобного букве Тау.

Под треножником во мраморе разверзалась круглая дыра, выпускавшая сумеречные пары, два столетия назад преисполнившие Дафниса энтузиазмом.

За слонами и промеж них стояли пять жриц в белых одеяниях. Лица их были завязаны до самых глаз, чтобы испарения не ввергли в транс. Каждая держала в руках факел с маслом,

выжатым из священных олив, произраставших в храмовой роще. Каждая была слепа и глуха от чересчур долгого пребывания в святилище со всей его ослепительной славой и слишком громкой музыкой. Каждую в пору было счастье снежной статуей на каком-нибудь разгульном пиршестве древнего царя.

За спиною последней из них, там, где пространство храма сужалось, располагалось сокровенное святилище — с потолка ниспадала пурпурная завеса, на которой золотыми буквами были начертаны имена и эпитеты Аполлона.

Час поклонения. Воздев руки, бородатый жрец в просторных лазурных и золотых одеяниях принялся возглашать призывания. Стоя за треножником, лицом к святилищу, он гремел:

Славься, солнца владыка!
Сияньем и тайной лика
Кто сравнится с тобой? Ни один!
Славься, небес властелин!

Славься, хозяин лука!
Избрали стрелу твои руки —
Кто уйдет от нее? Ни один!
Славься, стрел господин!

И, обратившись к треножнику:

Славься, лиры властитель,
Блага и боли блюститель,
Смерти и страсти бог —
Славься, певец и пророк!

С этими словами жрец снова оборотился и двинулся к завесе, где и простерся ниц семикратно. Затем он вернулся к треножнику и пропел так:

О пифия, внимли!
Сойди к нам, Феба дочь!
Войди в круги земли
И истину пророчь!
Вдыхая дым курений

Неси нам издали
Слова Его велений!

После этого он высыпал благовония в расселину под треножником и удалился в святилище. Когда дымы развеялись, глазам явилась сидящая на треножнике дева в узком платье из багряного, вышитого золотом шелка. Массы черных кудрей, схваченных на темени пурпурной же и золотой повязкой, тяжело ниспадали кругом. В руке дева держала лиру. Очи ее были дики и яростны; раздутыми ноздрями впивала она пары пещеры с какою-то грозною страстью. Слабо вначале, но все более иступленно ударила дева по струнам.

Не прошло и минуты, как порвалась струна; музыка оступилась и смолкла. Жрец выбежал из святилища, крича:

— Аполлон! Аполлон! Покройте лица! Аполлон снизошел!

И рухнул на мрамор перед треногой. Словно бы удар грома; завесу относит в сторону, будто порывом ветра; и Аполлон — сплошь золотое пламя! — входит в храм. Он идет, и жрицы на его пути падают замертво, и факелы гаснут. Но луч славы небесной, ковчег Господень, следует за ним. Медленно и величаво шествует он к треножнику. В руках его — инструмент из дерева, незнакомой, невиданной формы. Музыка победы славы вторит шагам его.

Так, танцуя, приблизился он к пифии. Из рук ее взял он лиру и сломал. Она взирала, погруженная в транс. Взамен он вложил в них причудливый инструмент и, пригнув ей голову вниз, запечатлел на лбу поцелуй. И затем дохнул слегка ей на руки. Пала тьма, и молнии разорвали ее; за ними последовали громы. Аполлон исчез. Розовое сияние наполнило храм, когда стих последний отзвук грома. Лежавший доселе ничком старый жрец поднялся и вознес, и тут же уронил руки, механически исполняя знак инвокации. Послушная ему, пифия заиграла на данном ей богом инструменте, и храм сотрясли звуки небесные, переворачивающие душу, божественные. Поистине великую музыку даровали миру!

Она закончила. Нетвердо поднялся старик-жрец на ноги и вскричал: «Аполлон!», — и пошатнулся, и мертвым пал у подножья треноги.

Свет погас.

ЕГО ТАЙНЫЙ ГРЕХ¹

Посвящается с восхищением Александру Куту²

1

Теодор Багг сделал из Англии то, что она есть. Последние сорок два года вознесли его от посыльного до крупнейшего розничного бакалейщика Централных графств. Двадцать восемь лет женатого счастья оставили с чистой совестью, пятилетней давности могилой — ухаживать «в память моей возлюбленной вдовы», как он изволил написать (потом клерк все-таки предложил мааленькое изменение формулировки) — и дюжей дочкой, которой как раз сравнялось двадцать.

Жалко, что на этом нельзя остановиться. Но у каждого холста есть изнанка, и сейчас Теодор Багг благополучно позабыл и Англию, и что она есть, и что он из нее сделал. По крайней мере, если какая-то работа в его мозгу все еще велась, она делала это подсознательно. Он стоял возле позолоченной статуи Жанны д'Арк, широко разинув рот и с Бедкером (в мягкой обложке) во взмокшей руке.

«Она едет верхом! — расплавленное безумие колыхалось у него в мозгу. — И на ней мужская одежда!»

Однако, нужно раскрыть шокирующую правду: Теодор Багг явился в Париж за *Удовольствиями!*

Ему удалось освободить себе только два дня, воскресенье и понедельник на Троицыной неделе. В путь он отправился ночным паромом в субботу и прибыл в Париж в воскресенье поутру — вот он, первый шаг по наклонной! Воздух Парижа его пьянил; Большие Бульвары вгрызались в нежную плоть его морали, словно дракон в мягкое масло; и хотя никаких оргий не было и в помине, сама атмосфера мюзик-холла оказывала на него примерно такое же воздействие, как на Одиссея — пение сирен.

1 Рассказ написан летом 1911 года, вероятно, в Париже или Фонтенбло и впервые опубликован в «Эквиноксе», I (8) (сентябрь 1912 г.).

2 Уильям Александр Кут (1842—1919), секретарь Национальной Ассоциации Бдительности, занимавшейся предотвращением белой работорговли в Лондоне. Это была группа «моральных дружинников», сражавшихся с «пороком» и для этой цели «погружавшихся на дно». Они работали информантами и в частном порядке привлекали к уголовной ответственности содержателей борделей.

По счастью, он был прочно привязан к мачте полного невежества во французском и страха задать кому-нибудь *тот самый, особый вопрос* — а то он, чего доброго, уже нашел бы Мулен-Руж и, страшно сказать, даже зашел туда.

В общем, Жанна д'Арк для его разума оказалась уже слишком. Он тарашился на нее, словно зачарованный василиском. Глаза тщетно пытались покинуть границы черепа, а моральное чувство — оттащить тело подальше назад по улице Риволи. В итоге он налетел на какого-то достойного француза (который наотрез отказался принимать его всерьез) и был, так сказать, ударно водворен в себя.

Он вынул часы. До поезда всего полтора часа. И это когда он только-только начал наслаждаться собой. Какой стыд! Даже телеграмму не дашь, не поставив других в известность, где он обретается — дома-то наивно полагают, что он рыщет по Шропширу по торговым делам.

Будет о чем вспомнить, подумал он, если я за это умру. А я ведь.. — а, все равно! С тем же успехом меня могут повесить за овцу, аки за агнца — теперь только идти до конца. Здесь где-то должны быть эти лавки.

Обернувшись решительно и взволнованно кругом себя, он увидел (уж если тебе пришло в голову вызвать дьявола, можешь быть уверен: он и сам как раз на полпути к тебе!) витрину, набитую фотографиями скульптур и картин Лувра. Он поглядел направо и налево — мелькнувший в поле зрения цилиндр еще мог бы спасти несчастного, пусть даже и в одиннадцатый час. Но нет! Ничего, хоть отдаленно напоминающего англичанина, даже на его, вусмерть перепуганный возможностью разоблачения, вкус. Некоторое время Теодор Багг петлял и зыркал по сторонам, словно преследуя некую таинственную и опасную дичь, а затем, с неожиданной ловкостью прильнул спиной к двери, нажал ручку и проскользнул в магазин.

— *Авве-ву фотографиз?*¹ — торопливо спросил он, тщательно отворачивая лицо.

— Разумеется, сэр, — ответил продавец на превосходном английском. — Что именно желает месье? Фотографии Парижа, Фонтенбло, Лувра, Версаля?..

1 У вас есть фотографии? (*искаж. франц.*).

Английский, однако, отнюдь не успокоил мятежную душу Теодора Багга. Он едва не вылетел из магазина пульей. Английская речь — уже сама по себе почти Разоблачение!

— *Келке-шоуз*, — пробормотал он довольно твердо, но пытаясь при этом спрятать голову куда-то вниз, — *келке-шоуз трэ шо. Ву-савве? Трэ, трэ шо, пар пропр!*¹

Продавец, еще недостаточно дряхлый, чтобы эффективно скрыть отвращение к столь знакомой ситуации, притащил несколько фотографических альбомов.

— Вероятно, месье найдет здесь то, что его интересует, — холодно сказал он.

Собрание целомудренно начиналось крылатой Викторией, но уже к Джоконде стало набирать обороты. И вот уже Теодор Багг, словно с вершины Ниагары, рухнул в бездну — перед ним была Венера Милосская!

Кровь ринулась ему в лицо; дыханье стало лихорадочным и быстрым.

Неуклюжими пальцами, трепетавшими от возбуждения, он вытащил фотографию из уголков и исподтишка показал хозяину магазина, шепча:

— *Комби-ан?*²

— *Trente sous*,³ — протараторил тот на самом своем скоростном французском.

— Мы принимаем английские деньги, сэр, — добавил он уже на понятном языке. — Десять шиллингов, будьте любезны. Вам завернуть?

Но Багг уже совал картинку во внутренний карман. Втиснув соверен⁴ в руку продавца, он, не оглядываясь, одним прыжком вырвался из лавки, мечтая скорее оставить между собою и компрометирующими обстоятельствами побольше пространства и времени.

Он помчался напрямик в отель, покидав попутно через плечо немало подозрительных взглядов, и собрал чемодан. Свободного времени оставалось минут десять. Он тщательно

1 Что-нибудь погорячее. Понимаете? Очень-очень «горячее», так сказать (искаж. франц.).

2 Сколько? (искаж. франц.).

3 Тридцать су (норм. франц.).

4 То есть, переплатив вдвое.

запер дверь, сел спиной к свету и, вытащив из кармана фотографию, отдался долгому сладострастному любованию.

По коридору простучали башмаки с новостью, что кэб прибыл, и Багг, благороднее сам собой, чем лорд Говард Эффингемский, засунул свое сокровище обратно в карман, отпер дверь и вскричал:

— *Венни!*¹

2

Год спустя Теодор Багг платил по счетам за свое падение. Он дозволил Гертруде посещать классы по искусству, хотя и понимал, что неправ. Он уже научился бояться своей дочери и не выдержал бы серьезной битвы с нею — особенно в таком вопросе.

Случались времена, когда ему почти удавалось убедить себя, что «ничего такого в этом нет». Церковный староста при известии о «современных идеях» Гертруды поглядел на него косо, но Теодор решительно и даже несколько строго осадил его весьма оригинальным замечанием, что «праведному все праведно». Именно знание, когда стоит проявить храбрость, в свое время и сделало из Теодора такого замечательного бизнесмена.

А это было и вправду храбро, ведь совесть из всякого сделает труса. О, тайный стыд его оргий! Каждую буднюю ночь — а один раз даже и в воскресенье! — когда все отправлялись поживать, он открывал крошечный сейф в головах своей кровати и вынимал непристойную картинку из конверта с надписью: «В случае моей смерти или недееспособности ЭТОТ ПАКЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН НЕВСКРЫТЫМ. Т. Багг». Он сидел, сжимая ее в жарких ладонях, и пожирал пагубную тварь глазами, а то поднимал ее снова и снова к губам и покрывал алчными, мокрыми поцелуями. После — когда она уже была снова надежно заперта — он раздевался с настроением едва ли не благоговейным. Однажды он даже попытался — при помощи банного полотенца — принять соответствующую позу перед зеркалом. Ничего смешного он в этом не усмотрел — как не усмотрел ничего прекрасного в фотографии. Нагота есть похоть — вот что гласило простое евангелие его эстетики.

¹ Войдите! (*искаж. франц.*).

Стыд толкал его к мерам испуительным и предупредительным. Семейные молебствия он читал теперь два раза в день вместо одного и даже занял пост председателя на ежегодном собрании Общества Обеспечения Брюками Новообращенных Индусов.

Ведь всем в Мидленде известно, что «индусы» — просто голые дикари.

А еще он уволил конюха за то, что тот имел наглость насвистывать в воскресенье.

Но если все эти уловки и врачевали кое-как его совесть, они, увы, оказались совершенно бессильны против нарождающегося стремления Гертруды к независимости мысли и поступков. Случилась даже крайне неприятная сцена, когда он швырнул в камин книжку из «Мьюдиз»¹ (боже, я всегда думал, хоть «Мьюдиз»-то можно доверять!) под названием «Похищенная бацилла»² в которой опознал чрезвычайно аморальное направление. (Отвратительное похабство про свободную любовь и всякое такое, да?)

Чувствительным человеком Теодор Багг никоим образом не был; избыток интуитивного сочувствия не грозил превратить его жизнь в ад, однако напряженность в семейных отношениях он распознать сумел. Особенно с тех пор как «эта миссис Грэм»³ стала выказывать Гертруде расположение. Полковничество ее супруга смягчило заглатывание пилюли, но сама-то пилюля была ой, как горька, ибо миссис Грэм по воскресеньям отправлялась не в церковь, а кататься на машине или даже играть в гольф, и пару раз брала с собой Гертруду, чем скандализовала весь околотов. Полковник Грэм тоже немало действовал Баггу на нервы, невзирая на всю «честь знакомства».

Вот какие мысли неинтересно скользили по его мысленному небосклону, пока он ждал в саду свою дочь с «художественных

1 Чарльз Эдвард Мьюди (1818—1890) основал Абонементную библиотеку Мьюди и Платную библиотеку Мьюди.

2 Имеется в виду рассказ Герберта Уэллса «Похищенная бацилла».

3 Возможно, прототипом персонажей послужили возлюбленная Кроули Лилиан Хорниблоу (ок. 1874—1958) и ее муж, бригадный генерал Фрэнк Герберт Хорниблоу (1860—1931). В своем сильно зашифрованном дневнике 1900 года Кроули называет миссис Хорниблоу «Лорой Грэм». В это время ее супруг как раз носил чин полковника.

классов» к чаю. Но когда она явилась с папкою в руках, ее красота и великолепия легкого широкого шага вызвали в нем прилив милосердия.

В подобных обстоятельствах беседе немудрено стать искусственной, но Гертруда была столь весела и словоохотлива, что чаепитие шло очень даже приятно, пока взгляд отца, по несчастью, не зацепился за папку.

— И чем же моя маленькая фея занималась в последнее время? — спросил он с поистине слоновьим изяществом.

— О, большей частью наброски, папа. На этой неделе мы копируем старые греческие шедевры. Давай я тебе покажу, папочка, милый.

Она раскрыла папку и развернула листы.

— У меня отлично получается. Мистер Дэвис полагает, что мне надо ехать в Париж и учиться как следует. Ты же мне позволишь?

— Как тебе такое в голову могло прийти, Гертруда? И это моя дочь! Учиться как следует!!! Конечно, нет! Немного порисовать — чудесное занятие для юной леди, но...

Тут у него отвалилась челюсть. В стиснутых бешенством пальцев оказался тонкий, изящный карандашный набросок; модель вряд ли можно было с чем-то спутать.

— Гадкая девчонка! — закричал он. — Откуда ты только взяла это... это... это... Как, прокляни его бог, у вас это называют? Эту... а, вот! — модель для этой зловредной, непотребной, бесстыдной, распутной, похотливой гадости? Черт побери, ты ничем не лучше кузины Дженни! [Кузина Дженни была пятном на фамильном гербе Баггов!] Да вы блудница, мисс!

И затем, когда истина нашла, наконец, дорогу в застенки его ума, страшно переменившись, он продолжал:

— О, мой бог! Бог мой! Проклятие! Как ты раздобыла ключи от моего сейфа?

Девушка заледенела пуще камня, но в глазах ее воссиял некий новый свет. Если б изгиб губ мог втоптать червя во прах земной, губы эти были бы Гертрудины, а червь — не иначе как автор дней ее. Она отшатнулась, словно бы наступила вдруг на жабу, и первая вспышка на лице ее мгновенно угасла в еще более убийственном льду.

Багг узрел свою ошибку, все множества своих ошибок. Довольно было лишь сделать еще одну — и он только что ее сделал; очутившись на сковороде разоблачения, он скакнул оттуда в пламена безвозвратные и забвением неутолимые. Его грубое, толстое, толстощекое лицо все задержалось, он пал на колени и молитвенно стиснул руки.

— Так ты разоблачила меня? О, не отвергай твоего бедного старого отца, Герти! Маленькая моя Герти!

За сим последовало молчание.

— Простите мне, папа, — промолвила, наконец, девица. — Но я только что в первый раз в жизни увидела ваше истинное лицо. Это меня несколько потрясло. Мне нужно подумать.

Она стояла без движенья, пока злополучный родитель заползал, пятась спиной, обратно в плетеное кресло.

— А ну, не трожь святые вещи! — рявкнула дева внезапно, вырывая набросок из его ослабевшей руки и возвращая его почтительно в папку.

Это, казалось, помогло ей принять решение.

— Я сообщу вам адрес, по которому прислать мои вещи, — сказала она и вышла из сада.

Теодор Багг сидел, как громом пораженный. «Святые вещи», сказала она. Она назвала эту похотливую французскую фотографию святой! Был ли это первородный грех или эта странная новомодная штукавина, о которой столько говорят? Как ее, бишь? Наследственность! Так это она? Его тайный грех стал ее явным бесчестьем? Воистину дети ответят за прегрешения отцов!

К этому времени он уже был наверху и вбегал в спальню. Он должен уничтожить проклятую картинку, о, да! Уничтожить ее! Он запятнал Гертруду уже только тем, что держал такое в доме. О, он должен быть отцом, достойным Рима! А что стал бы делать римский отец?

Он уже зажег спичку, но никак не мог поднести ее к краю конверта. Тишина дома обрушилась на него. Он знал, что дочь никогда не вернется, и в припадке гнева накинулся на конверт, словно дикий зверь, терзающий труп.

Он бросил его в пустой камин, поджег бумажные клочья и смотрел, как они занимаются. Потом, проглотив рыдание, вытащил из ящика комода револьвер, который купил

(и зарядил под бдительным руководством продавца) на случай грабителей.

Да, он должен убить себя! Теодор Багг взвел курок. Пот бусинами выступил на его дряблом лице. Нет, он не мог — да и кто смог бы? На память тут же пришли многочисленные истории тех, кто застрелился неудачно. Он пощупал сердце, не сумел его найти и представил, что вот оно остановилось, и он умирает, и приступ страха парализовал всю его волю. Вот я лежу уже мертвый, думал он.

— Нет, бог мой! Не могу я сделать этого! — воскликнул он и швырнул пистолет обратно в ящик шкафа. Судьба судила так, что от этого оружие разрядилось. Пуля сломала ему челюсть, выбила четыре зуба, раздробила скулу, разнесла всмятку правый глаз и, отскочив рикошетом от лобной кости, упокоилась в потолке. Он рухнул без чувств. Голова его ударилась об решетку, где все еще тлел прах фотографии.

Прошло три месяца. Теодор Багг поправился — чтобы встретить мир половиной лица к лицу. Он до сих пор уверен, что Гертруда его выдала, так как уличные мальчишки взяли моду дразнить его «старой Венерой». Он, однако, неправ: у мальчишек были на то свои причины эстетического свойства.

Как бы там ни было, Гертруда слишком занята, чтобы забивать себе голову мыслями о нем. После года в Латинском квартале она хоть и не смогла победить Дега, Мане и О'Конора, зато вполне успешно завоевала великого пианиста Влодьевского, так что теперь все ее время занято попечением о нем и попытками удержать дитя от греха подальше.

Теодору Баггу, впрочем, в деле морального ваяния судеб Англии ее помощь совсем не нужна.

Пласид² Жерве был дровосеком, как отец и дед до него. Следует, видимо, полагать, что Природе эта династия порядком надоела, ибо Пласид так никогда и не женился и жил один-одинешенек в своей хижине в лесу Фонтенбло — достаточно далеко от его границ, чтобы выбираться в деревню (на предмет пропустить стаканчик) стоило только по совершенно особым случаям. Военная служба его как-то проглядела; пруссаки пришли и ушли, а он все стучал топором. Ни писать, ни читать он не умел, а в вокабуляре его едва ли насчиталось бы и с полтысячи слов.

Так что свое крещеное имя он вполне заслужил. Всего час, проведенный в лесу, способен успокоить самый мятежный дух; день исцелит большинство забот, а неделю с топором в руках можно смело рекомендовать неврастеникам в качестве более чем равной замены дорожкой терапии по Вейру-Митчеллу³ и лечения покоем. Если бы модные доктора могли позволить себе честность, они бы прописывали трудотерапию девяти десятым своих пациентов.

Сорок восемь безмятежных лет с топором в лесу сделали из Пласида Жерве помесь стойка, циника и эпикурейца; он воплощал простоту и мужество всех трех направлений философии в области бытовых мук, добропорядочности и удовольствия соответственно.

Тягучий летний шум леса, изредка разрываемый птицами — сорокой, вороной, кукушкой да соловьем — ничего для него не значил; монотонная зимняя капля не угнетала. Звонящий бой топора и треск убиенного дерева не представлялись ему ни историей, ни трагедией; комедия и пастораль равно оставались книгами за семью печатями — ведь в нормальном лесу не водится ни сатиров, ни пастушек. Он не охотился (еще в детстве отец выпорол его за попытку швырнуть топором в оленя)

1 Рассказ написан летом 1911 года в Париже или Фонтенбло и впервые опубликован в «Эквиноксе», I (8) (сентябрь 1912 г.).

2 Placide (франц.) — безмятежный, спокойный.

3 Сайлас Вейр-Митчелл (1829—1914) — американский врач и писатель, чья авторская терапия неврастении, истерии и прочих нервных расстройств подразумевала полный покой, постельный режим, частое и обильное питание, а также систематическое применение массажа и электропроцедур.

и не знал общества (ближайший лесничий считал его одичавшей скотиной). Он рубил, чтобы жить, и жил, чтобы рубить.

И крупинку песка в это колесо, неуклонно катившееся к открытию тайны вечного двигателя, подбросил не кто иной как философ с рю де Шеврез. Философ был на самом деле художником, но таким паршивым, что знали его только в кафе, где он пил *crème de menthe*,¹ да и то лишь как теоретика. Там он мог бесконечно разглагольствовать о Боге и человеке.

Он имел привычку время от времени выбираться на природу. Нарисуйте, если угодно, его портрет: вот он, весьма низенький и умеренно толстенький, вполне средних лет в свои тридцать два, облаченный в буржуазный костюм и артистический галстук, в красном платке, повязанном под черной фетровой шляпой на косматую голову, гарнированную маленькой бородкой и усиками — потеет вдоль по нескончаемой песчаной верховой тропинке из Лон-Роше в никуда конкретно.

Эти прогулки он предпринимал а) здоровья ради; б) дабы напиться красотами природы — что часто и демонстрировал. Даже величайшие из философов далеко не всегда последовательны в своей логике, так что для выбора компании ему пришлось бы выдумать другие причины. Ибо компания состояла из дамы, чей возраст становился лишь еще более неопределенным от попыток ограничить все догадки скромной цифрой «25». Волосы ее заметно светлели от черепа, а шея заметно темнела от подбородка. Состояние она себе сделала в Индии на рисовой пудре и в Китае на вермильоне. Личность и наряд ее, чересчур экстравагантные даже для *Cafe d'Harcourt*,² родной цитадели ее острот, в Фонтенбло заставили бы ангелов-хранителей земли поднять руки вверх и признать себя побежденными.

Стоял погожий летний денек; наша странная парочка, повстречав в лесу Пласида Жерве, занятого своим делом, завела с ним беседу. Философ, которому совершенно не шло имя Теофраст Гуле, вытащил сигарету и предложил ее намеченной жертве. У вежливых народов не положено уходить

1 Мятный ликер (франц.).

2 Кафе д'Аркур — популярное в конце XIX— начале XX века место сборищ артистической богемы и персонажей полусвета в Париже на Левом Берегу, бульвар Сен-Мишель.

от человека, пока не докуришь предложенную им сигарету (помнится, один мужчина — если он, конечно, был мужчиной — как-то раз дал мне ирландскую папиросу... но это уже совсем другая история), и Пласиду оставалось либо разрубить этот узел топором, либо не трогать его вовсе. Как только болтливый осел умолк на мгновение, чтобы перевести дух, дровосек показал на свою работу, произнес слово «Надо» и продолжил рубить.

Содержание беседы, между тем, было следующее (разумеется, в сжатой и высококонцентрированной форме):

Бог благ — таков был первый постулат Теофраста. Следовательно, все что Бог ни делает, все благо. Следовательно, раз бог сотворил человека, Он предназначил ему творить добро. Следовательно, человек должен творить добро. Так? Так. В таком случае, что такое добро? Основные потребности человека суть добро, ибо никакое иное добро без них было бы невозможно. Пища — добро; крыша над головой — добро; все, что способствует здоровью индивидуума и размножению видов — добро. Если же нет, допустим, пусть пища будет зло, а искусство — добро. Тогда если художники нуждаются в пище, их добро основано на зле, что уже есть абсурд. Итак, мы договорились, что основные потребности человека суть добро. Так? Так. Но все ли добро заключено в них? Нет, ибо на эти блага тратится лишь часть времени и сил человека. Хорошо ли рубить лес? Да, без сомнения. Но также хорошо было бы и перевести валку леса в разряд искусства. Почему бы дровосеку не быть художником? Почему бы ему не высекать из дерева своим топором чудеса художественной резьбы? Может быть, перед нами Микеланджело из Фонтенбло? Почему нет? Что там говорил по этому поводу Браунинг? «Хотел бы знать я краски мясника, хотел бы знать я, как рифмует пекарь...» эт цетера. Очень хорошо; итак, что же вы делаете истинно доброго в своей жизни? Необязательного, избыточного и, следовательно, в высшей степени доброго? Да-да, вы, мой друг! Вы рубите дерево. Хорошо. Вы любите свою прекрасную жену и растите сильных детей, которые будут защищать отчизну. Хорошо. Вы едите, пьете, веселитесь — просто отлично. Но достигли ли вы известности? Нет. Славы? Нет. Может, вы — великий святой? Нет. Великий художник? Нет. Великий грешник? Нет.

Вообще ничего великого? Ничего. Ну, что ж — тогда никакого добра с вас не засчитается. Восстань, человек! [Это он уже перешел к завершающей части речи. Где-то здесь должны быть аплодисменты.] Отринь лень, вооружись честолюбием! Стань государственным деятелем, художником, стратегом, изобретателем, святым — да хоть вором или убийцей, если такова твоя воля! Но только не довольствуйся рубкой леса!

Но не один он старался все эти четверть часа элоквенций. Прекрасная подруга философа, обожавшая производить впечатление на мужчин своим способом (как он — своим) и столь же всеядная, тоже обратила свои усилия на Пласида Жерве. Уклончивый взгляд первым ударил в доспех, совершенно неуязвимый для подобных атак; за ним последовали улыбки, сперва тайные, затем открытые, и жесты, сперва неуловимые, затем несомненные, и, наконец, невыразимая гримаса с участием языка, которой она выучилась в свое время в некоем монастыре с красными ставнями на улице Четырех Ветров. Тактика увенчалась триумфом: дровосек ударил вкось и выругался.

Теофраст окончил речь и, приятнейшим образом распрощавшись, удалился вместе со своею любовницей прогулочным шагом. Оба они моментально выбросили жертву из головы. Они покинули лес, а вместе с ним (слава богу!) и наш сюжет.

Пласид оперся на топор и долго глядел им вслед. В голове у него жила только одна мысль, которую Теофраст мог бы сформулировать логически следующим образом: «Некоторые люди не рубят дерево». В глазах же и сердце плескалась простая животная похоть. Двое путников зашли на постоянный двор его души. Поскольку там имелась только одна комната, он сунул их в постель вместе, и вот что у него получилось: «Хрясь — хрясь — хрясь — хрясь; как меня все достало. Даже если бы у меня была красивая баба из самого Парижа вроде этой, что бы еще мне оставалось делать, кроме как хрясь — хрясь — хрясь — хрясь?»

В первый раз в жизни он пришел домой на полчаса раньше обыкновения, и не один — ужасная гроза прикатилась из ближайшей долины и пала на лес, будто живая ночь, будто темная зимняя ночь майским вечером.

Добравшись до своей хижины, Пласид Жерве уже вымок до нитки. Распахнув дверь он, однако, замер, сердитый

и слегка удивленный. В углу, не менее мокрая, чем он, и вдобавок выжимающая блузку, обнаружилась девушка лет примерно двадцати и довольно амазонской наружности. Что перед ним леди, он понял сразу — ну, то есть, она же явно не из деревни; но узнать, что эта леди — не кто иная как достопочтенная Диана Вилльерс-Джернингэм-Кеттерингэм, ему было решительно неоткуда.

Пласид заговорил на *patois*,¹ в котором парижанин честно заподозрил бы язык индейцев чероки (школьный французский Дианы указанный парижанин вообще не отнес бы к наречиям планеты Земля).

Она сказала ему, что остановилась в отеле «Савой» в Фонтенбло, пошла погулять и заблудилась в лесу. Затем она спросила, далеко ли до ближайшей деревни, и не проводит ли он ее туда, потому что она, конечно, даст ему денег.

Пока она говорила, Пласид разжег огонь и стал готовить бобы. Он ее не понимал и даже не пытался. В хижину к нему забрело странное животное, возможно, человеческого рода; оно, возможно, любит бобы; надо дать ему бобов. Все это не его дело; его дело хрясь — хрясь — хрясь — хрясь.

Сначала Диана немного боялась этого тихого зверя. Но затем ей дали бобов — это, наверное, был акт доброты. Она даже съела немного, чтобы он не обиделся, нашла их отличными, покивала в знак одобрения и даже попросила добавки.

Покончив с этой частью программы, она подошла к двери. Дождь лил, не переставая. Лес был весь залит водой; в темноте невозможно было отличить одно дерево от другого. Дровосек подошел к ней, покачал головой, сказал «далеко» и «завтра» и показал на кучу соломы.

Независимо мыслящая молодая особа знала, когда склониться перед неизбежным. Она набрала охапку соломы и удалилась с нею на другой конец хижины, сделала знак «бай-бай», внятный любому дикарю, и улеглась.

Пласид Жерве что-то согласно пробурчал и, сам растянувшись с угрюмым «спокойно ночи», мгновенно провалился в сон. Откуда ему было знать, какие сны навеет ему четверть часа в обществе парижских философов?

¹ Жаргон, диалект (франц.).

Часов в одиннадцать на следующее утро до хижины добралась часть верховой поисковой партии из Фонтенбло.

У дверей, сложенные такой же аккуратной поленницей, как и все остальное, они обнаружили отдельные части тела почтенной Дианы. Звонящий радостный стук топора вскоре привел их к Пласиду Жерве, спокойно и мужественно рубившему лес.

Они рассказали ему про одну вдову в Париже, которая по-бьет его на его же поле¹.

¹ Имеется в виду мадам Гильотина.

Мюриэль Мэддокс была хрупкая пикантная белокурая штучка, пушистое дитя девятнадцати легко пролетевших весен. А еще она была работающей сиротой без единой родной души в мире, кроме какого-то полумифического брата на Юконе, не намывшего еще достаточно золота, чтобы прислать ей хоть крупинку. На жизнь себе она зарабатывала (два фунта в неделю), играя на скрипке на роскошных чаепитиях в отеле «Эскофье»².

Ее пристрастие к профессору Цирконию было почти совсем детским, хотя косматоголовый старик-химик рассказывал своим собратьям, экспертам по военному министерству, совсем другую историю. И воистину (хотя натура ее была неспособна на подлинно великую страсть) что она имела, то и давала, сочетая невинность дитяти с собачьим доверием и преданностью.

Профессор Цирконий был счастливый старикан; ее он называл своим Хлоридом Золота.

— Мюриэль означает соль, знаете ли, — объяснял он товарищам по клубу, — а соль есть производное соляной, или хлористоводородной кислоты. Интересно, не получится ли у нас при правильном взаимодействии немножко хлорида циркония.

Над этой изысканной шуткой он имел обыкновение потешаться до семи раз в неделю, после чего быстрой рысью отправлялся домой, в Кенсингтон,³ ужинать. Семь раз в неделю он входил туда через лабораторию и непременно притворялся удивленным, обнаруживая Мюриэль в собственном своем кресле за чтением очередного бульварного романчика.

— Что?! Как, черт вас побери, вы сюда проникли?

Или:

— Фу ты—ну ты, любезная мадам, и чему же я обязан честью вашего визита?

Или:

— Тысяча извинений, мадам, я был уверен, что это мой дом.

Мюриэль, искренне позабавленная и развеселившаяся, вступала в игру, неизменно заканчивавшуюся поцелуями в старом кресле и изысканным ужином.

1 Рассказ впервые опубликован в «Эквиноксе», I (8) (сентябрь 1912 г.).

2 Escoffier — ужокошить (франц. аргю).

3 Кенсингтон — фешенебельный район на западе Лондона.

Так продолжалось почти три года безо всяких пертурбаций. Лишь однажды профессорская супруга, с которой тот давным-давно разъехался, сумела под каким-то предлогом пробраться в дом и устроить весьма нешуточный скандал, прежде чем профессор со дворецким смогли укротить ее ярость. Она была крупная мускулистая дама родом из Австралии, с телом тигра и темпераментом гадюки. Она вышла бы победителем из этой битвы, если бы не своевременное отступление Циркония в лабораторию и немедленное возвращение оттуда с флаконом хлороформа.

В тот вечер профессору пришлось ужинать в одиночестве: еще в прологе сражения Мюриэль в слезах бежала в комнатку на Уолхэм-Грин, где обитала под мнимой опекой чрезвычайно пузатой костюмерши (к тому же бывшей).

Никакие иные инциденты не тревожили глади их безвредной, пустячной связи. Даже поползшие было на начальном этапе слухи о брате с Аляски, увяли и выцвели до фольклора.

Профессор никогда не уходил вовремя с работы и скрипки ее потому не слышал; впрочем, музыку он ненавидел. Сама Мюриэль никогда не задерживалась слишком долго, чтобы встревожить домовладелицу, уверенную, что та играет не только за чаем, но и, страшно сказать, за ужином.

Недуг военного министра из всех заинтересованных лиц тревожил только немецкого посла, который не мог быть уверен, что в случае кончины оно не стряется ничего худого, и на освободившийся пост назначат действительно способного человека. Известие о смерти министра (министерство известили о ней в три часа одного прекрасного дня) никому не доставило неприятностей — кроме профессора Циркония, которого седовласый крошка-полковник (он заверил профессора, что ничего ужасного не произошло) оторвал от некоего хитрого химического состава, чье название окружала половина букв греческого алфавита.

— В клуб мы не пойдем, мой дорогой. Забежим лучше на чай в «Эскофье».

Профессор пробурчал что-то в знак согласия, однако, сам был изрядно разутешен и даже замечтался, как выглядит его фея в своих бабочкиных крылышках.

Фойе отеля наполнилось народом. Ровно напротив, на другом конце комнаты профессор созерцал Мюриэль в простом муслиновом платье и с васильками в золотисто-пепельных локонах. Еще на ней были бриллианты, которые он ей подарил — нитка звезд вокруг шейки. Ах, как памятен был ему этот вечер! Он завел ее тогда в лабораторию и нагрел немного сахара с серной кислотой, наслаждаясь ее изумлением при виде того, как вещество разбухает и чернеет.

— Вот перед тобою уголь, — сказал он. — Если бы нам только удалось его кристаллизовать, что за превосходные алмазы у нас получились! Но, увы, ничего не выйдет — по крайней мере, без искомого эффекта. Алмазы всегда находят в чем-то вроде голубой грязи... Наверное, тут у нас вряд ли что сыщется.

С этими словами он подвел ее к ящику с формовочной глиной, нужной для некоторых экспериментов. И да, он заставил ее сунуть туда ручки и испачкать милые хорошенькие пальчики — которыми она вскоре и наткнулась на ожерелье. А потом они выкопали его и отмыли, и застегнули у нее на шейке, и оно было совсем-совсем ее!

Мюриэль играла в своей целомудренной, скромной манере; не то чтобы очень хорошо, но достаточно приятно для публики, которая хотела всего лишь не раздумывать слишком напряженно над темой для беседы за пожиранием фуа-гра с кресс-салатом, маффинов, эклеров, чизкейков и горячих намасленных тостов. Ее они, впрочем, волновали не более чем она их.

Профессор и полковник между тем встали, чтобы уйти.

— А вон и моя малышка Мюриэль. Я ее зову Духом Соли. Ха-ха!

— Чертовски прелестный пушистик — чертовски вам повезло! — прорычал полковник, подмигивая некой хористочке (чье жалование составляло тридцать шиллингов в неделю) в мехах на две тысячи фунтов.

Внезапно профессор побледнел. Метнув в нее через плечо прощальный взгляд, он успел углядеть, что некий бородастый джентльмен вдруг поднялся и теперь протягивает ей цветок. Мюриэль при этом краснела и дрожала, охваченная неким чувством, слишком потаенным для опознания, но химику, тем не менее, вполне внятном.

Если мужчина способен определить присутствие в организме барменши одной тысячной грама атропина, читать в женском сердце ему уж точно не составит никакого труда. А будучи правительственным экспертом, он облакался официальной непогрешимостью, будто тройным доспехом.

Он еще некоторое время светски болтал с полковником, прежде чем вежливость позволила ему кинуться прямо на ходу в кэб и прореветь потрясенному вознице свой адрес. Он впервые возвращался в пустой дом с тех пор, как повстречал Мюриэль в омнибусе и завлек ее в скромный итальянский ресторанчик поблизости от Слоун-сквер, где опустошенная до дна бутылка кьянти вскоре не оставила от скромности ни следа, ни осадка.

Вид кресла его шокировал. О, воистину больше не сядет она сюда, наглая, лживая шлюшка! Вечная пустота вещей, нерушимое одиночество жизни пронзили его холодом до мозга костей. Откуда ему было знать, что лишь через полное предание себя Возлюбленной можно разрушить это проклятие?

Потом проблеск здравомыслия озарил фанатический научный ум: возможно, она еще все объяснит! Но он тут же вытряхнул идею из головы. Как можно опровергнуть непреложный факт?

Сама богиня легковерия покажется воплощением благоразумности в сравнении со смятенным разумом логика, дозволившего эмоциям инфицировать свои умственные способности, упустившего из виду поправку на частные особенности.

Идея тем временем вернулась и уселась во всей своей младенческой чистоте перед консервативным взором застарелого профессорского интеллекта. Так не бывает. Ничто на свете не меняется. И все же? В конце концов, он в достаточной мере был англичанином, чтобы допросить ее, прежде чем приговаривать, и в достаточной степени немцем, чтобы расставить ей ловушку в самом факте разбирательства.

Мысль его блуждала от судилища до приведения приговора в исполнение, а лицо застыло маской. В конце концов он подошел к маленькому скрытому в стене сейфу, вытащил кольцо, наполовину убранный бриллиантами, и бросил его в ведерко для угля. Награда или наказание! Старый трюк — или

новый! Профессор круто развернулся и легким шагом направился в лабораторию.

А тем временем Мюриэль Мэддокс уже неслась к нему из «Эскофье». Стоял ясный февральский вечер. На сердце у нее было очень радостно, но вместе с тем и тревожно. Этот сегодняшний инцидент... — стоит ли рассказывать о нем профессору? Скрытность была чужда ее натуре; в первый раз в жизни ее охватили сомнения. Как это скажется на их отношениях?

Лучше бы было как следует все обдумать... а еще лучше — оставить до утра, которое, как известно, вечера мудренее. Ей даже в голову не пришло, что профессор, быть может, уже все знает. В общем, она решила ничего не говорить, но проблема уже настолько поглотила маленький ее мозг, что для очевидного вывода — а именно снять с платья злополучный цветок — места в нем не осталось.

Девушка уже угнездилась в кресле, когда престарелый ученый прокрался на цыпочках в комнату и закрыл ей глаза ладонями.

— Кто это тут? — весело спросил он.

— Конечно, Джек с Аляски! — со смехом отвечала она.

— А вот и не угадала!

Дитя перебрало германского императора, Льюиса Уоллера и всех, кого только смогло придумать.

— Неправильно.

— Неправильно.

— Неправильно.

— Ага! — вскричала она, вскакивая и обращаясь к нему лицом. — Так это профессор Цирконий! Вот уж кого я меньше всего ожидала здесь найти!

Она обвила ручками его шею и назвала «милым дурачком».

— Ну, что, какие новости, детка?

— Никаких. Так жалко, что начальник умер.

— Мне все равно. Какой прелестный цветочек у тебя на платье!

Инстинкт просигналил об опасности внезапной и ужасной; Мюриэль мгновенно солгала.

— А это я купила тебе в петлицу, — воскликнула она — и немедленно вставила цветок в указанное место.

Профессор Цирконий назвал ее своей милой, заботливой феей и поцеловал. О, что за дрожь сотрясла его — редко так

возмущалась его кровь. В памяти вспыхнул образ Иуды, махавший ему издалека, с расстояния в сорок лет, когда он впервые услышал евангельскую легенду, сидючи на коленях у матери.

— А вот у меня новости есть! — весело прибавил он. — Я тебе покажу мое новейшее открытие. Я выяснил, как делать бриллианты. Просто кристаллизуя уголь, представляешь? Совсем просто, когда знаешь, как! А ну-ка, погоди минутку!

Он принес из лаборатории небольшую электрическую машинку и торжественно уронил несколько искр в ведро для угля.

— Гляди! — объявил он торжествуяюще. — Сейчас мы выясним, удалось ли нам кристаллизовать хоть немного!

И вот дитя уже с азартом рылось в ведре и через несколько минут отыскало колечко, премило сверкавшее в пыльной своей оправе — словно глаза змеи в чаще джунглей.

— Ах, мой милый! — воскликнула она. — Ах, ты, старый плутишка! А ведь о том, как делать золото, ты ничего не сказал!

— Вот незадача! Но открытия никогда не ходят поодиночке.

— И это правда мне? Оно теперь совсем-совсем мое?

— А чье же еще, моя дорогая?

— О, мой милый, сладенький мальчик!

— Беги теперь и помой ручки. Я подогрел для тебя твой собственный элемент, мой крошечный Дух Соли.

Она радостно поскакала в лабораторию. На скамье стоял тазик, которым она так часто пользовалась, а рядышком — мыло и аккуратно сложенные полотенца. Она схватила мыло и погрузила обе руки... в почти кипящую соляную кислоту — и оборотилась к нему, раззявив рот в трагический квадрат, неспособная уже издать хотя бы крик.

— Поиграй теперь на скрипке! — возопил гневно Цирконий. — А пальчиков-то нет! Поиграй теперь в шлюху! Я видел тебя и твоего любовника тоже. Вот его цветок! Но я с тобой расквитаюсь! О! я с тобой расквитаюсь!

И он бросился на нее, изрыгая с пеной самые грязные оскорбления, какие только могли прийти ему на ум.

Это рассеяло чары. Крик за криком полетели изо рта ее, удушая самой своей громкостью; голос сломался в задушенный писк; агония кислоты вгрызлась в детскую душу. Она упала на пол и лишилась сознания.

— Ах, негодная тварь! — кричал Цирконий, пиная ее ногою.

Воздуха ему не хватало; но внезапно разум его прояснился. Профессор прошел в столовую — по дороге он насвистывал. Там он сел и задумался. Следующим этапом его адской мести должно стать приведение Мюриэль в чувство — с этим можно поторопиться, а можно и подождать. Эффект долгого ожидания он не просчитывал, и теперь все нервы вопили о пощаде. В первый раз его мозг осветила зарница доктрины вечного наказания — а ведь и верно, воскресение тела есть условие отнюдь не обязательное! Измученный, глядел он на секундную стрелку своих часов и готов был уже поклясться, что она остановилась, когда плутовка дрогнула и заковыляла дальше с величием Биг-Бена. Только тогда он осознал, что с ощущением времени дела у него обстоят из рук вон плохо. Интересно, а как с этим сейчас у нее? Дьявол в нем сладко заухмылялся.

— Вас желает видеть какой-то джентльмен, сэръ! — сообщил дворецкий, отворив дверь. — Имени своего он не назвал.

— Я приму его, — ответил профессор, счастливый, будто жаворонок поутру. — Пусть войдет.

И он вошел — и оказался давешним бородачом.

— Ах, ты, чертов прохвост! — обратился он к лучшему профессору. — Так вот где моя сестрица пропадает все вечера! Будь-ка любезен объяснитьсь...

Он вынужденно замолчал, потому что, засунув руки поглубже в карманы брюк и облокотившись на книжный шкаф, профессор Цирконий хохотал, хохотал, хохотал...

ЧАСТЬ I

1

В третий мой семестр в Ньюэме я уже была любимицей профессора Блэра. Потом, позже, он потратил немало времени, восхваляя мою стройную фигурку и пикантные черты лица, большие глаза, серые и круглые, и их длинные черные ресницы; однако, привлекательнее всего был, конечно, мой исключительный талант. Мало кто из мужчин и, полагаю, никто из женщин не могли и сравниться со мной в одной из бесценнейших для всякого научного исследования способностей: в умении подмечать малейшие различия. Память у меня была плохая, даже необычайно плохая; мне стоило невероятных трудов вообще поступить в Кембридж. Зато я могла настроить микрометр лучше любого студента и даже профессора и снять показания верньера с точностью, о которой никому из них и мечтать не приходилось. Вдобавок к этому у меня имелся дар к подсознательным вычислениям, прямо какой-то сверхъестественный. Если мне, скажем, нужно было поддерживать температуру раствора между семьюдесятью и восемьюдесятью градусами, на термометр я могла совсем не смотреть. Я откуда-то автоматически знала, что ртуть приближается к крайней отметке и, оторвавшись от другой работы, без единой мысли поправляла огонь бунзеновской горелки.

Еще более примечательной была другая моя способность: если мне на стол клали без моего ведома какой-нибудь предмет, а потом убирали и в пределах нескольких минут спрашивали, я могла в общих чертах описать его, уделяя особое внимание форме дна и степени непроницаемости для тепла и света. Опираясь на эти данные, я могла довольно лихо угадать сам предмет.

¹ Рассказ был впервые опубликован в «Эквиноксе», I (19) (март 1913 г.) под псевдонимом «В. Инглиш, доктор медицины». Посвящен матери автора, Эмили Берте Кроули (1848—1917). — *Примеч. перев.*

Эту мою способность неоднократно проверяли и всякий раз с неизменным успехом. Очевидной ее причиной являлась крайняя чувствительность к малейшим изменениям температуры.

Еще я необычайно хорошо умела читать мысли, даже уже в то время. Остальные девушки относились ко мне с кромешным ужасом. И зря: у меня не хватало ни амбициозности, ни энергичности пускать мои таланты в дело. Даже теперь, когда я решила поделиться с человечеством историей о судьбе столь устрашающей, что в свои двадцать четыре я превратилась в проклятый, дряхлый, иссохший остов, изможденный, равнодушный ко всему.

У меня сердце ребенка и разум дьявола; я тону в апатии, причиной которой — сама не знаю какой из недугов, и все же, хвала — ох, да о каком же боге может идти речь! — полна решимости предостеречь человеческий род от попыток последовать моему примеру, а после засунуть себе в рот динамитную шашку и поджечь фитиль.

2

На третий мой год в Ньюэме я каждый день проводила по четыре часа дома у профессора Блэра. Вся прочая работа пребывала в небрежении, ее делали чисто механически, если делали вообще. До такой жизни я дошла постепенно и в результате одного происшествия.

Наша химическая лаборатория состоит из двух помещений; то, которое поменьше, можно затемнить. Случай этот как раз в ней и случился (стоял майский семестр моего второго курса). Дело было в первую неделю июня, погода выдалась превосходная. Дверь была заперта, внутри находилась девушка, экспериментировавшая с гальванометром.

Я занималась какой-то собственной работой. Неожиданно я подняла голову.

— Скорее! — заявила я безо всякого предупреждения. — Гледис сейчас упадет в обморок.

Все в комнате уставились на меня. Я успела пройти с дюжины шагов к двери, когда раздавшийся за дверью стук упавшего тела поверг лабораторию в форменную истерику.

Виной всему была просто жара и спертый воздух; Гледис вообще не стоило в этот день выходить на работу. Впрочем, злосчастную лаборантку живо привели в чувство — после чего она присоединилась к воцарившейся анархии.

— Откуда она узнала? — был главный вопрос повестки дня. В том, что я *знала*, сомнений ни у кого не возникло.

Ада Браун (*Athanasia contra mundum*)¹ раздувала ажиотаж; Маргарет Летчмер утверждала, что я наверняка что-то такое услышала, возможно, крик, который остальные не различили, так как были слишком заняты. Дорис Лесли талдычила о ясновидении, а Эмми Гор — о «симпатических силах». Все эти теории скопом еще долго бы носились по- и противосолонь по циферблату догадок, если бы в самый волнующий момент дискуссии не вошел профессор Блэр, не успокоил собрание за две минуты, не вычленил бы корпус фактов еще за пять и не умыкнул меня прочь — обедать.

— Полагаю, это опять ваши термоэлектрические штучки? — спросил он. — Не возражаете против парочки кабинетных трюков после обеда?

Его тетушка, занимавшаяся домом, некоторое время тщетно протестовала, но добилась только того, что ее назначили главным надзирателем (на постоянной ставке) за моими пятью чувствами.

Первым делом мне проверили слух и нашли его нормальным или около того. Затем мне надели повязку на глаза, и тетушка (с избыточными предосторожностями) водрузила себя между мной и профессором. Оказалось, что я в состоянии описать малейшие совершаемые им движения — но только пока он в свою очередь располагается между мной и западным окном; и совсем ничего не воспринимаю, если он меняет сторону света. С термоэлектрической теорией это вполне согласовывалось, но другие результаты подобному выводу полностью противоречили. Короче говоря, итоги эксперимента оказались весьма впечатляющи и столь же загадочны. Два часа своего драгоценного времени профессор потратил на бесполезные теоретизирования, после чего тетушка, пугая меня жутко насупленными

1 «Афанасия против мира» (*лат.*), парафраз прозвища «Афанасий против мира», которое было дано епископу Афанасию Александрийскому (IV в.), насаждавшего христианство всеми доступными средствами. — *Примеч. перев.*

бровями, выцедила приглашение провести длинные каникулы у них, в Корнуолле.

Все это время профессор и я, не покладая рук, работали над выяснением природы и пределов моих способностей. Результат оказался, в некотором смысле, нулевой.

С одной стороны, мои силы явно решили как следует «развернуться» на новом месте. То вроде бы казалось, что я все делаю благодаря все той же способности подмечать малейшие различия; то становилось ясно, что аппарат у меня не этот, а вовсе даже совершенно другой.

— Исключи один, и тут же вылезет другой, — ворчал профессор Блэр.

Те, кто никогда не занимался научными экспериментами, и представить себе не могут, как много и каких малейших можно понаделать ошибок — даже в самых простых вещах. В любой малопонятной и новой области исследований никакой результат нельзя считать надежным, пока не подтвердишь его тысячу раз. А в нашей у нас вообще не было никаких констант — одни переменные.

Да, в нашем распоряжении имелись сотни фактов, каждый из которых, в принципе, мог низвергнуть все общепринятые теории о природе и средствах сообщения между сознаниями — но нам нечего, то есть, абсолютно нечего было положить в основу новой.

Невозможно дать даже приблизительный очерк хода наших исследований. Двадцать восемь исписанных мелким почерком тетрадей по этому первому периоду ныне находятся в распоряжении моих палачей.

3

В один прекрасный день на мой третий год отец вдруг опасно разболелся. Я вскочила на велосипед и помчалась в Питерборо, напрочь забыв про работу. (Отец мой — каноник собора в Питерборо.)

На третий день от профессора Блэра пришла телеграмма: «Выйдете за меня замуж?»

Мне как-то и в голову не приходило, что я — женщина, а он — мужчина — до этого самого мгновения. Зато в это

самое мгновение я внезапно поняла, что люблю его и всегда любила. Можете считать это типичным случаем «любви с первой разлуки». Папа быстро поправился, я вернулась в Кембридж, мы поженились в первую неделю мая и прямиком отправились в Швейцарию. Прошу простить мне отсутствие описаний этого священного времени моей жизни. Впрочем, один факт я от вас все же не утаю.

Мы сидели в саду после усадительной пешей прогулки из Шамуни через Коль де Жеан в Курмайор, а оттуда в Аосту и потихоньку в Палланцу. Вдруг Артур вскочил, будто его осенила какая-то невероятная идея и принялся расхаживать туда и сюда по террасе. *И тут у меня вдруг возникло неодолимое желание повернуться и посмотреть, действительно ли он рядом.*

Тебе, читатель, это может показаться пустяком — но включи воображение! Представь, что болтаешь с другом при ярком дневном свете... и вдруг наклоняешься вперед и трогаешь его рукой, чтобы убедиться, что он здесь.

— Артур! — закричала я. — Артур!

Ужас у меня в голосе заставил его тут же кинуться ко мне.

— Что случилось, Магдалена? — воскликнул он в тревоге.

Я закрыла глаза.

— Двигайся! Делай жесты! — сказала я. (Он был в тот момент точно между мной и солнцем.)

Он послушался, озадаченный.

— Ты... т-ты..., — я даже начала заикаться. — Нет! Я не знаю, что ты делаешь! Я ослепла!

Он яростно замахал руками вверх-вниз. Все тщетно! Я потеряла всякую восприимчивость. Тем вечером мы проделали еще с дюжину экспериментов. Все они провалились.

Нам удалось спрятать друг от друга разочарование, и оно не затмило нашей любви. Симпатия между нами стала еще тоньше, еще сильнее — какой становится она лишь между теми мужчинами и женщинами, которые умеют любить всем сердцем, любить самозабвенно.

4

Мы вернулись в Кембридж в октябре, и Артур яростно кинулся в горнило нового учебного года. Потом я заболела

и надежда, которой мы себя тешили, умерла. Еще того хуже, в ходе недуга выявилось некое обстоятельство, потребовавшее серии сложнейших операций, какие только в силах вынести женщина. В результате не только прошлая, но и все будущие надежды оказались истреблены.

Именно в период выздоровления и случилось самое примечательное происшествие в моей жизни.

Как-то во второй половине дня я страдала от сильных болей и попросила позвать доктора. Сиделка ушла в кабинет, чтобы ему позвонить.

— Сестра, — сказала я по ее возвращении, — вы только мне не лгите. Ни в какой Ройстон он не уехал. У него обнаружили рак, и он слишком подавлен, чтобы явиться.

— Еще чего скажете? — отбрила сестра. — Он и вправду приехать не может, я как раз собиралась вам сказать, что он в Ройстоне. Ни о каком раке я ничего не слыхала.

Так и было, ей ничего не сказали. Но на следующее утро мы узнали, что «интуиция» меня не подвела.

Как только я достаточно поправилась, мы снова приступили к экспериментам. Способности вернулись ко мне и притом с утроенной силой.

«Прозрение» мое Артур объяснил следующим образом:

— Доктор (когда ты в последний раз его видела), не имел никакого осознанного понятия, что у него рак. Но подсознательно Природа его предупреждала. Ты подсознательно же считала это, и стоило тебе увидеть по лицу сестры, что он болен, информация немедленно перескочила в сознание.

Сколь бы натянутым такое объяснение ни казалось, оно хотя бы позволяло избежать всех этих поверхностных умствований насчет «телепатии».

Начиная с этого времени мои силы постоянно росли. Я могла читать мысли мужа по неразличимым движениям мышц его лица с той же легкостью, что хорошо натренированный глухонемой — речь далеко стоящего человека по губам.

День за днем мы работали, и моя способность схватывать детали становилась все полнее. Я не только читала эмоции; я могла определить, задумал ли муж 3465822 или 3456822. За год после болезни мы с мужем провели 436 экспериментов подобного рода, и каждый длился несколько часов; всего 9363,

и только 122 из них провалились, да и то все без исключения — лишь частично.

На следующий год наши эксперименты распространились на чтение его снов. И здесь меня тоже ждал успех. Я покидала комнату еще до того, как он проснется, записывала сон, который видел муж, и ждала его за завтраком, а потом мы сравнивали наши записи.

Они неизменно оказывались идентичными с той только разницей, что мои каждый раз были полнее. Он почти всегда утверждал, что вспоминает детали, которые упоминала я, но этот нюанс (я думаю) никакой подлинной научной ценности не имеет.

Хотя какое это все вообще имеет значение при мысли об ожидающем нас впереди кошмаре?

5

На третий год брака предположение, что я читаю мысли Артура исключительно по мышечным сокращениям, уже выглядело более чем сомнительным. Теперь мы без стыда и зазрения совести практиковали «телепатию». При помощи изощренных предосторожностей мы исключили возможность «чтения по мышцам» и «супер-слуха», и «человеческого термоэлектричества» — и все равно я могла прочесть любую появившуюся в его сознании мысль. Как-то раз на Пасху, отдыхая в северном Уэльсе, мы расстались на неделю, по истечении которой он должен был в назначенный час оказаться на подветренной стороне Трифана, а я — на наветренной. Там ему надлежало распечатать и прочесть про себя письмо, переданное ему «неким незнакомцем в Пен-и-Пассе где-то в течение той недели». Эксперимент увенчался сногшибательным успехом: я воспроизвела каждое слово, содержащееся в документе. Опровергнуть «телепатию» можно было только предположением, что я подстерегла «незнакомца» и выбила у него признание, что именно он собирается написать в указанных обстоятельствах! Уж куда проще было допустить факт прямого сообщения между разумами!

Знай я тогда, к чему все это приведет, я бы, наверное, спятила. Трижды к счастью, что я могу предупредить человечество,

какая судьба его ожидает. Величайшим его благодетелем станет тот, кто откроет взрывчатку, бесконечно быстрее и опустошительнее по действию, чем динамит. Если бы мне только удалось изготовить хлорид азота в достаточных количествах...

6

Артур стал апатичен и равнодушен. То совершенство любви, которым и был наш брак, покинуло нас без предупреждения, хотя на самом деле мелкими, незаметными глазу шажочками.

Осознала я этот факт, впрочем, совершенно внезапно. Это случилось одним летним вечером; мы медленно гребли по Кему. Один из Артуровых студентов, тоже на канадском каноэ, вызвал нас на состязание. У моста Магдалены мы были на целый корпус впереди — и тут-то я услышала мысли мужа. Это был самый жуткий, зловещий хохот, какой себе только можно представить. Никакому демону такой не под силу. Я вскрикнула и выронила весло. Мужчины решили, что мне дурно. Я постаралась себя успокоить, что это никак не мог быть смех какого-нибудь горожанина на мосту, усиленный и искаженный моей сверхчувствительной нервной организацией. Я ничего им не сказала. Остаток дня Артур выглядел серьезным и мрачным. К ночи после долгих раздумий он резко спросил:

— Это были мои мысли, так?

Я, заикаясь, пробормотала, что не знаю. Он пожаловался на усталость, и тут же то равнодушие, на которое раньше я не обращала ни малейшего внимания, принялось обретать какие-то монструозные формы. В нем было что-то не от него! Безразличие его представлялось мне преходящим — ныне же я поняла, что оно не только постоянно, но и продолжает расти. Мне на тот момент минуло двадцать три. Вы, должно быть, подивитесь, что я пишу в столь серьезном мысленном настрое. Иногда я думаю, что собственных мыслей у меня никогда и не было, что я все время читала чужие — других людей, а то и самой Природы. Видать, и женщиной-то я была всего лишь в первые несколько месяцев брака.

В следующие полгода ничего необычного для меня не происходило, за исключением того, что шесть или семь раз мне снились сны, ужасные и жизненные. С Артуром мы их никак не обсуждали. И все же я знала (совершенно непонятно, откуда), что это его сны, не мои. Вернее, что это были образы его бодрствующего бессознательного, так как один из них случился после обеда, когда он вышел пострелять и никоим образом не спал.

Последний имел место ближе к концу октябрьского семестра. Артур как обычно читал лекции, я была дома, пребывая в апатии из-за слишком тяжелого завтрака сразу после бессонной ночи. Внезапно я увидела аудиторию, размером куда больше, чем в действительности, буквально докуда хватало глаз. На кафедре, раздаваясь над нею во всех направлениях, возвышался громадный, мертвенно-бледный демон, с рожей, представлявшей собой богохульную пародию на лицо Артура. Пылавшая на ней злобная радость не поддавалась никакому описанию. Раздутая, бесцветная, бескровные губы болтаются; пузо складка за складкой наплывает на кафедру, выдавливая студентов из комнаты; взгляд косой, хитрый, плотоядный невыразимо. Из пасти его со слюной истекли слова:

— Леди и джентльмены, наш курс окончен. Можете расходиться.

Не надеюсь даже отдаленно передать вам, какой злобой и мерзостью разило от этих двух простых предложений.

Затем, возвысив голос до скрипучего ора, чудище завопило:

— Яичный белок! Яичный белок! Яичный белок! — и так снова и снова в течение ни много ни мало двадцати минут.

Увиденное меня потрясло. Мне словно бы предстала картина из жизни преисподней.

Вернувшись, Артур обнаружил меня в совершенно истерическом состоянии, но сумел довольно быстро успокоить.

— Знаешь ли, — сказал он мне за обедом, — у меня какая-то дьявольски поганая простуда.

Это был первый раз за всю историю нашего знакомства, когда он пожаловался мне на здоровье. За шесть лет у него и голова-то ни разу по-настоящему не болела.

Когда мы уже лежали в постели, я рассказала ему свой «сон». Он выглядел необычно печальным, словно понял, где именно мое толкование пошло не в ту сторону. К утру у него сделалась лихорадка. Я заставила его остаться в постели и позвала доктора. После полудня стало ясно, что Артур серьезно болен, причем уже не первый месяц. Доктор сказал, что у него болезнь Брайта.¹

8

Да, я сказала «последний из снов». На следующий год мы путешествовали и пробовали различные методы лечения. Способности мои пребывали в превосходном состоянии, но никакие подсознательные кошмары меня больше не мучили. Невзирая на редкие флуктуации, Артуру неуклонно становилось хуже. С каждым днем он был все более безразличен, равнодушен, все более подавлен. Эксперименты наши вынужденно прекратились. Одна лишь проблема продолжала его волновать — проблема его собственной личности. Он принялся задумываться, *кто он такой*. Нет, я не хочу сказать, что до сих пор он страдал какими-то заблуждениями на этот счет. Просто теперь вопрос истинного Я целиком захватил его воображение. Как-то раз чудным летним вечером в Контрексевиле он чувствовал себя гораздо лучше обычного; симптомы почти полностью исчезли (увы, временно), благодаря лечению у чрезвычайно профессионального медика этого курорта, доктора Барбезье, человека добрейшего и внимательнейшего.

— Я хочу, — изрек внезапно Артур, — попытаться проникнуть в себя самого. Может быть, я животное, и весь мир не имеет ни цели, ни смысла? Или я — заключенная в тело душа? Или я един и неделим в каком-то невероятном, невысказанном смысле слова, искра бесконечного света Божьего? Я хочу обратиться мыслями внутрь. Возможно, я погружусь в некий транс, непостижимый для меня самого. Возможно, ты сумеешь его мне истолковать.

¹ Другое название болезни — нефрит. Различаются острые и хронические формы болезни Брайта (названной по имени доктора Ричарда Брайта, описавшего картину заболевания в 1827 году), во втором случае и в описываемую эпоху она часто была смертельна. — *Примеч. перев.*

Эксперимент продлился полчаса. Все это время он сидел и пыхтел с натуги.

— Я ничего не видела, — сказала я ему, — ничего не слышала. Ни единой мысли не прошло от тебя ко мне.

Но в это самое мгновенье то, что было у него в голове, вспышкой ворвалось в мою.

— Это слепая бездна, — сказала я. — И в ней висит хищник громаднее всей звездной системы.

— Да, — отвечал он. — Вот и оно. Но это не все. Мне не удалось пройти дальше него. Я буду пытаться еще.

И он попытался. И снова я была полностью отрезана от его мыслей, хотя лицо его корчилося так, что прочитать стоящие за ним мысли смог бы всякий.

— Я ишу не там, — молвил он внезапно, но совершенно спокойно и без движения. — То, что мне нужно, скрыто в основании позвоночника.

На этот раз я увидела. В синих небесах вилась кольцами бесконечная змея, сплошь зелень и золото, с четырьмя глазами из пламени черного и алого, испускающими лучи во всех направлениях. В извивах ее виднелось великое множество смеющихся детей. Но у меня на глазах видение померкло. Потоки крови ринулись чрез небо, крови, гноящейся тысячами безымянных форм — шелудивые псы, тащащие потроха свои по земле; чудища, собой наполовину жуки, наполовину слоны; твари, не имевшие ничего, кроме единственного жуткого кровавого глаза, оснащенного кожистыми щупальцами; женщины, чья кожа вздувалась и пузырилась, словно кипящая сера, испускающая облака, что сгущались еще в тысячу форм, видом еще гаже собственной матери. И то были лишь ничтожнейшие из обитателей этих рек скверны. Могущественнейших же не описать никакими словами, и несть им имен.

Меня оторвал от видения звук хрипящего, дикого дыхания Артура, у которого случился припадок конвульсий.

От этого он так никогда по-настоящему и не оправился. Зрение его, и без того смутное, становилось все мутнее, речь — тяжелее и медленнее, головные боли — чаще и мучительнее.

Былая его завидная энергия и деятельность ума сменились отупением. Дни его тускнели в постоянной летаргии, погружаясь все глубже по направлению к коме. Время

от времени конвульсивные приступы заставляли меня опасаться за его жизнь.

Дыхание его иногда становилось тяжелым и шипящим, будто у разгневанной змеи; затем оно перешло в Чейн-Стоксов тип с приступами все нарастающей продолжительности и силы.¹

При всем при том он, впрочем, оставался совершенно собой. Тот ужас, который и был, и не был им, не показывался из-за завесы.

— Пока я все еще я, — сказал он мне в один из редких своих моментов просветления, — я могу передать тебе, что думаю сознательно; как только это сознательное «я» будет поглощено, ты увидишь бессознательные мысли, которые, боюсь — ох, как же я боюсь! — теперь большая и куда более настоящая часть меня. Ты уже приносила неразгаданные сокровища из мира снов. И ты — единственная на свете женщина (другой, возможно, не будет никогда), которой представится возможность исследовать феномен смерти.

Он со всей серьезностью потребовал, чтобы я заглушила горе и всецело сосредоточилась на мыслях, которые будут проходить через его разум, когда способность к их выражению уже покинет его, а также на бессознательных образах, когда кома погасит сознание.

Именно об этом эксперименте я теперь и принуждаю себя рассказать. Пролог получился длинный. Я должна была ознакомить человечество с фактами просто и ясно, чтобы оно могло воспользоваться шансом обеспечить себе правильный суицид. Я самым искренним образом молю читателей не сомневаться в моих словах. Протоколы наших экспериментов я по завещанию оставляю величайшему мыслителю из ныне живущих, профессору фон Бюлю; они разъяснят вам истинное мое положение и ужасную необходимость в немедленных и самых решительных действиях.

1 Периодическое дыхание, или дыхание Чейна-Стокса (по имени впервые описавших его британских медиков XIX века — тип дыхания, при котором поверхностные и редкие дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума на пятый — седьмой вдох, вновь ослабевают и урежаются, после чего наступает пауза. Затем цикл дыхания повторяется в той же последовательности и переходит в очередную дыхательную паузу. — *Примеч. перев.*

Самой поразительной физической чертой заболевания моего мужа была полная прострация. Такое сильное тело (конвульсии слишком часто давали тому подтверждение) и такая в нем слабость! Целыми днями он лежал бревном, затем безо всякого предупреждения или видимой причины начинался судорожный припадок. Последовательный научный ум Артура стойко это выносил; делирий начался лишь за два дня до смерти. Меня рядом не было: в состоянии дикой усталости и при этом совершенно не способная спать, я сдалась уговорам доктора предпринять долгую автомобильную прогулку. На свежем воздухе меня сморило. Пробудил меня незнакомый голос, сказавший мне прямо в ухо:

— А теперь — во имя прекрасных дам!

Кругом никого не было. И тут же вслед раздался голос мужа, каким я его всегда знала и любила — ясный, сильный, звучный, размеренный.

— Пойми меня правильно, то, что я сейчас скажу, очень важно. Я скоро окажусь во власти бессознательного и, возможно, уже больше не смогу поговорить с тобой. Но я здесь; меня не затронут страдания, которые мне еще, возможно, предстоят. Я сохраню способность мыслить, а ты — читать мои...

Голос резко смолк, чтобы затем спросить:

— Это когда-нибудь кончится? — словно кто-то еще говорил с ним.

И тут я услышала смех. Тот, который я помнила по мосту Магдалены, по сравнению с этим был небесной музыкой! Лик Кальвина (да, даже его), злорадствующего при виде костра Серветуса¹, озарился бы жалостью при этом звуке — настолько идеально тот выражал самую суть вечного проклятия.

Тут мысли моего мужа, казалось, сменились чужими. Они были внутри, внизу, где-то совсем глубоко. «Он умер», — сказала я себе.

И снова вспыхнула мысль Артура:

1 Мигель Сервето (1509—1553) — испанский теолог, врач и гуманист, участник протестантской Реформации, сожженный заживо за ересь — протестантами же. — *Примеч. перев.*

— Надо было притвориться, что я сошел с ума. Это бы ее, возможно, спасло... и для разнообразия тоже. Да, я притворюсь, что убил ее топором. Черт! Надеюсь, она этого не слышит.

Тут я совсем проснулась и сказала шоферу немедленно гнать домой.

— Надеюсь, она погибнет в автокатастрофе. Надеюсь, ее разорвет на миллион кусочков. Боже мой! Услышь единственную мольбу мою! Пусть какой-нибудь анархист кинет бомбу, и Магдалену разорвет на миллион кусочков! Особенно мозг! Первым делом мозг! Боже! Моя первая и последняя молитва к тебе: разорви Магдалену на миллион кусочков!

Сам ужас этой идеи служит мне свидетельством — сейчас, как и тогда — того, что ее породили полная вменяемость и последовательность мышления. Я не решалась даже подумать о том, что могло стоять за подобными словами.

На пороге комнаты больного путь мне преградил медицинский брат, попросивший меня не входить. Безотчетно я спросила:

— Он умер? — и хотя Артур лежал абсолютно без чувств на постели, я прочла ответную мысль: «Умер!» — безмолвно прозвучавшую таким хором издевки, ужаса, цинизма и отчаяния, какой я в жизни не ожидала услышать. Там было что-то... или кто-то, бесконечно страдающий и столь же бесконечно злорадствующий, глумящийся над этим страданием. И это что-то протянулось завесой между мной и Артуром.

Свистящее дыхание возобновилось: Артур, кажется, пытался заговорить — тот Артур, которого я знала. Он смог слабо выговорить:

— Это полиция? Мне нужно выбраться из дома! Они пришли за мной. Я убил Магдалену топором.

Умопомешательство снова брало над ним верх.

— Я убил Магдалену..., — с дюжину раз пробормотал он.

— ...Магдалену топором, — снова и снова повторял он, медленнее, тише, невнятнее, но не смолкая.

Затем внезапно довольно отчетливо и громко, пытаясь даже привстать на кровати:

— Я разнес Магдалену на миллион кусочков топором!

И мгновение спустя:

— Миллион по нынешним временам — это не так уж и много.

После этих слов (которые, как я теперь понимаю, принадлежали вменяемому Артуру) он снова соскользнул в безумие.

— Миллион кусочков..

— Хороший, славный миллион..

— Миллион, миллион, миллион, миллион, миллион, миллион, — и так далее.

Потом вдруг:

— А собачка Фанни умерла!

Эту последнюю реплику я вам объяснить не в состоянии; могу лишь заметить, что мне она открыла все.

Я разрыдалась. В этот момент я поймала еще одну мысль Артура:

— Тебе не реветь надо, а бежать за блокнотом.

Я решительно вытерла глаза, собралась с духом и принялась писать.

2

Пришел доктор и принялся уговаривать меня пойти отдохнуть.

— Вы только себя терзаете, миссис Блэр, — сказал он, — и притом совершенно без нужды: он без сознания и совсем не страдает.

— Боже мой! Почему вы так на меня смотрите?! — вскричал он через мгновение, перепуганный насмерть.

Думаю, на лице моем отразилось что-то от того демона, от его ухмылки, от омерзения, от пучины довольства и окостеневшего отчаяния.

Я спешно вернулась в себя, пристыженная, что от одного только знания — и какого злого, мерзостного знания! — можно раздуться такой жуткой гордостью. Ничего удивительного, что Сатана пал! Кажется, я начинаю понимать все эти старые легенды и не их одних..

Я заявила доктору Кершоу, что выполняю последнюю волю моего мужа. Он больше не протестовал, но я заметила, как он сделал санитару знак не спускать с меня глаз.

Тут палец недужного поманил нас. Говорить Артур не мог; он лишь чертил круги на одеяле. Доктор с весьма характерной пронизательностью посчитал круги, кивнул довольно и молвил:

— Да, как раз семь часов. Время принимать лекарство, да?

— Нет, — возразила я, — он хочет сказать, что находится сейчас в седьмом кругу Дантова ада.

Тут с ним случился шумный делирий. Долгий, неистовый вой вырвался у него из горла. Дис¹ непрестанно жевал его; каждый новый вой свидетельствовал о новой встрече с зубами чудища. Все это я объяснила доктору.

— Да нет же, — сказал тот, — Артур сейчас полностью без сознания.

— Ладно, — согласилась я, — но он завоет еще примерно раз восемьдесят.

Доктор Кершоу с любопытством поглядел на меня и таки стал считать.

Мой прогноз оказался верным.

Он повернулся ко мне:

— Вы вообще человек, женщина?

— Нет, я коллега моего мужа.

— Думаю, это суггестия. Вы его загипнотизировали?

— Нет, даже не пыталась. Я просто читаю его мысли.

— Ага, теперь я вспоминаю. Два года назад в «Майнд» была очень любопытная статья.

— Это были детские игрушки. Если позволите, я вернусь к работе.

Он выдал медбрату какие-то последние инструкции и удалился.

Страдания Артура были невыразимы. Пока Дис перемалывал его в кровавую кашу, стекающую по божественному языку, каждая мучительная частица сохраняла собственное сознание — сознание моего мужа.

А в кусочками сосочками на языке были змеи, и каждая, каждая запускала в свежий корм свои ядовитые клыки.

И хотя весь сенсориум Артура полностью сохранял дееспособность и даже отличался повышенной чувствительностью,

¹ Диспатер — древнеримский бог подземного мира, отождествлялся с греческим Аидом. — *Примеч. перев.*

осознание боли, казалось, зависело от того, открыт ли рот монстра. Когда он закрывался для пережевывания, забвение нисходило на него громовым ударом. Милосердное забвение, скажете вы? О, что за изощренная жестокость! Снова и снова пробуждался он, возвращаясь из ничто в преисподнюю агонии, в чистый экстаз агонии — пока не понял, что продолжаться так будет всегда; смена декораций была просто систолой и диастолой, биением его отравленного пульса, реакцией сознания на ток крови. Я ощутила его отчаянное желание смерти, прекращения пыток.

Кровь циркулировала все медленнее, все болезненнее; я чувствовала его надежду на скорый конец.

Но эта наводящая ужас заря вдруг померкла и выцвела тошнотворным сомнением. Надежда пала в надир; страх взмыл, как дракон со свинцовыми крыльями. А что если, думал Артур, что после всего этого смерть не прикончит меня?

Не могу передать его состояние. Не то чтобы сердце упало — некуда ему было падать; оно знало, что бессмертно — бессмертно в царстве невообразимой боли и ужаса, не озабоченном ни единым проблеском света, кроме бледного сияния мора и ненависти. И мысль эта приняла форму, и формой были слова:

Я ЕСМЬ ТОТ, КТО Я ЕСМЬ.

И не скажешь, что богохульство прибавилось к ужасу — оно и было самой сутью ужаса. То был скрежет зубовой проклятой души.

3

Демоническая форма, в которой я сейчас уже явственно узнаю персонажа моего последнего кембриджского «сна», кажется, сглотнула. В тот же миг умирающего сотрясла конвульсия, а демон зашелся припадком кашля. Тут же меня озарило: «демон» представлял собой не что иное, как воображаемую персонализацию болезни. Не сходя с места я без сучка без задоринки постигла всю нашу демонологию от Бодена и Вейера до современных специалистов. Но все-таки — реальность передо

мною или плод воображения? По крайней мере, достаточно реальный, чтобы проглотить здравый рассудок.

Тут снова возник прежний Артур.

— Я не это чудовище! Я Артур Блэр из Феттса и Тринити¹. У меня был пароксизм, он прошел.

Недужный слабо пошевелился. Какая-то часть его сознания на мгновение освободилась от действия яда и теперь яростно сражалась со временем.

— Я умираю.

Утешение в смерти — религия.

В жизни религии нет места.

Еще б я не знал, сколько записных атеистов кропают статьи для членства в научных сообществах или просто ради заработка!

Религия теперь либо развлечение и снотворное, либо обман и надувательство.

Меня воспитывали пресвитерианином.

Как же легко я переметнулся в англиканскую церковь!

И где же ныне Бог?

Где Агнец Божий?

Спаситель где?

Где Утешитель?

Почему меня никто не спас от этого демона?

Он что же, станет снова глодать меня? Поглощать меня, растворять в себе? О, непостижимо страшный жребий! Мне теперь все ясно: этот демон — надеюсь, ты понимаешь меня, Магдалена! — состоит из всех тех, кто умер от болезни Брайта. Должны быть и другие, для других болезней. Кажется, я как-то мельком видел болото кровавой мокроты.

А теперь я помолюсь.

Последовало бешеное воззвание к создателю. Несмотря на всю искренность, на письме оно бы выглядело крайне непочтительно.

И затем пришел ледяной ужас истового богохульства на Господа Бога — который не пожелал ответить.

Он уступил место беспросветной черной агонии осознания — да, абсолютной уверенности! — «Бога нет!» в сочетании

¹ Феттс — частная школа-пансион в Эдинбурге. Тринити-колледж — один из колледжей Кембриджского университета. — *Примеч. перев.*

с бешеной яростью против тех, кто бойко уверял его, что нет, Бог есть, точно есть, и почти маниакальной надеждой, что им доведется пострадать больше, чем ему, если только такое вообще возможно.

(Бедняга Артур! Не собрав еще цвета с лозы Страдания, он вынужден был испить крепчайшего ее дистиллята до самых осадков!)

— Нет, — подумал он, — может, мне просто недостает их «веры».

Если бы я только мог по-настоящему убедить себя в существовании Бога и Христа.. если бы я только мог обхитрить себя, заставить поверить..

Та мысль могла говорить только об одном: он готов пожертвовать честностью, отречься от разума. То были последние слабые потуги сдающей позиции воли.

Тут демон снова схватил его и сломал зубами. Шумный делирий начался заново.

Плоть моя и кровь взбунтовались. Охваченная дикой рвотой, я кинулась прочь из комнаты и решительно на целый час изолировала свои чувства от мыслей. Я давно уже обнаружила, что легчайший след табачного дыма в комнате сильно портит мои способности. Теперь я курила сигарету за сигаретой с самым превосходным эффектом: я понятия не имела, что происходит вокруг.

4

Артур, отравленный ядовитой лимфой, кипел в пузырящихся утробных соках, крутился под обширными сводами брюха, напоминающими купол самого ада. Я ощущала, что он не только разъят механически, но и растворяется химически, что самое его существо все больше и больше распадается на части, и что они — сами живые — поглощаются, становятся частью иных, новых и мерзейших созданий, но (что хуже всего) при этом Артур остается неуязвим, отстранен, незатронут; его память и разум острее прежнего — пока на них рушатся, их насыщают все новые невыносимые впечатления. Казалось, какое-то мистическое состояние накладывалось на пытки, ибо хотя он не был, определенно не был, этой страдающей бесформенной

массой сознания — все же именно ею он и был. Нас всегда, как минимум, двое! Тот, кто чувствует, и тот, кто знает, — решительно не один и тот же человек. И эта двойственность личности невероятным образом обостряется в смерти.

Еще один важный момент состоял в том, что ощущение времени, на которое обычно столь полагается человек — особенно в моем случае — было сильно нарушено, спутано, если не вовсе лишилось всех своих полномочий.

О своих повседневных делах мы всегда судим в категориях некоторых промежутков времени или чего-то подобного. Убежденность в собственном бессмертии должна естественным образом разрушить ценность подобных построений. Если я бессмертна, какая мне разница много времени проходит или мало? Тысяча лет и один день — очевидным образом одно и то же с точки зрения «всегда».

В каждом из нас есть подсознательные часы, пружину которых заводит гонка, чью дистанцию нужно покрыть лет за семьдесят или около того. Пять минут — очень долгий срок, когда ждешь омнибуса; целый век — когда ждешь возлюбленного и совершенное ничто, если занимаешься каким-нибудь приятным делом или спишь.¹

Семь лет представляются нам весьма долгим временем в контексте каторжных работ, а в отношении геологии это ничтожно малый период.

Но если речь идет о бессмертии, даже возраст самой галактики — ничто.

Эта мысль не вполне проникала в сознание Артура; скорее, она висела над ним неизъяснимой угрозой, а само обострение сознания, освобождение его от чувства времени, естественного для живых, заставляло каждое действие демона казаться

¹ Одна из самых жестоких выходок природы состоит в том, что все мучительные или депрессивные эмоции растягивают время, в то время как приятные мысли и возвышенные состояния заставляют время лететь птицей. Иными словами, если подводить итог жизни с некой внешней точки зрения, можно сделать вывод, что пусть даже мука и наслаждение в ней занимают равные промежутки времени, впечатление будет такое, что боли гораздо больше, чем удовольствия. Это уравнение можно обратить. Вергилий писал: «Forsitan haec olim meminisse juvabit» («Может, в один прекрасный день нам будет приятно вспомнить об этом»). И есть, по меньшей мере, один современный автор, не понаслышке знакомый с пессимизмом, и, тем не менее, крайне оптимистичный. Однако новые факты, которыми я делюсь тут с вами, ниспровергают всю дискуссию, возлагая неизмеримо тяжкий меч на жалкие, трепещущие весы.

чрезвычайно долгим, хотя в действительности интервалы между криками, выпускаемыми телом на кровати, были совсем малы. Каждый укол боли, каждая пауза тревожного ожидания рождались, вздымались до пика и умирали, чтобы снова возродиться, длясь бесчисленные зоны.

И еще в большей степени это относилось к перевариванию Артура демоном. Кома умирающего сама по себе была феноменом за пределами времени. Состояние переваривания было внове для Артура; у него не имелось ни гипотез, ни данных для исчисления его продолжительности или близости конца.

Можно только крайне общо набросать этот процесс. По мере поглощения личности, сознание Артура расширялось до сознания демона; он становился един с его голодом, его порчей. И это совсем не мешало ему страдать самим собой, от своего лица, разрываемого на мельчайшие молекулы. Это лишь подтверждалось самым грязным унижением той, отвергаемой части него.

Я не стану даже пытаться описать финальный процесс. Достаточно будет сказать, что демоническое сознание отступало. Артур был просто экскрементом чудовища, и в виде экскремента увлекался дальше путями грязи и муки в бездну ночи и тьмы, имя которой — погибель.

Я встала, бледная, как пепел. Я, заикаясь, прокаркала:

— Он мертв.

Медбрат склонился над телом.

— Да, — эхом прошелестел он, — он мертв.

И, казалось, вся вселенная сгустилась в один отвратительный взрыв смеха и ужаса:

— Мертв!!!

5

Я возобновила свое бдение. Я чувствовала, что должна убедить: все хорошо, смерть всему положила конец. Горе человеческому роду! Сознание Артура было живее всех живых. Оно было — сплошь черный ужас падения, немой экстаз вечного, неизменного страха. Ни единая волна не колыхала моря стыда, ни единая мысль не тревожила проклятых вод. Ни единой надежды, что у пропасти может быть дно, что падение может

закончиться. Таким безустанным был этот полет, что даже ускорение полностью отсутствовало; ровен и неизменен, как путь падающей звезды. Не было даже чувства движения; бесконечно стремительный, как ему и положено, судя по особенностям внушаемого им ужаса, он оставался в то же время бесконечно медленным, особенно в сравнении с бездонностью бездны.

Я приняла все меры, чтобы никакой последний долг, который живые платят мертвым (о, какая глупость!), меня не беспокоил; затем забылась сигаретой.

Именно тогда — как ни странно это звучит — я впервые начала задумываться о том, чтобы ему помочь.

Я проанализировала наше положение. Увиденное должно быть его мыслями, иначе я бы их не прочла. Оснований предполагать, что чьи-то чужие мысли могут до меня достучаться, у меня не имелось. Артур должен быть жив в истинном смысле этого слова; именно он и не кто иной пал жертвой этого неизъяснимого страха. Относительно страха явствовало, что у него должны быть физические основания, проистекающие от состояния его организма и, в частности, мозга: все, что наблюдалось до сих пор, в точности зависело от физического состояния. Фактически, все предыдущие феномены представляли собой отражение имеющих место в организме процессов на уровне сознания, освободившегося ото всех человеческих ограничений.

Возможно, такое толкование было ложным — но это было его толкование, и именно оно служило причиной страданий, выходивших далеко за пределы всего, что наши поэты дерзнули бы назвать картинами ада.

К стыду своему вынуждена признать, что первые мои мысли были о католической церкви и мессе за упокой души. Я отправилась в собор, попутно припоминая все, что доселе говорилось об этой религии — все предрассудки сотен дикарских племен. В глубине души я не видела никакой разницы между их варварскими ритуалами и христианским обрядом.

Как бы там ни было, а мне дали от ворот поворот. Священник отказался молиться за душу еретика.

Я помчалась домой и вновь заступила на вахту.

Ничто не изменилось — только страх стал глубже, одиночество — сильнее, стыд — всеохватнее. Мне оставалось только надеяться, что при полном прекращении всех жизненных

функций смерть станет окончательной и сам ад развеется в ничто.

Это положило начало цепочке мыслей, приведшей к решимости ускорить процесс. Я подумала было взорвать мозг, но вспомнила, что средств к этому у меня нет. Затем пришла идея заморозить тело, я даже успела выдумать сказку для медбрата, но рассудила, что никакой холод не будет его душе холоднее этой беспредельной темной бездны.

Может, сказать доктору, что Артур желал завещать свои останки медицине, что он боялся быть похороненным заживо — да что угодно, лишь бы они вынули мозг? Тут я поглядела в зеркало и поняла, что лучше мне ничего не говорить. Волосы мои были седые, лицо искажено, глаза — дики и налиты кровью.

В отчаянии горя и беспомощности я кинулась на кушетку в кабинете и жадно задымила сигаретой. Это принесло такое сильное облегчение, что верности и долгу стоило немало труда вернуть меня к выполнению насущной задачи. Должно быть, помочь смог только коктейль из ужаса, любопытства и азарта.

Я отшвырнула пятую сигарету и вернулась к одру смерти.

6

Не успела я просидеть за столом и десяти минут, как наступили изменения — с пугающей внезапностью. В какой-то точке бездны чернота собралась, сжалась, прынула яростным пламенем и бесцельно хлынула вперед — из никуда в никуда.

Это событие сопровождалось совершенно тлетворным смрадом.

Все закончилось, прежде чем я успела осознать происходящее. Как удар грома за молнией, последовал ужасающий грохот, который я могу описать только как крик испытывающей муки машины.

Последовательность повторялась постоянно в течение часа и пяти минут, затем все прекратилось так же внезапно, как началось. Артур все падал.

После промежутка в пять часов случился еще один пароксизм — точно такой же, но сильнее и дольше. Затем еще одно безмолвие — столетия страха, одиночества, стыда.

Около полуночи далеко внизу под падающей душой явился серый океан, видом напоминавший кишечник. Он выглядел бескрайним. Артур упал туда головой вниз и получившийся всплеск пробудил его к осознанию нового положения вещей.

Это море, хоть и невыразимо холодное, кипело, как туберкулезные легкие. Состоя из более или менее однородной слизи, зловоние которой превышало всякое человеческое понимание (наш язык вообще исключительно беден словами, способными описать запах и вкус; приходится все время связывать свои ощущения с какими-то общеизвестными понятиями),¹ он постоянно набухал зеленоватыми нарывами с яростно-алыми кратерами, чьи иззубренные края полыхали мертвенно-белым. Они исторгали гной, образованный из всевозможных известных человеку вещей — и каждая изломана, извращена, проклята, во власти деградации.

Все невинное, счастливое, святое — стало осквернено, тошнотворно, омерзительно! Неся стражу весь следующий день, я распознала в этой мешанине одну группу образов. Я увидела там Италию. Сперва Италию на карте, обутую в сапог ногу. Однако нога эта стремительно менялась, проходя мириады фаз. Она по очереди была ногой всякой мыслимой твари и птицы и в каждом случае страдала всеми мыслимыми болезнями от проказы и элифантиаза до скрофулеза и сифилиса. И все это сопровождалось пониманием, что это неотчуждаемая часть Артура и так будет всегда.

Затем сама Италия, прогнившая каждой своей деталью. Потом сама я, в виде всех женщин, какие только есть на свете, и каждая поражена всеми болезнями и муками, какие только Природа и человек способны измыслить адским своим

¹ Это моя главная жалоба, причем сразу на студентов-научников с одной стороны и на чрезмерно фантазирующих писателей — с другой. Любую новую идею мы способны выразить, лишь скомбинировав две-три старых или же при помощи метафоры. Примерно так же любое число можно показать суммой двух других. Джеймсу Хинту мы, без сомнения, обязаны идеально свежей, простой и лаконичной идеей «четвертого измерения пространства». Между тем ему оказалось до невероятности трудно передать ее другим, даже если эти другие были продвинутыми математиками. Я думаю, что основной фактор, препятствующий прогрессу человечества, — это странная уверенность великих умов в том, что другие их поймут.

Даже такого мастера понятно выражаться на английском языке как покойный профессор Гексли не понимали столь капитально, что на него периодически кидались люди, обвиняя в концепциях, им же самим недвусмысленно и самым внятным языком опровергнутых.

разумом, и каждая заканчивается смертью, смертью, подобной Артуровой, чьи нескончаемые корчи слагались с его собственными, признавались и принимались как его собственные.

То же с нашим так никогда и не рожденным ребенком. Все дети всех наций, немыслимо недоразвитые, искалеченные, измученные, разъятые на части, оскверненные всякой гадостью, какую только может породить изощренное воображение архидьявола.

И так с каждой мыслью, с каждым образом. Я поняла, что гнилостные изменения в мозгу умершего человека вызывают к жизни все его былые воспоминания, но раскрашивают их собственной авторской палитрой ада.

Я засекала по часам одну мысль: несмотря на миллиарды миллионов деталей, четких, длительных и жизненных, на нее ушло ровно три секунды земного времени. Затем я представила себе неисчислимый ассортимент образов и идей, хранящихся в хорошо обставленных палатах Артурова мозга. Их запас не иссякнет и за тысячу лет.

Но, возможно, если удастся разрушить мозг, так чтобы никакой специалист не сумел бы распознать его составные части...

Мы всегда считали само собой разумеющимся фактом, что сознание и память напрямую зависят от правильного кровотока в сосудах головного мозга; и, однако же, вопрос, нельзя ли каким-то иным способом управлять им, никогда не переставал нас волновать. Известно, что опухоль мозга способна порождать галлюцинации. Сознание работает странно; малейшее нарушение кровотока, и оно угасает, как задутая свеча, а то принимается извергать чудовищные образы.

И вот предо мной невыносимая правда: после смерти человек снова живет — и живет вечно. Нам должно было прийти это в голову! Проносющаяся перед глазами тонущего жизнь просто обязана навести на такие выводы всякого обладателя отзывчивого и активного воображения.

Хуже самих образов, впрочем, был страх перед их возникновением. Карбункулы, пузыри, язвы, раковые опухоли — никакие реальные эквиваленты не сравнятся с картинами inferнальных гноищ, в чью кипучую гущу Артур погружался глубже и глубже.

Мощь этих переживаний не постичь человеческому рассудку в том виде, в каком мы его знаем. Меня осенило, что конец им должна положить кремация тела. О, как я радовалась, что Артур именно так и распорядился! Но для него самого конец и начало утратили уже всякий смысл. Сквозь эту фантазмагорию, кажется, я слышала мысли настоящего Артура:

— Хоть все это — я, оно лишь случайное проявление меня; я над, я вне, неуязвимый и вечный.

Ни на секунду не думайте, что это хоть как-то способно умалить интенсивность страданий. Скорее уж оно ее увеличивало. Самому быть отвратительным — не то, что вступать с чем-то отвратительным в контакт. Погружаться в нечистоту, значит терять способность к безгловости. Но делать все это и, тем не менее, оставаться чистым — вот где разгул мерзостям. Вообразите Мадонну, заключенную в тело проститутки и вынужденную признать: «То емь я», — ни на миг не выныривая из грязи. Быть не просто заточенным в преисподней, но причащаться ее таинствам; не только первосвященствовать на ее агапэ, но самому порождать и проповедовать ее культ. Христа замутило от поцелуя Иуды, но он не мог не понимать, что предает — он сам.

7

По мере того, как развивалось разложение мозга, пустулы взрывались уже по нескольку за раз; спутанность сознания и усиление безумия во всей его мучительности добавились к более простым и незамысловатым пыткам. Вы могли бы рассудить, что спутанность послужила долгожданным облегчением от былой ужасающей ясности; увы, это было совсем не так. Просто страдания переплелись с оглушительным ощущением паники.

Вставали образы грозные, исчезающие, лишь взрываясь в жижеобразный копролит — основные воинские формирования, слагающие теперь Артура. Глубже и глубже погружался он, и адские явления росли кругом во всех смыслах этого слова. Теперь это были джунгли, где ужас и непонятность целого затмевали даже гнусность отдельных его частей.

Безумие живущих столь гадостно и страшно, что способно затопить ужасом любое человеческое сердце; в сравнении с безумием умерших — это менее чем ничего!

Настали новые ухудшения — окончательное и полное разрушение того компенсаторного механизма мозга, который лежит в основе ощущения времени. Сколь бы чудовищно искажено и сломлено оно ни было в процессе деградации мозга в бесформенный студень, время от времени выстреливающий длинными внезапными щупальцами слизи, нынешнее его исчезновение нанесло ущерб, тысячекратно более серьезный. Само ощущение последовательности событий приказало долго жить; представавшие чередой явления выглядели теперь наложенными или совпадающими пространственно. Раскрылось новое измерение; снесение всех преград явило новую бездну.

Ко всему остальному добавилось смятение и ужас, бледной тенью которого служит земная агорафобия; одновременно новая нужда, новое заточение тяжко пало на Артура, ибо из бесконечности не было выхода, не было и не могло быть спасения.

Прибавьте сюда безнадежность и монотонность происходящего. За бесконечным разнообразием феноменов распознавалось сущностное единство. Все цели человеческой жизни озаряются уверенностью в неминуемой их конечности. Даже радости наши показались бы нестерпимыми, знай мы, что им суждено продлиться сквозь скуку и отвращение, сквозь пресыщение и усталость в вечность и еще того дальше. И в этом бесчеловечном, сверхдиавольском инферно была некая изнурительная повторяемость, нудное брнчание одного и того же ненавистного диссонанса, непрестанное зудение, чьи интервалы не допускали и возможности облегчения — одно лишь тревожное ожидание, переливающееся через край предчувствием еще какого-нибудь нового кошмара.

Шли часы, казавшиеся Артуру вечностями, и сцена эта длилась, длилась, пока каждая клеточка, содержащая архивы его памяти, распадалась, дегенерировала, пробуждаемая к антижизни гипербромистых нагноений.

8

Мельчайшие очаги бактериального гниения теперь разворачивались во всем своем химическом неистовстве. Образующиеся в мозгу и проникающие его насквозь гнилостные газы отражались в сознании полчищами пустул, терявших

теперь всякую форму и индивидуальность — Артур не измерил еще дна этой бездны.

Ползучая, вяжущая, обволакивающая мощь Вселенной поглощала его, надругалась над ним неотразимой, сокровенной, безымянной порчей, заглатывая его сущность в еще более удрушающие тенета страха.

Опять и опять сознание его погружалось в водоворот, который было не в силах мне описать. О, да, каждая из мук его, от первой до последней, превышала всякие выразительные способности.

Горе все ширилось, все усиливалось с каждой чашей гнева. Память напирала, понимание росло; воображение давно уже вырвалось из всех границ.

Что это все значит, кто мне скажет? Человеческий разум на самом деле не в силах воспринимать числа больше двадцати или около того. Да, он может оперировать ими при помощи логических умозаключений, но воспринять как прямое впечатление — нет. Нужен поистине высокотренированный разум, чтобы отличить пятнадцать спичек на тарелке от шестнадцати, не пересчитывая их.

Так вот, в смерти эти ограничения исчезают полностью. Каждый объект на беспредельных складах мироздания воспринимается и осознается по отдельности. Разум Артура сравнился могуществом с тем, который теологи приписывают Создателю; увы, исполнительной власти при этом не было и следа. Бессилие человека перед обстоятельствами в нем усилилось до бесконечности, не потеряв ни в деталях, ни в общей массе. Он постиг, что Множество было Единством без утраты каждой из двух концепций, без их смешения. Он был Богом, но Богом безвозвратно проклятым; существом бесконечным, но ограниченным самой природой вещей, и природа эта была отвратительна.

9

Я почти не сомневалась, что кремация тела мужа положит конец процессам, которые у обычным образом похороненного человека продолжают до тех пор, пока не останется ни следа органических веществ.

Но первый же поцелуй огня пробудил активность столь яростную и красочную, что в жутком ее свете все прошлое померкло.

Описывать неутолимую агонию боли у меня нет никакого морального права. Если и имелось у нее какое-то облегчение, так только ликование, что она — воистину последняя.

Не только время, но все протяженности времени, все чудища его лона должны были сгнуться; даже «я» надеялось на финал.

Человеческое «Я» — червь неумирающий, а бытие — огонь неугасимый.¹ И все ж — неужто на этом вселенском погребальном костре, в этой адской утробе кипящей лавы, извергаемой из жерл бесконечности, в этом озере огненном, уготованном диаволу и ангелам его, неужто и там человеку не достичь дна бездны? А! Но не было больше ни времени, ни образа его и подобия!

Оболочку поглотил огонь; газы телесные, смешавшись и перемешавшись, воспламенились и выгорели, свободные от органической формы.

Но где же Артур?

Его мозг, его личность, его жизнь были полностью уничтожены. Как нечто отдельное и самостоятельное — да; Артур мой слился с вселенским разумом.

И я услышала слово. Вернее, это мой перевод на английский одной-единственной мысли, сумма которой — «Горе!»

Реальность зовется духом или материей.

Дух и материя — одно, безраздельное, вечное, неразрушимое.

Бесконечное вечное изменение!

Бесконечная вечная боль! Нет никакого абсолюта: нет истины, нет красоты, нет идеи — ничего, кроме круговорота форм, неукротимого, неустанного.

Вечный голод! Вечная война! Изменение и боль — бесконечные, беспрерывные.

Нет никакой индивидуальности — только в иллюзии. А иллюзия есть изменение и боль, и разрушение ее — изменение и боль, и новое ее сгущение из бесконечности

¹ «... быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9:48).

и вечности — изменение и боль; и сама реальность, бесконечная, вечная есть изменение и боль невыразимая.

За пределами мысли, которая — изменение и боль, лежит бытие, и оно — изменение и боль.

Таковы были последние различные мной слова. Они потонули во вселенском стоне: Горе! Горе! Горе! Горе! Горе! Горе! Горе! — в нескончаемой монотонности, до сих пор звенящей у меня в ушах, стоит мне дать мыслям отпасть от стези деятельности и прислушаться к голосу чувств.

Во сне я хотя бы частично под защитой и держу у постели постоянно зажженную лампу, чтобы жечь табак.. но то и дело в сны мои вторгается это назойливое: Горе! Горе! Горе! Горе! Горе! Горе! Горе!

10

Финальная стадия, очевидным образом, дело неизбежное, если только не верить в буддийские теории — а к этому я до некоторой степени склонна, поскольку их видение вселенной находит самое точное и детальное подтверждение в фактах, которые я здесь привела. Но одно дело распознать болезнь, и совсем другое — найти к ней лекарство. Честно говоря, все мое существо шарахается от их методов; я уж лучше сдамся неизбежной судьбе и постараюсь встретиться с нею как можно скорее. Мое серьезнейшее намерение — избежать предварительных мук. Полагаю взрыв динамитной шашки во рту — наиболее практический метод достижения данной цели. Есть шанс, что если уничтожить таким образом все мыслящие разумы, все «духовные существа», если в особенности истребить всю органическую жизнь, вселенная могла бы перестать существовать, раз уж (как показал нам епископ Беркли) существовать она может лишь в некоем мыслящем разуме. А никаких свидетельств существования разума сверхчеловеческого (невзирая на Беркли) у нас как не было, так и нет. Конечно, сама материя в некотором смысле слова способна мыслить, но однообразие ее страданий не столь ужасно, как ее мерзости, и склонность воздвигать высокое и святое лишь ради того, чтобы сквозь бесчестие и ужас тут же низвергнуть и затащить все в ту же старую пропасть.

Исходя из всего этого, я сделаю все от меня зависящее, чтобы документ этот получил самое широкое распространение. Блокноты с протоколами нашей с Артуром работы (тома I—ССХIV) будут изданы профессором фон Бюле, чей блестящий интеллект, возможно, и сумеет отыскать пути спасения от жуткой участи, угрожающей всему человеческому роду. В блокнотах этих все должным образом упорядочено; я вольна умереть, ибо жить больше не могу и больше всего на свете страшусь внезапной болезни, а также вероятности естественной или же случайной смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ

Я чрезвычайно рад, что мне представилась возможность опубликовать рукописи вдовы покойного профессора Блэра в журнале, столь широко читаемом специалистами в нашей профессии.

Рассудок ее, вне всякого сомнения, пострадал от горя, вызванного кончиной мужа. Лечащий врач, заботившийся о профессоре в ходе его смертельного недуга, был чрезвычайно озабочен состоянием миссис Блэр и организовал наблюдение за ней. Несколько раз она (безуспешно) пыталась приобрести динамит в различных магазинах. Когда она отправилась в лабораторию мужа и попыталась изготовить хлорид азота — очевидным образом в целях самоубийства — ее взяли под стражу, признали невменяемой и поместили под мое попечение.

Случай Магдалены Блэр необычен по целому ряду причин.

1) Я ни разу не слышал, чтобы она утверждала что-либо, не основанное на верифицируемых фактах.

2) Она, без сомнения, действительно способна читать мысли людей самым удивительным образом. В особенности хочу отметить, что она и сейчас приносит немалую пользу моей работе, так как способна предсказывать приступы острого умопомешательства у моих пациентов. За несколько часов до того она может предугадать их начало с точностью до минуты. В один из первых разов мой отказ верить в ее силы стоил опасного ранения одному из санитаров клиники.

3) Твердая решимость покончить с собой (уже описанным ею необычайным способом) сочетается у нее с сильным

страхом смерти. Она непрерывно курит; мне пришлось даже дать разрешение окуривать тем же снадобьем ее комнату по ночам.

4) Ей определенно двадцать четыре года. При этом любой компетентный специалист с не меньшей определенностью счел ее бы шестидесятилетней.

5) Профессор фон Бюле, которому были отосланы блокноты, прислал мне срочную и весьма пространную телеграмму, умоляя об освобождении миссис Блэр при условии, что она пообещает не совершать самоубийства, а, напротив, приехать работать к нему в Бонн. Я, впрочем, собираюсь выяснить, имеет ли немецкая профессура, сколь бы выдающейся она ни была, какое-то право голоса в деле управления частной английской клиникой. Уверен, что члены Комиссии по вопросам психического здоровья полностью поддержат мой отказ рассматривать его просьбу.

В свете всего вышесказанного совершенно ясно, что настоящий документ публикуется со всеми необходимыми оговорками и исключительно в качестве изложения чрезвычайно интересного, возможно, даже уникального случая психоза.

В. Инглиш, доктор медицины

Бульвар Эдгара Кине идеально подходит для жизни и смерти. На одном его конце — убогие труды и убогие удовольствия, представленные вокзалом Монпарнас и рю де ла Гэйете соответственно; а на другом — экзотические свары небольшой, но затейливой колонии английских художников. Сам бульвар болтается между двумя этими крайностями; однако — о, знак зловещий и ужасный! — одна из его сторон целиком оккупирована обширным Монпарнасским кладбищем, которое Шарль Бодлер почтил своими костями.

Мне нравится представлять себе, как, должно быть, Бодлер, насживающий, словно какой-нибудь неупокоенный дух, свои тухлые останки, смеялся бы — адским, конечно, хохотом — над моей историйкой.

Личность, осознанно полагающая жизнь человеческую ничьей иной ответственностью, кроме как его, человека, собственной, до некоторой степени наслаждается неуязвимостью Бога. Привычка сначала делать, а потом уже думать, без сомнения, божественна по своей сути — а иначе как вы объясните существование вселенной? Среди цивилизованных народов немного найдется таких индивидуумов, но распознать их все же можно — по серьезной, истовой отваге, сияющей в пристальном их взгляде. А вам хотелось бы повстречать такого? Самое верное место — без сомнения, как раз бульвар Эдгара Кине.

По крайней мере, можете быть уверены в одном: если бы двенадцать лет тому назад в понедельник, в ночь накануне Жирного Вторника вы изволили бы прогуливаться вдоль кладбища, эта встреча имела бы шанс состояться.

1 Английское слово «vitriol» обозначает а) купорос; б) в устаревшем значении — серную кислоту; в) мистический *витриол* алхимиков. Рассказ впервые опубликован анонимно в «Эквиноксе», I (9) (март 1913 г.).

2 Кетлин Брюс (см. примечание к «Испытанию Иды Пендрагон») стала Кетлин Скотт в 1908 году по случаю брака с путешественником и исследователем капитаном Робертом Фальконом Скоттом, погибшим во время экспедиции к Южному Полюсу в 1912 году. Впоследствии вышла замуж еще раз и стала леди Кеннет.

Клемент Сетон был крошечный бледнолицый человечек. Вы бы, наверное, решили, будто он страдает от некой изнурительной болезни. На пальце у него посверкивало кольцо с одиночным рубином. Ах, как неосторожно, молодой человек! Бульвар, пустынный и никуда конкретно не ведущий — отличные охотничьи угодья для самых отпетых парижских головорезов.

Двое апашей в тених рассмеялись. Безмолвные и стремительные, кинулись они на добычу. Но шотландская дичь оказалась еще стремительнее. С десяти футов на них из мрака наставился кольт, и приветливый голос спросил:

— Чем обязан, джентльмены?

Они что-то, запинаясь, забормотали. Молодой смешок прозвенел трелью; юноша изящно спрятал оружие, круто развернулся и двинулся прочь, предоставив им повторить попытку — если посмеют.

Почти на другом конце бульвара имелся *impasse*¹ под названием рю Буассонад. Он рад был бы считать себя проезжей улицей, если бы не разбросанные там и сям прямо посреди него строптивые пустыри. Улицей он когда-нибудь непременно и будет, а пока что упражняется в доказательстве теоремы, что между домами № n и № $n+1$ вполне допустим круглой путь в полмили длиной. С правой его стороны у самого начала можно приметить низенький домик, крытый под ателье и старомодный, над которым глумятся его мерзкие современные соседи. А еще у него неожиданно дурная репутация — даже среди беззаботной парижской богемы.

Не кошачью ли морду напоминает лик твой, о, странная обитательница заброшенного этого дома, не свинскую ли? Где ты раздобыла эту косматую гриву цвета огня? Лик твой покрыт тонким ворсом, каждый волосок которого жалит, будто крапива. Глаза твои, должно быть, пожирают по невинной душе каждый вечер, прежде чем отойти ко сну. Непрестанно кривящиеся губы твои тяжелы и длинны: на ум невольно приходит спрут, поджидающий жертву. От твоей ли крови алект они или от крови тех, кого никто вовремя не предупредил?

Как так вышло, что все мужчины почитали тебя красавицею? И почему — вот точнейший критерий! — все женщины отрицали твою привлекательность?

¹ Тупик (франц.).

Ибо воистину ты прекрасна. Лик твой принадлежит какому-то божественному чудищу, которому поклонялись не то египтяне, не то мексиканцы.

А что же душа? Не душа ли она тоже и бога, и зверя? Говорит ли обличье твое — что предостерегает, но тщетно! — правду? Люди боятся тебя, Мирабель! На другую сторону улицы переходят они, лишь бы не ступить на мостовую, по которой уже ступала ты.

Кто был тот бедный венгерский мальчуган, которого срезали как-то поутру с твоих ворот? А пианист, отравившийся в Вене?

Что такого разглядел в очах твоих портретист, вырезавший твой уже законченный лик с холста и покончивший дело последним росчерком — поперек собственного горла?

Есть ли такие врата смерти, о, Мирабель, каких не прошел бы мужчина — тот иль иной — во имя твое?

Зачем с таким тщанием убираешь ты волосы свои сегодня? Лишь мановение пальца, и они умрут для тебя. К чему же такие усилия? Не одна лишь гордыня — тревога мелькает в зеркале, куда бросаешь ты уже третий взгляд. Ты спеленала себя будто мертвеца; янтарный шелк обвил красивое твое тело. В конце концов ты все ж таки распустила волосы, и текут они по грудям твоим, словно одна из рек преисподней.

Как же так вышло, что ты ждешь, Мирабель? Другим пристало ждать, не тебе. Ты в опасности Мирабель; есть, в конце концов, на небе Бог!

О, да! и он будет в объятьях твоих.

2

Клемент Сетон пожал плечами и усталым жестом отшвырнул сигару. Парижская жизнь представлялась ему пресной после подвигов в Сомали, где он заработал Крест Виктории, простояв полдня над раненым товарищем, пока выжившие в стычке за крайне заманчивый крошечный аванпост тщетно пытались договориться с непреклонным, будто пустыня, воином.

— Самая трусливая вещь, какую я в жизни делал, — объяснял потом он. — Бедные плуты никак не могли до нас добраться из-за скал. Стоило над ними появиться голове, как в нее тут же попадала пуля. Как мишень в тире, клянусь Юпитером!

После чего продолжал в своей велеречивой манере сыпать абсурдными парадоксами из области этики или метафизики.

К чему вообще было ехать в Париж? Горькое презрение к раболопным апашам пожирало его душу. Вот схватиться с дьяволом стоило бы таких мук! Убийцы, думал он, самая соль земли, и надо же! — даже соль утратила вкус. Он саркастически рассмеялся.

У дверей одинокого дома он выкинул сигару, и рука его легла на щеколду.

Как вдруг нечто бесшумно легло ему на плечо, и раздался тихий, запыхавшийся, молящий голос:

— Клемент, старый мой друг, погодите минутку.

Он обернулся и увидел милую, старую, толстую, добронравную мисс Эйткин. Что такого скрывалось в этой женщине, что она смогла стать (и ведь стала!) другом Суинберна, Карьера и Верлена?

Художники ненавидят художников — не из зависти, но потому что нет дружбы меж богами. Вечно безмолвный сам в себе, бог видит все и все ведает; но ничто не трогает его. И нечему ему учиться у других таких же, покамест предмет его штудий — род человеческий. Так что настоящая дружба им — награда и неожиданное счастье. Мисс Эйткин невдомек была их отчужденность — она честно полагала небожителей людьми. Возможно, это льстило бедняжкам богам. В минуты слабости они вообще с радостью принимают человечесью преданность.

Мисс Эйткин стояла с побелевшими губами; ужас зримо плескался вокруг нее.

— Этот дом обречен, Клемент, — простонала она. — Куда угодно направьте стопы ваши, только не сюда!

Терпеливо и с улыбкою выслушал ее Клемент. С радостью отвлек бы он ее какой-нибудь ложью — какой-нибудь глупостью о том, что есть на небе Бог.

Но истина вскипела и побудила его пропеть ей песнь, которую он сложил в честь Мирабель.

За шлюху — весь мир!
Небеса — за блудницу!
И под ноги жизнь —
За жену в багрянице!

Нечестный обмен?
Накладный контракт?
Вам странно, что рад я?
Увы, это факт!

Давайте мне деньги,
Чины и всесилье,
Пирь и разгул —
Рог золотой изобилья!
Все это отдам
Я за деву-блудницу,
Что в скучном миреке
Своим блюдом гордится!

О, он понимал, что истина подобного рода наверняка покажется мисс Эйткин лишь дьявольской издевкой, и потому под конец пожал ей руку, поблагодарил, призвал возвеселить дух свой — и вошел в дом.

3

Подобно брэнному призраку, изможденная бедняжка Сильвия выплыла с кладбища и предстала перед Клементом Сетоном.

Минуло три месяца со времени его первого визита к Мирабель, прекрасной и удивительной, но он все еще ежевечерне устремлялся по бульвару навстречу своей неминуемой участи. Ах, как тонок и бледен ты стал, милый мой дурак! Не воздух ли Парижа высосал из тебя всю кровь? Нам ли не знать. Не чарами ли ты опутан, не мороком ли одурманен? Видать, ты скорее умрешь так, чем станешь жить иначе.

Нет, и думать негоже; невозможно, чтобы немислимые совершенства Мирабели захватили его душою и телом — ибо когда изможденная бедняжка Сильвия со своим надсадным кашлем и чахоточным румянцем обращается к нему, он таки ее слышит.

¹ Кроули, «Summa Spes». Стихотворение было впервые опубликовано частным порядком в Лондоне в 1903 г., а затем в «Собрании сочинений Алистера Кроули», том II (1906 г.).

Она манит его на угол кладбища, нетерпеливо, алчно, пламенея исхудалым лицом, поминутно оглядываясь. Клемент отрезанно следует за нею, не торопясь ни к ней, ни от нее.

У невысокого могильного холмика она остановилась.

— Здесь лежит Сергей, — молвила она, — которого я так любила — о, мой Бог! Она забрала его у меня; она вышвырнула его вон и хохотала, когда он застрелился у нее на пороге. Вы — ее любовник, месье. Она и с вами так обойдется, клянусь вам. Она только для того и живет. Боже! Боже! О, если бы этим вот пальцам — да ее горло, на один только миг, Боже!

И она разразилась бурей слезливого гнева.

Сетон раскурил трубку.

— Ах, эта Мирабель! — протянул он. — На Фасги возносит она меня, млеком и медом из Земли Обетованной питает меня. Но войти и владеть? Нет. Она знает: владение есть лишь прелюдия Рабству, к Изгнанию в Вавилон Великий. Но кто я такой, чтобы месяцы тратить впустую? Ибо сказал я: любой дурак накопает одноактный зачин, но мало тех, чье перо выдюжит пять цельных актов во всей остроте их. Так зачем же мне ждать? Почему самому не поставить драму? Трагедию? Нет! Ибо Бог есмь и пристало мне смеяться надо всем. Так-так!

— Я убью ее! Убью ее! — хлопала тем временем дева, лобзая водруженный на могиле крест.

Сетон улыбнулся, ласково склонился над нею и что-то прошептал ей на ухо. Затем развернулся и устремил немедлящие стопы к садам своей Армиды.

* * *

Трепеща в объятиях друг друга от сдерживаемой страсти, Клемент и Мирабель все еще возлежат. Вот он напрягает все силы свои; вот она уклоняется — снова и снова, всегда.

— Ради тебя самой, богиня! — восклицает он. — Ты не возвышена, ибо не коснулась ты человека. Приношу я в жертву великолепие нашей страсти, дабы была ты посвящена.

— Тогда не ты, но другой! — дико хохочет она. — Ты единственный, кто способен сыграть в Игру. Я не истрочу тебя!

Он с сомнением поглядел на нее — и понял, что она лжет. Вот оно, подлинное ханжество!

— Галилеянин! Твоя взяла! — вскричал он.

И так ужасна была ирония в голосе его, что на какой-то миг она устрасилась.

Затем, уже встав, они болтали о тысяче пустяков; но так как боги были они, любые речи лишь змеились иероглифами их страсти. Курс, меж тем, сменила она.

— Не грежу ль я? Разве я не выиграла заезд?

— Сверим ставки, — ответствовал он.

И снова по коже у нее пробежал мороз.

Уж не предвестие ли полного краха надежд?

Глубинный страх души, оказавшейся нагой и беззащитной пред ликом Господа своего?

— Оденься понаряднее сегодня, — проворковал Клемент бархатным голосом.

На ум ей пришла Иезавель, и в третий раз она содрогнулась.

Однако же вышла прехорошенькой и позлащенной в сиянье прозрачных шелков.

Ах, не шелка пристало носить на бульваре Эдгара Кине, о, прекрасная Мирабель! Не шелка, а скорее уж саван. Безотрадные деревья бульвара не трещат, как тафта — они шепчутся, будто плетущие козни убийцы. Не трещат там и камни — они глупо и пусто щелкают. Не так ли щелкают слезы ложной страсти твоей об алмазные мужские сердца?

Таинственный и неясный, из-за дерева выпрыгнул призрак. С одним-единственным хриплым словом на устах, изможденная бедняжка Сильвия плеснула кислотой и, хохоча, унеслась по бульвару прочь.

Прямо в лицо плеснула она ей; брань вознеслась пронзительным визгом и опала стоном.

Клемент Сетон отнес деву обратно в ателье.

4

Милая, старая, толстая мисс Эйткин! Что ты, право, за соколовище в этом мире скорбей.

Прегрешения Мирабель — а их было немало! — оказались все прощены. Особенно теперь, когда грешить она уже не могла.

Они с Клементом выходили ее и вернули к жизни. Правда, лицо ее лицом более не являлось: один сплошной шрам, так что глядеть на него теперь страшнее, чем на саму смерть. Руки, однако, уцелели — по ним лишь одним оставалось судить о былой красоте.

Нас, впрочем, интересует душа. В этой немощи в Мирабели выпестовался человек, и Клемент, любивший в ней плоть, полюбил ее пуще прежнего. Зачем он сделал ее своею любовницей? Вам судить. Почему же она уступила? Об этом кто станет судить? Не подходите легкомысленно к этому делу: даже я, кто есть Бог великий, сотворивший всю эту коллизию, не дерзаю ответить.

Так жили они больше года в самой тесной близости, и добрейшая мисс Эйткин при них, будто мать.

И вот внутри Мирабели зашевелилась новая жизнь. Прослышав об этом, Сетон отозвал мисс Эйткин в сторонку для частной беседы, и вот что он ей сказал:

— Дорогой друг мой, теперь вы, возможно, догадываетесь о том, что всегда знали я и она: любовь достигла вершины и отныне обречена на гибель. Таков всеобщий рок, и ничто его не избегнет. Я подарил Мирабели ребенка — пусть же в нем она ищет отныне новых миров и новых побед. Что до меня, я уже довольно ее изучил. Там где-то умирает Сильвия: чахотка влечет ее к последнему порогу. Поеду-ка я жить с ней и пировать над одром ее. Она меня любит, ибо я споспешествовал ее мщению, и ненавидит — ибо я вознес ее жертву до таких высот радости. А вы не знали? Да, Сильвия любила Сергея, которого украла у нее Мирабель. Это я посоветовал ей плеснуть кислотой. Ну, вот и все.

И он удалился, насвистывая. И что же ответила нашей мисс Эйткин, чья превосходная память не преминула сохранить эту богопротивную речь для Мирабель, сия ничего уже не выражающая маска ужаса?

— Я знала. Я сама пошла навстречу смерти той ночью — преднамеренно и умышленно. Ананке вела меня и мойры с нею. Более того — много радости принес мне Клемент, и до сих пор я готова прыгать от счастья, нося во чреве его дитя. Пусть себе идет к Сильвии. То участь женщины — провожать

своего мужа на странные и дальние дела. Ну, не дура ли была Юнона со своим оводом?

Между прочим, когда Сильвия умерла, Клемент к Мирабели вернулся — как брат. Он выбрал самый подходящий момент, чтоб разорвать эти узы. Самоубившийся Сократ куда как милее Сократа, выжившего от старости из ума. Так что они остались верными друзьями.

Дитяти на той неделе минуло двенадцать. В нем явственно видны ростки чудесных мыслей, коим суждено превзойти все ограничения, моральные и аморальные, присущие человеку.

Сверхчеловек, без сомненья, явлен; он утвердился во втором поколении.

НОВЕЛЛА

1

ЛАГЕРЬ НА ЛЕДНИКЕ

На Чого-Лунгма-Ла полночь. Луна. Упрямые порывы ледяной северной пурги проникают сквозь холстину и гагачий пух, и меха. Роланд Рекс² на мгновение выглядывает из своей крошечной палатки, прилепившейся к умопомрачительной красоте снегов, и почти удивляется, что звезды в силах устоять перед таким напором. И все же где-то там, смутно и далеко, среди беспредельных просторов шевелится крупица жизни. Как же ничтожен человек посреди подобной пустыни! И как же много человек значит для человека! Случись вдруг лавина — да перевернись хоть сами горы кверху могучими своими корнями! — ничто не приковало бы его внимания с такою властью, как эта единственная точка на белой девственности снега.

Но так далека она, так тяжело бремя ветра, так круты и скользки склоны, что успела расцвести заря, прежде чем точка превратилась в человека. Высокий и оборванный, с черными волосами, спутанными поверх глаз в сеть, защищающую их от Муки Снегов (как местные жители называют ужасную скоротечную снежную слепоту великих вершин), с ногами, обмотанными кожей и тряпками в много слоев, вышел он к маленькому лагерю.

Люди, способные встретить лицом к лицу царственность гор, все как один невозмутимы и терпеливы: опыт научил их, что гневаться на снежную бурю, как минимум, бесполезно. Метель может протянуть неделю; чтобы побороть ее, нужно быть готовым протянуть несколько недель. Спокойный

1 Новелла впервые опубликована в «Эквиноксе», I (9) (март 1913 г.).

2 Персонаж имеет некоторое сходство с Кроули, который совершил попытку восхождения на гималайский пик К2 в Каракоруме через Аскол и Скарду.

и безмятежный, словно не он совершил только что двадцать два перехода за шесть дней, посланник зарылся в свои одеяния и извлек на свет божий конверт.

Два года с лишним минуло с тех пор, как Роланд затерялся в снегах; месяц назад он объявился в Скарду¹ и тут же послал курьера к местному чину-техсильдару с письмом и кошельком для оставшегося дома друга. Ветер стих сразу после рассвета. Солнце изливало могучие сияющие потоки на ледник. Вся постель до мельчайших подробностей была вывешена на просушку. Кули веселились — сегодня готовить еду будет легко.

Роланд оттаял предпоследнюю банку сосисок и вскипятил какао. Восседая на одном из обтянутых кожей коробов, содержащих его немногочисленные пожитки, он наслаждался теплом, трубкой и упоением вестей из дома: писем ему было ждать неоткуда, но заботливый техсильдар любезно прислал газету. У господина судьи Биллингтона разыгралась сенная лихорадка; лорд Уиттл получил, наконец, судебное решение *nisi*;² облигации упали на один пункт; сэр Юлиус Бут изволил уехать из города к себе в поместье; три свиньи сгинули в Стаффордшире, а в Голуэе — агент по продаже земель; уголь, вероятнее всего, скоро вздорожает; протекционистская реформа вообще-то подразумевала снижение подоходного налога и работу для всех; Питер Бриггс, он же Питер-фунт, получил три года; Микстура-Банкома-Действительно-Помогает-при-Запорах; Можно-ли-Дамам-Носить-Подтяжки? — и прочий тоскливый повседневный бред.

Однако то, что для лондонца — навязчивая, не имеющая отношения к реальности чепуха, вдруг обретает живой блеск и шарм в глазах, взирающих на нее издалека. То самое тесто, из которого пекутся мечты, а потому — вот ведь странный парадокс! — как нельзя более убедительное. Лорд Уиттл на мгновение стал не менее реален, чем сам мистер Пиквик. Роланд Рекс почувствовал себя счастливым.

Новостей мирских его довольству, однако, оказалось мало. После того, как изголодавшийся разум заучил наизусть каждую глупейшую их фразу, он с не меньшим рвением обратился

1 Скарду — центр альпинизма в северном Пакистане, неподалеку от которого расположен ряд популярных ледников и гор-восьмитысячников.

2 Неокончательное (лат.).

к репортажу о ежемесячном соревновании за медаль Литтл-Пиддлингборо; о запланированной на следующий месяц регате через Ла-Манш. Даже тупейшая колонка частных объявлений со всеми ее скудоумными благоглупостями и фальшивыми ассигнациями способна подчас взволновать кровь. Какое оно все прелестное, лакомо-фантастическое! В сумрачном лабиринте ледников, пасмурном безмолвии гор, в величии безлюдного простора, вгоняющего холодное железо реальности по рукоять в душу путешественника, бессмысленный вздор писаки по пенни за строчку сравним с волшебной сказкой, которую ребенок слушает в первый раз в жизни. Да, известие о том, что Золушка — не настоящая девочка, а просто аллегория смирения и пунктуальности, может еще как шокировать! Примерно это же происходит и с тем, кто вдруг обнаружил в полной фэй и волшебниц газете параграф, имеющий непосредственное отношение лично к нему. А Роланд Рекс нашел сразу два таких.

Первый, в колонке некрологов, гласил:

В память лорда Маркуса Мастера, скончавшегося (далее следовала дата двумя годами ранее), от неизменно любящей жены. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе»¹.

Он тяжело вздохнул.

— Бедняга Маркус! — воскликнул Роланд Рекс и оглядел себя.

Волосы и борода вот уже три года хранили девственность от гребня и ножниц; кожа потемнела почище, чем у его кули. В любой стране мира его легко приняли бы за дикаря.

Он расхохотался: «Если маркиз умрет завтра, меня в таком виде едва ли пустят на его место».

Тут его взгляд снова упал на колонку частных объявлений. Куда он и воззрился с самым неподдельным изумлением.

887. Австрия — Джону. Возвращайся домой. Ф.

Роланд углубился в толкование.

¹ Откр. 14:13.

«Австрия — Джону? Что, черт побери, он может под этим подразумевать? Я должен узнать. Правда, три года в горах должны изрядно притуплять умственные способности. Возвращайся домой! Причем старина разместил объявление в газете 887 раз! Так вернемся же домой!»

Он подозвал начальника над кули, Саламу,¹ и был лаконичен, как всегда.

— Бас! Сафар хогайя. Панч роз-ка дхал-бат бана'о; Аскол-мен джелди джебне. (Довольно! Путешествие окончено. Возьми провианта на пять дней. Мы быстро идем в Аскол.)

И действительно, уже через час весь караван мчался вниз по склонам, без палаток и на более чем скудном рационе, как будто и вправду мог покрыть переход в пятнадцать дней всего за четыре. В Асколе Роланд Рекс рассчитал всю партию и в компании с одним только суровым ее начальником, очертя голову устремился через долину Бралду к Скарду.

2

ГРЯЗЕВОЙ ПОТОК

Роланд Рекс избрал хорошо известную тропу через долину, предпочтя ее сомнительному, хотя и кратчайшему пути через Скоро-Ла. Он дико хотел новостей, а местные слухи как раз донесли, что некий сахиб изволит восходить на Бралду по спортивному маршруту.

Они двинулись ему вслед жесткой дорогой.

Около полудня на второй день они наткнулись на слуг искомого джентльмена, как раз готовивших ему ленч. Узнав от них, что его самого они смогут найти где-то в часе ходьбы позади, они поднажали и вскоре нашли его сидящим на берегах той странной речки, состоящей, кажется, исключительно из грязи, что впадает прямиком в Бралду. Течение ее медлительно и ровно; напоминая в нормальную погоду по консистенции очень густую смолу, сей поток неумолимо продвигается дюйм за дюймом вперед, пока, наконец, не просачивается, взбивая бледно-янтарную пену, в серый Бралду и не теряется в нем.

¹ Салама Тантра — начальник восточной экспедиции Кроули.

Роланд Рекс давно уже износил свое английское платье до дыр; на нем был неизбежный тюрбан — наилучший возможный убор супротив что жары, что холода — в то время как остальной костюм представлял собою плод ручного труда яркандского портного. Неудивительно потому, что аборигены не признали в нем сахиба и приветствовать не потрудились; еще менее удивительно, что сам приречный сахиб последовал их примеру.

Он властно обратился к новопривывшим. Позабавленный подходом, Роланд расстарался на лучший свой «салам».

— Не путешествует ли или не охотится ли в этой *нале* какой-нибудь сахиб? — между тем спросил тот.

Роланд ответил, что слышал про парочку.

— Нет ли в округе Рекс-сахиба?

Роланд удивился и не скрыл этого; проказливый дух, впрочем, заставил его ответить отрицательно. Зачем он вдруг понадобился этому незнакомцу?

— Да ты лжешь, сын свиньи! — высокомерно заметил англичанин, приметив его мгновенное смятение. Нетрудно выбить из азиата правду при помощи такого нехитрого приема. Но Роланд и вправду смутился, а его визави, соответственно, расхрабрился.

— Вы — его носильщики! — безапелляционно заявил он. — Где вы бросили вашего сахиба?

Тут в игру вступил глава Роландовой партии, Салама-Тантра. Профессиональный лжец с более чем сорокалетним опытом, он в подобных ситуациях всегда был на высоте. Видя, что его господин по каким-то своим причинам желает пребывать инкогнито, старый седой охотник пустился в пространные рассказы о пережитых передрягах, начав ни с чего конкретно и закончив после череды поистине величавых выдумок заверениями в том, что сахиб послал их вперед с письмами, а сам решил вернуться через ущелье Гиспар с намерением посетить Хунзу и выйти к Гилгиту. Незнакомец, кажется, дал себя убедить.

— Я намерен к нему присоединиться, — заявил он. — Пусть мои носильщики заберут вашу почту, а вы пойдете со мной и проводите меня к вашему господину. Я рад, что встретил вас.

И с поистине королевской щедростью он выловил из недр своей охотничьей куртки несколько рупий и наделил ими довольных *шикари*.

Роланда так и озарило: письмо! Вот что ему на самом деле нужно.

— Нам не так приказали, сахиб, — промямлил он с поистине артистичным раболепием. — Нам велели доставить эти письма техсильдару Скарду и дожидаться у него кое-какого документа.

— Вздор! — отрезал тот. — Мои люди прекрасно смогут получить этот ваш документ. Никаких промедлений! И я каждому из вас дам по сотне рупий!

— Мы не можем послушаться приказа, сахиб, — Роланд бился в поистине живописном отчаянии, — господин нас накажет.

Незнакомец попытался разгневаться, но тщетно. Рекс сотоварищи бормотали что-то вежливое, умоляя разрешить им покинуть великодушное сиятельство, и потихоньку пятились к реке, которую в совершенно сухую погоду можно было пересечь по цепочке камней, набросанной поколениями местных селян.

Внезапно мелькнул английский револьвер и от скал эхом отскочил выстрел. Пуля, однако, всего лишь пронзила Роланду бедро.

Прежде чем палец снова коснулся курка, охотник ухватил стрелявшего за пояс и зашвырнул в медленно ползущий грязевой поток. Роланд кинулся было его спасать, но в мгновение ока был пойман, повален и придавлен к земле коленом старого буяна.

— Бесполезно, сахиб, — прошипели ему в ухо. — У нас нет веревок. Он пытался убить вас, сахиб, о, отец мой и мать.

Бедный старик был весь в слезах. С реки доносились крик за криком.

— Аллах так начертал, — резюмировал мститель. — Я видел знак смерти у него на лбу.

Напрасно Роланд грозил, приказывал, умолял. «Знак!», — твердо отвечал на все Салама и держал его еще крепче. Тут боль от раны решила, наконец, заявить о себе, и Рекс лишился чувств.

Негодяй в реке сыпал жуткими проклятиями, от которых содрогалась вся долина. Но и он тоже перестал бороться; вероломная трясина засасывала его все глубже, тихо уволакивая

вниз по течению. Свет знания, впрочем, озарил ему пролог к трагической гибели. Роланд, слабый и окровавленный, сел в объятиях верного слуги и прокричал ему вслед по-английски:

— Да кто вы такой, во имя Господа? И чего вам надобно от Роланда Рекса?

— Я безумен... я гибну... помогите, помогите же мне! — кричал злосчастный убийца. — Откуда ты знаешь мой язык?

— Я Роланд Рекс! Чего ты от меня хочешь?

— Будь проклят мой кривой выстрел! — возопил тот и ударился снова в бессвязный бред. Вскоре настало затишье:

— Я хотел получить награду! Великую награду! За весть о твоей смерти, дурак! Почти получилось! Успех был так близок!

И снова гнев пошел пеной у него изо рта; губы стали черны от крови. Течение в середине потока взяло его, наконец. Лежа, полуудушенный, в иле, он мог глядеть вперед и созерцать кошмар Бралду пятьюстами футами ниже по течению. Грохот заглушил его слабые вопли. В последний раз вспучилась река и забурлила жирной трясинной, и обнялась с ним, и густая тишина поглотила скорбную сцену. Когда он падал, рык бури прокатился по долине, и молния распустилась над раненым и его людьми.

Кровотечение меж тем прекратилось: рана была легка и поверхностна. Хромая от пули в бедре, дрожа от ужасной и таинственной картины, Роланд Рекс перешел предательский поток и вступил в абрикосовые кущи Гомборо.

* * *

Простершись на зеленом дерне в лунном свете, Роланд нянькался со своей раной; ее боль, а вместе с нею и яркие события дня, не давали ему уснуть.

Он вертел в голове шифр. Невнятность послания словно сговорилась с невнятностью событий. Но се воссиял свет!

— Австрия — Джону! Ага! — мысль его полыхнула огнем. — Айвенго! Дьявол спущен с цепи! Надейся на себя! Но тогда он должен был иметь в виду... о! но это невозможно. Надо подумать...

И мысли его устремились в прошлое, к странной истории его семейства.

ЖРЕБИЙ ЭРСИЛДУНА

Эван, четвертый маркиз Эрсилдунский, ехал себе верхом через парк. Стоял тоскливый ноябрьский день лет за семьдесят до начала этой истории. Он был человеком гордым, этот Эван, возводившим свое происхождение к Верному Томасу, наисвятейшему из бардов Древней Шотландии¹. Собственному своему дому предрек он славу и власть земную, но завершил пророчество такими странными строками:

Багряная звезда и месяц на ущербе
 Поведали мне истинную руну.
 Седое Солнце и дурак-бастард
 Отходную звонят по Эрсилдуну.

Обласканный королем Георгом и его советниками; прославленный в Веллингтоновых кампаниях; обладатель власти абсолютной, будто Божия, над милями земель, столь многими, что не хватит взгляда даже с самой высокой башни замка, и богатств, без ложной скромности, беспредельных, а еще четверых дюжих сыновей, чтобы подбодрить его старость, а затем и опустить сиятельный гроб в могилу — никому не завидовали так люто во всем белом свете, куда только достанет отважный солнечный луч.

И все же лик его был темен, уста — крепко сомкнуты, а рука судорожно сжимала рукоять кинжала на бедре.

Он спешился и, привязав коня к дубу, углубился в прогалину. Путь был путан, но знаком. Впрочем, даже чужак отыскал бы его по немолчной музыке водопада, манившей шаг. С высоты, из узкого своего русла поток прыгал в выдолбленную в камне чашу и, переполнив ее, катился дальше, с мелодией потише и препятствиями поменьше. Здесь маркиз помедлил немного, а затем выдул резкую трель из свистка. Немедленно, словно по волшебству, падающий занавес вод побелел и озарился, пронзенный неким светом изнутри. Сияние тут же

¹ Томас Рифмач, шотландский помещик и автор пророческих стихов, жил в XIII в.

померкло. Маркиз, однако, удовлетворившись этим, двинулся вокруг скального ложа бассейна. Скользкие камни, мшистые булыжники и коварные папоротниковые корни служили ему сомнительной подмогой на пути. Вот он прошел за водопад, и тропинка тут же стала легче. Дальше в пещеру, множество поворотов, и вот перед ним центральный грот, обширный и почти квадратный, вытесанный более человеком, чем природой. Прелюбопытного вида стол из желтой меди стоял посреди, и синее пламя изменчиво горело на нем. За ним высился человек впечатляющей мощи с лицом, скрытым под капюшоном вроде монашеского.

Он-то и обратился к ноблю.

— Кто ты?

— Эван Ду, маркиз Эрсилдунский.

— Где же твой брат-маркиз?

— Под вереском.

Секундная пауза.

— Позор! — добавил маркиз. — Неужели я пришел сюда, чтобы ты попрекал меня этим презренным скандалом? Я его не убивал.

— Не мечом, но пером. Где его сын-маркиз?

— Кто ты такой, чтобы защищать права этого незаконно-рожденного отродья?

— Я желал убедиться, что трус, совершивший это, в достаточной мере трус, чтобы лгать о свершенном.

Маркиз взял себя в руки.

— Ты пришел ко мне сюда, — продолжал тот, — потому что твое убогое дилетантство в ложной науке о звездах вселило страх в твою душу. Ты узрел пагубную планету, угрожающую твоему дому, и воззвал к помощи и мудрости Братства Розы и Креста.

— Но с нечистыми руками пришел ты, Эван Ду, — вскричал адепт, возвышая голос. — И трясина, с которой ты легкомысленно заигрывал, поглотит гордую твою главу. Ибо на сей раз собственное твое невежество преподало тебе урок, обычно несомый лишь знанием. Это рок Эрсилдуна! Сыновья твои умрут у тебя на глазах; дом твой падет, и все титулы и богатства отойдут королю. Я вижу, как умираешь ты, одинокий и бессловесный, умираешь долгие месяцы, и некому позаботиться о тебе.

— Я пришел, чтобы ты мне помог, — возразил Эрсилдун, — а не чтобы слушать твои проклятия. Ныне я удаляюсь.

— Стой! — велел адепт. — Что ты дашь мне за свободу?

— Покаяние, искреннее покаяние.

— Возместишь ли ты причиненный ущерб?

— Никогда! — полыхнул яростью тот. — Ибо мальчишка — подлейший из рода людского. Перед Богом клянусь, не стану я верить отродью братней крови.

— Тогда рок падет на тебя.

— И да будет так! Прощай.

И он отвернулся, готовясь уйти.

Стремительно адепт шагнул к нему.

— О, се человек, Эван Ду! — воскликнул он громко, хватая вельможу за руку. — Суждено тебе принять грядущее, ибо судьба есть судьба. Ни ты, ни я не повернем ее себе к выгоде. Но воистину ты не будешь страдать, ибо конец — в руках Его. *Vale! Frater Rosae...*

— ... *et Crucis!*¹ — заключил маркиз.

Безмолвно и охотно расстались они.

То, как исполнилось проклятие — уже достояние истории.

Во время охоты в грозу старший сын лорда, Малкольм, в поисках убежища был убит молнией на глазах у отца. Второй, Дункан, нырнул в море, когда все они пытались спасти команду с потерпевшего крушение корабля, и утонул. Айван, третий, скакал наперегонки с отцом, упал с коня и погиб. Энгуса, четвертого, свело в могилу уже само знание о проклятии. Обезумев от страха перед ним, он надел петлю на шею и выбросился из собственного окна в тот самый момент, когда маркиз вернулся из поездки в Лондон и, въезжая во двор, прокричал, приветствуя, его имя. После этого старик погрузился в меланхолию и затворился в траппистском монастыре, где и умер в безмолвии и одиночестве.

Правда титул и поместье перешли к кузену, лорду Барфилду — не к королю. Это предсказание так и осталось неисполненным.

¹ Прощай! Брат Розы... и Креста! (*лат.*).

Этот самый лорд Барфилд, унаследовавший титул и земли Эвана Ду, был пожилой джентльмен, нравом — затворник и ученый. Проведя много лет в Индии, он перенял скрытность и хитрость этого странного котла народов. Он был вдов; жена подарила ему троих сыновей и дочь. Последняя вышла за некоего мистера Рекса, а Роланд явился единственным плодом этого союза.

Маркиз вырастил сыновей для военной службы. Ничто не возмущало безмятежных его дней до самого Индийского бунта, когда эрл Баннокбернский по «титулу учтивости»¹, был убит под стенами Дели.

Вслед за известием с востока прибыл странный ящик из черного дерева и серебра. На нем красовалась резная надпись:

Лорду Барфилду с приветом
От маркиза Эрсилдунского.

Подняв крышку, он обнаружил, тщательно упакованную и забальзамированную в драгоценных пряностях, голову своего возлюбленного сына. Тайна сия осталась покрытой мраком, хотя он некоторое время тщетно искал к ней ключа.

Три года спустя лорд Артур, второй сын, учившийся русскому языку в Петербурге, в ажитации написал домой, что пал жертвой какой-то ужасной болезни. Старик честно кинулся за помощью к правительству, где и узнал, что «изучение русского» значило для Артура несколько больше, чем просто ознакомление с золочеными светскими пороками варварской столицы. Он поспешно отрядил в Россию своего доктора, мудрого старого друга семьи, на тот случай, если мастерство и ум вдруг окажутся полезны, но, увы, слишком поздно. Через месяц письмо принесло безнадежную весть: Артур сам свел счеты с жизнью.

¹ В Соединенном Королевстве титул учтивости используется сыновьями и старшими внуками пэров и представляет собой обычно один из второстепенных титулов отца (деда) для старших сыновей, либо «лорд» для младших. Права на пэрство и членство в палате лордов не дает.

Но что за странный кошмар! Вскоре доставили шкатулочку фантастической ювелирной работы. Внутри обнаружился пустой флакон из-под яда и бриллиантовый девиз:

Лорду Барфилду с приветом
От маркиза Эрсилдунского.

Старик овладел своим горем и впал в ярость.

Все свое время, все силы, все богатство и влияние он пустил на то, чтобы выяснить, кто же сплел для седой его головы этот венок из адских терний.

Кто был сей дьявол, прикрывшийся великими именем? Почему он так неотступно преследовал его? Если сила человеческая на что-то способна, если молитва не останется безответной, он узнает. О, он узнает!

Но нет, все оказалось тщетно. Наконец случайность приподняла покров тайны. Об этом в должное время узнаете и вы.

4

Рок неустанный

Стояло прелестное утро в самом начале октября, и птицы звенели могуче и многоголосо. Старый маркиз за радостями охоты почти позабыл о несчастьях семьи, сосредоточившись заместо них на великолепном аппетите — даре утренней забавы, и на роскошном обеде, ожидавшем партию возле ближайшей рощи.

Участников было немного. Лорд Адольф Доллимаунт, конечно, тот еще осел, зато его друг, Гай Пендрагон — образец превосходного юноши, какой только в силах выпестовать Англия. Воспитанность без снобизма, интеллект без педантичности пророчили ему великую роль в общественной жизни. Он вырос на континенте, где (судя по всему) его семейство — пользовавшиеся дурной славой якобиты — долго жило в изгнании, так что корни его, так сказать, уходили в весьма странную почву. Но с этим покончено, объяснял он. Англия и возможность послужить ей — вот единственное, ради чего стоит

жить. Кроме них был еще лорд Маркус Мастерс, последний из отпрысков дома, два пэра, министр кабинета и знаменитый хирург, сэр Джон Бастоу.

Гай Пендрагон шел в шеренге подле маркиза и, не по той прискорбной случайности, так по другой, оказался в какой-то момент слишком близко к нему. Внезапно птицы поднялись, и один превосходный самец-фазан прострекотал прямо между ними. Оба развернулись, но Пендрагон, не имея возможности выстрелить без опасности для соседа, убрал палец с курка и опустил ружье. Птицу снял маркиз.

Внезапно юноша споткнулся и упал. Ружье его разрядилось, и пуля попала в старого маркиза. Поднялась ужасная суматоха; все кинулись к нему на помощь. На отчаяние Пендрагона невозможно было спокойно смотреть. К тому же он, падая, растянул лодыжку.

Сэр Джон поспешно осмотрел раненого и объявил рану серьезной, но не безнадежной. Он оказал первую помощь, перевязал ногу незадачливому охотнику и позаботился о транспортировке пострадавших.

Обоих инвалидов повезли в дом. Даже страдая от боли, маркиз не сумел удержаться от улыбки, когда один из старых егерей, кипя праведным гневом, погрозил Гаю в лицо кулаком, шипя:

— Чертов дурак!

Поистине преданность слуг в древних домах вроде Эрсилдуна способна вернуть вам веру в человечество!

Вскоре сей достойный старик объявил, что несчастный случай стал для него слишком большим потрясением и что он намерен провести последние свои годы у племянника в далекой Вирджинии. Маркиз рассчитал его, и в должное время тот покинул поместье.

Пендрагон тоже выздоровел и отправился восвояси в Монте-Карло.

* * *

Это что касается человека; но тут вмешалась судьба, и одним взмахом Предвечных Крыл на стол была выкинута тщательно собранная полная покерная «рука».

Спасать дом Эрсилдунов выпало неизвестному анархисту. В его измученную и изболевшуюся от недостатка пищи и избытка дешевой философии голову пришло, что гибель нескольких ни в чем не повинных человек способна хоть до некоторой степени исправить вселенское зло.

Именно эта мысль и побудила его вытащить на полотно Марсельского скорого бревно и привинтить его к шпалам.

Поезд запнулся, сошел с рельсов; маленькая его вселенная рухнула в хаос слепой, бессмысленной агонии.

Молодой Гай Пендрагон кое-как выпутался из клубка раненых и погибших.

— Эй! — крикнул он оказавшемуся поблизости человеку. — Помогите мне спасти отца!

Флегматично и хладнокровно окликнутый незнакомец принял за дело (несмотря на довольно кроличью физиономию и смиренную потрепанную элегантность облика), и уже через час тяжких трудов часть хаоса была расчищена. Из-под обломков они вытащили седого джентльмена преклонных лет, почти при смерти, и перенесли его в подошедший сверх расписания дополнительный поезд.

Вслед за тем незнакомец вернулся к спасательным работам, которые отнюдь не мешали ему размышлять.

Кем приходился сей джентльмен Гаю Пендрагону? Отцом? Позвольте, каким-таким отцом, когда то был не кто иной, как старый егерь из Эрсилдуна!

Ну да, он все это прекрасно знал, так как давно уже начальствовал над детективами, нанятыми лордом Эрсилдуном для поиска убийцы его сыновей. И вот теперь! Непостижимо! Хотя, возможно, и не все. Некая идея пустила корешки у него в мозгу; он мрачно улыбнулся и пустился на поиски других ключей среди плачевных останков поезда.

В обломках Гаева чемодана он отыскал небольшую записную книжицу. Скучного ее содержимого вполне хватило натренированному уму: вся картина бесчестия распахнулась пред ним в своей наготе.

Зажужжал телеграф; к делу подключились власти; завывающего Гая Пендрагона оторвали от еще не остывшего тела родителя и поставили пред строгим взором английского правосудия.

Грейсон, он же лорд Гай Мастерс, он же Пендрагон, он же Шмидт, он же Ларош и прочая, и прочая, был проинформирован судом, что притязания его отца на Эрсилдунский маркизат в глазах правосудия оснований не имеют. Было ясно и безапелляционно доказано, что поименованный Гай пытался предательски, преднамеренно, по злему умыслу и насильственно лишить жизни одного из подданных его Величества, лицо высокого звания и общественного положения, пользуясь, более того, гостеприимством последнего; что в целях совершения этого убийства он вступил в преступный сговор со своим вышеупомянутым отцом; что все соображения сентиментального характера, столь красноречиво приведенные его адвокатом, вполне уравниваются тем фактом, что обвиняемый годами жил грабежом и мошенничеством; и хотя он (судья) сожалеет, что королевский барристер счел уместным провести связь между личностью обвиняемого и гибелью двух сыновей лорда Эрсилдуна, основного пункта обвинения более чем достаточно, и потому он, ни мгновения не колеблясь, приговаривает поименованного Гая пожизненно к каторжным работам.

Заклученный успел только крикнуть:

— Я лорд Эрсилдунский, милорд, и вам жизни не хватит, чтобы искупить свою вину! — но, увы, его увели.

* * *

Прошло девять дней, и Лондон все позабыл.

5

НЕПОЛУЧЕННОЕ ПИСЬМО

Да, Лондон все благополучно позабыл. В круговороте своих трехлетних странствий по Центральной Азии позабыл и Роланд Рекс. Теперь же, возлежа в лунном сиянии в абрикосовых кущах Гомборо, он созерцал мрачные волны всей этой истории, катившиеся перед его мысленным взором.

Дьявол вырвался на свободу? Маркус мертв? Нет ли какой связи между этими зловещими событиями? Что это

за странный сахиб, проехавший девять тысяч миль и проставивший жизнь на кон (хотя и вотще) только чтобы найти Рекса или похитить его переписку? Далеко внизу ревел Бралду, оплакивая таинственного убийцу, и Роланд эхом вторил вечной его тревоге, немолчной и бессмысленной панихиде. Прямо хоть в реку бросайся и пытайся вырвать у нее темную эту тайну!..

Наконец взошла заря. Бессонный и одеревенелый, слабый от потери крови, Роланд Рекс со своими верными *шикари* пустился по нескончаемой тропе через эту безнадежную долину на краю мира — вперед, к зеленым чащам Шигара и расчерканному вихрями круговороту Скарду.

Два дня адских мук: боль от раны, пытка солнцем, зверская жажда на пути, выющемся то вверх, то вниз меж голых каменных стен, но сверх всего — агония сомнений. Что ему теперь делать? Прошло два года и даже больше. Он понятия не имел, в каком состоянии дела. Ехать домой под именем Роланда Рекса, значит слепо шагнуть напрямиком в расставленные сети. Какой только воды с тех пор не утекло! Да еще в послании сказано «надейся на себя»...

Тут как раз их миновал какой-то местный житель, без поклона и слова приветствия. Роланд вздрогнул. Вот оно, недостающее слово мудрости! Он кажется туземцем, так туземцем же и останется. Что может быть проще! Ему даже в деньгах нуждаться не придется: можно выписывать небольшие суммы новому своему альтер эго, пусть оно зовется Хабиб Джу — первое имя, пришедшее ему в голову. Для этого вообще никаких ухищрений не нужно. Придется нелегко, но он разузнает достаточно еще до прибытия в Англию, а там уж тайно отправится в дедов дом — в Эрсилдун.

Они наняли плот из надутых козлиных шкур и понеслись по стремнине в Скарду. Там Роланд написал техсильдару, сообщая о намерении провести в Бралду Нала несколько ближайших недель и увещевая не тревожиться из-за распускаемых местными слухов о его, Роланда, исчезновении — их происхождение все равно необъяснимо.

Успокоив таким образом любопытство властей и загнав одну лошадь на Деосайских равнинах и еще двух — между Бурзиллом и Бандипуром, Роланд явился в Барамуллу, прежде чем вести о нем или том, другом сахибе, успели встревожить

ночной покой техсильдара, человека от природы ленивого, недоверчивого и тяжелого на подъем.

Поднявшаяся было, в конце концов, тревога почти так же быстро и улеглась. Нужно было еще измыслить правдоподобную, годную к употреблению историю о гибели двух сахибов, так что техсильдару пришлось сфабриковать лавину и предусмотрительно записать в число жертв не только двоих белых, но и тех из их слуг, которых, чего доброго, могли привлечь к расследованию, так что последние благоразумно решили залечь на некоторое время на дно.

Итак, полгода спустя новость о гибели Роланда Рекса достигла английских берегов.

Тем временем сей достойный муж демонстративно совершал паломничество в Мекку. В Джидде он, однако ж, ускользнул и на каботажном судне поднялся по Красному морю. В Каире он со всеми необходимыми предосторожностями открылся школьному приятелю в ставке командования и смог продолжить путешествие — с абсолютно бронзовым лицом, подстриженной иностранной бородкой и в костюме из шелковой саржи. Отсюда он, кроме того, смог телеграфировать отцу, что с ним все на самом деле хорошо. До сих пор он осмелился послать ему только одну телеграмму, составленную в таких осторожных выражениях, что получателю вполне можно было извинить полную несостоятельность попыток угадать, о чем же в ней, собственно, говорится.

Однако Роланд не затребовал у агента полученной на его имя корреспонденции, иначе бы он ни за что не пропустил нижеследующее послание, ожидавшее его больше двух лет.

«Мой милый Роланд, — писал его дед, — ужасные новости, ужасные новости. Я страшусь самых горестных бед. Молодой Грейсон бежал. Судя по всему, рабочая партия попала в туман, и он совершил внезапную попытку к бегству. Вся афера была дьявольски хорошо спланирована, так как ни следа беглецов найдено не было — за одним только исключением. Месяц спустя я получил небольшую бандероль из Лейпцига, в которой оказалась роба заключенного с превосходно вышитой шелком надписью:

Лорду Барфилду, с приветом от маркиза
Эрсилдунского. Просто на память.

Все как обычно! Лейпциг, конечно, лучше чем полное отсутствие информации. Одно мы теперь знаем наверняка: в деле замешана женщина. Очень надеюсь вскоре сообщить тебе более подробные и радостные новости. Я телеграфировал Акрайту — человеку, который поймал его в первый раз. Он должен сделать это снова.

*Твой любящий дед,
Эрсилдун.*

P.S. Ежедневно помещаю объявления в разных газетах. Твои перемещения так неопределенны... Только по счастливой случайности письмо это попадет тебе в руки. — Э.

P.P.S. Бога ради, милый мальчик, береги себя. Маркус уже три месяца как женат, и до сих пор никаких детей».

Не получив на письмо никакого ответа, маркиз больше не писал. Запершись в Эрсилдуне, он читал допоздна, и все на одну только тему. Как криминалист он не знал себе равных. Сидючи у себя в замке, он управлял многочисленной армией сыщиков — но, увы, безрезультатно.

Грейсон снова пропал.

6

ОТЕЦ АМВРОСИЙ

Эрсилдун искал Грейсона, не только чтобы отомстить за уже погибших сыновей, но и чтобы уберечь еще живого наследника. Лорд Маркус Мастерс был нежный юноша с религиозным складом ума. Женился он, лишь дождавшись безапелляционного повеления отца, да и то за пределами своего класса — на племяннице приходского священника Эрсилдуна, поведшей его к алтарю, будто овцу на заклание. Безропотная и благочестивая, будто гибрид богомола с мышью, о мирском она и не помышляла. Старого маркиза это несколько

не печалило: Маркусу, полагал он, будет куда безопаснее в часовне, чем в бальной зале.

Так и текла их мирная овечья жизнь; их буколик не тревожили никакие пламенные «*Formosum pastor Corydon ardebat Alexin*»¹. Сама идея страсти была им чужда. Пониманием любви они обладали чисто, так сказать, вербальным: Каролину Мастерс до крайности возмутило бы пожатие мужниной руки.

Если бы старый нобль о том догадался, то наверняка вышел бы из себя. Однако Артуровы дебоши в Петербурге укрепили в нем решимость сохранить Маркуса в невинности, а холодность Каролины... ну что ж, таково редкое злосчастное стечение обстоятельств, какое не всегда предвидит и мудрейший из мудрых.

По мере приближения к зрелости пыл религиозный в них все более замещал собою задор продолжения рода. День ото дня Маркус с супругой становились все ближе к Христу, так что, в конце концов, каждый час был у них расписан не под то послушание, так под другое. Гостили у них бродячие евангелисты; дружбу они водили с обращенными атеистами, а врагами почитали воображаемых иезуитов.

Одним прекрасным летом до наших берегов докатилась слава некоего отца Амвросия, рекомендовавшего себя не иначе как монаха-отступника из бенедиктинского монастыря в Форт-Августусе. Убежденный протестантской истиной, он (вроде бы) был предан мученичеству, сравнимому разве что с Поликарповым,² и, в конце концов, сумел бежать, в обстоятельствах, приводящих на ум, по меньшей мере, Павла и Дамаск.³ Заявление настоятеля монастыря, что поименованное лицо никогда в жизни у них не монашествовало, возымело мало веса в глазах тех, кто, подобно лорду Маркусу Мастерсу, знал, сколь двуличны дьявол в частности и католическая религия вообще.

Из города в город неслась слава юного обращенного (полумонашеское одеяние и остатки тонзуры лишь добавляли пикантности его персоне) — да что там! скакала, будто

1 «Пастух Коридон страстью воспылил к пригожему Алексису» (лат.) — цитата из второй эклоги Вергилия, имеющая гомоэротическую окраску.

2 Святой Поликарп (ок. 70—156) — ученик Иоанна Богослова, епископ Смирны, заживо сожжен за отказ отречься от Христа.

3 Будущий апостол Павел отправился в Дамаск, дабы доставить оттуда христиан на расправу, но по пути услышал глас Божий, на три дня ослеп, а уже в Дамаске был исцелен христианином Ананией и принял крещение.

сигнальный огонь с горы на гору. Он, кто в Глазго голодал всего с дюжиной измызганных слушателей, в Манчестере уже славно обедал, а после под крылом пресвитера проповедовал тысяче энтузиастов в каком-нибудь местном Вефиле¹. В Бирмингеме крупнейший городской зал не смог вместить всех желающих его послушать. В Лондоне все сумасброды всех сект кряду объединились, чтобы приветствовать его. Новое Возрождение было у всех на устах. Даже мальчишки на улицах вовсю свистели припев к его Искупытельной Песни, выглядевший примерно так:

Спасение есть в Иисусе!
В Иисусе!
Спасение есть в Иисусе для тебя
И меня!
Спасение есть в Иисусе для всех!
Спасение есть в Иисусе, спасение в Иисусе,
Спасение в Иисусе для тебя
И меня!

Остальные — и весьма многочисленные — строфы отличались друг от друга только вписанными замест «спасения» другими похожими словами, вроде «искупления», «милости», «воскресения», «бессмертия», «славы» и прочая, при, не могу отказать себе в удовольствии заметить, ничтожно малом внимании к таким языческим явлениям как размер и рифма.

Ни одно общество в мире не увлекается своими психами так, как лондонское. «Отец Амвросий» мог бы с легкостью загоститься практически у любой герцогини в королевстве, однако, когда к концу длинного и достославного сезона, с сорванным горлом и рекордным мешком уловленных грешников за спиной, он получил от врача категорическое предписание отдыхать, то принял не чье иное приглашение, как лорда и леди Маркус Мастерс.

Полный покой и отдых, велел ему доктор; *совершенно никакой светской жизни!*

¹ Вефиль (Бейт-Эль) — один из главных городов древней Иудеи, чей храм составлял конкуренцию Иерусалимскому. Был и еще один Вефиль, на юге Иудеи; упоминается у Иисуса Навина.

Оставим на мгновение эту любопытную троицу и перенесемся в Альберт-холл, к концу последнего из его собраний.

— Нет ли у этого человека брата? — смиренным голосом спросило некое кроликолицее неопределенное, относящееся, впрочем, по всей видимости, к человеческому роду.

— Заверяю вас, нет, — отвечивал собеседник, который вполне мог бы быть живодером в отставке.

— Но тогда это должен быть он сам! — настаивал первый. — Этот голос, эту жестикуляцию я ни с чем не спутаю. Лицо совсем не то, понятное дело, но...

— Конечно, лицо — это важно, но, говорю вам, я подобрался к нему близко, очень близко. До самого «тела славы», как они это называют, и он целых двадцать минут молился вместе со мной.

— В полном свете?

— В совершенно полном. Тем не менее, не могу поклясться, что лицо не настоящее.

— Ну-ну, полноте! — вставил первый даже с некоторым упреком.

— Не могу и все, сэр! — настаивал тот. — А вот в чем таки могу поклясться — это глаза. Глаза никому подделать не дано.

— Ну, и?

— У того они были серые, светло-серого оттенка. А у этого — странного, темного переливающегося пурпурного, совсем как у кота.

— Это меняет дело, разумеется. И все же... хотел бы я чувствовать себя совершенно спокойно.

Тут вмешался третий, легонько коснувшись его руки.

— Новости сэр, — сказал он. — И престранные.

— Да? — тот обернулся со стремительностью змеи.

— Завтра отец Амвросий покидает Лондон.

— Я и так это знаю, Смизерс, — отрезал тот.

— ... и едет к лорду и леди Маркус Мастерс.

— К черту вас с вашими глазами! — возопил кроликолицый в крайнем волнении, — ах, извините Джексон. Я имел в виду *его* глаза. Тут явно что-то назревает, помяните мое слово. Скорее в контору, сегодня же нужно разработать новый план.

И они удалились с места действия порознь, причем Джексон тихо костерил начальника, называя его мечтательным идиотом, отдающим интуиции предпочтение перед голыми фактами.

ПРАКТИЧЕСКИЙ БУКВАЛИЗМ

Невзирая на все усилия веселого детектива и его галантного штата — а, может быть, именно благодаря их неусыпной бдительности — не произошло ровным счетом ничего. Лорд Маркус, правда, стал еще набожнее и сумрачнее; у него стали случаться странные припадки плача, немало тревожившие его милую жену; странный румянец вдруг бросался ему в лицо безо всякой очевидной причины. Он стал брюзглив и недобр к деревенским детишкам, забывавшим приученно ему улыбаться. Он начал пренебрегать внешним видом.

— И если правая твоя рука, — вскричал он как-то раз, когда его упрекнули в жестоком избииении собаки (Боже, как непохоже на нашего милого Маркуса!), — соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя! Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. А если моя собака соблазняет меня?

Отца Амвросия эти сцены самым искренним образом огорчали. Его влияние — и лишь оно одно! — судя по всему, могло успокоить несчастного богомола. И все же их собеседования, казалось бы, поначалу совершенно благотворные, оставляли по себе некое глубинное раздражение. Лорд Маркус начал проявлять к жене отвращение и презрение. День ото дня настроения его становились все более неустойчивыми.

В один прекрасный день леди Каролина отвела отца Амвросия в сторонку и предположила, что некие меры медицинского характера, вероятно, смогли бы облегчить его муки. Добрый малый, однако же, воспретил всякое мирское вмешательство в «чудодейственный труд Господа нашего над душой человеческой».

— Поверьте, дорогая леди, — сказал он ей, — дорогой наш Господь прекрасно знает, как и когда привести нашего дорогого Маркуса к чудесному свету Своему.

Чем она охотно и удовольствовалась.

Как видите, пока что ничего открыто скандального.

Вскоре, впрочем, случилась кульминация, и вот какая.

Как-то в праздник лорд Маркус изволил бродить по деревне в обычной своей бесцельной манере. В уголку дети играли во что-то со своими старшими братьями и сестрами. Игра была в фанты или вроде того. Лорд Маркус мрачно глазел на них, почти не видя, и сокрушался только о том, что дети тратят время на всякую дурь, вместо того чтобы оплакивать прегрешения какого-нибудь унылого Вефиля.

Тут собрание захлопало в ладошки. Пышная девица нарушила какое-то правило или провалила испытание и теперь должна была уплатить штраф по фанту. Торжественный приговор судьи гласил:

Во имя Петра и Андрея, Анны и Марии
Ступай поцелуй парня, что всех красивее!

Все аж завьли от смеха. Девица, хихикая, хитрой украдкой приблизилась к пребывавшему в беспамятстве Маркусу, обвила ему шею руками и запечатлела громкий поцелуй на его губах.

Маркус выпал из грез, со всего размаху вlepил ей пощечину и припустил прочь по улице, вопя:

— Анафема! Анафема! Анафема!

Визжащая девица, истекая кровью из разбитой перстнем-печаткой губы, кинулась в другую сторону, будто увидала Сатану. Отрезвленные дети прекратили игру и принялись плакать. Кое-кто из парней швырял вслед ненормальному камнями; кто-то даже бросился вдогонку, выкрикивая довольно грубые ругательства. Он, однако, помчался, как заяц и быстро заперся у себя в дому. Три дня он никого не видел. Наконец, отец Амвросий, готовившийся отплыть в Америку, чтобы начать и там великое возрождение, настоял, что им необходимо попроситься.

Добрый малый нашел своего благородного покровителя в кровати, с лица будто смерть, но со странным светом в глазах.

Что именно случилось, никто не знал. Бывший монах в пепельно-бледном виде пришел засвидетельствовать почтение леди Маркус. По нему было видно, что он пережил нечто необычайное.

— Не тревожьте его, — сказал он только. — Кризис миновал. Ваш муж великий святой!

Впрочем, американский крестовый поход так и не разгорелся. То ли проповеднику не хватило кремня, то ли слушателям — кресала, но спустя жиденькие две недели возрождение сдулось. Амвросий объявил, что нуждается в наставлении Господнем: что-то, видать, не так с личной его святостью, раз всемилостивый Боже более не видит его достойным Своих планов. Одним словом, он исчез, и никто не знал, куда.

А что же маркиз?

Из Лагоса ему доставили постыдный, омерзительный, гнусный пакет — сам безымянный ужас. На обертке значилось:

Лорду Барфилду с приветом
От маркиза Эрсилдунского.

8

ЧАСОВНЯ ВОЗМЕЗДИЯ

Маркус Мастерс так и не оправился от потрясения.

Чахотка захватила его ослабленную оболочку в безжалостные свои когти. Менее чем за год он зачах.

Для престарелого маркиза Эрсилдунского враг превратился в кошмар, в инкуба, в манию. Бедный старик дрожал от каждого шороха. О чем они шепчутся? Что хотят от него спрятать? Какую-то новую беду? Что этим людям нужно у него в доме? Кто они такие? Лорд Барфилд боялся даже собственных ищеек.

Тень проклятия тяжким бременем легла на дом Эрсилдунов.

Некий доверенный слуга, которого он знал и любил еще с детских своих лет, задолго до того, как принял роковой маркизат, составлял ему ежедневную компанию. Ревниво и пристально изучал он каждого посетителя некогда великого дома, ныне павшего и заброшенного. Маркизу не было дела. Даже исполинское древо фамильного состояния уже было изрядно подточено содержанием почти что регулярной армии. В каждой стране мира его люди неустанно искали следов беглого преступника. За голову Грейсона была объявлена награда в десять тысяч фунтов, и все же ему, казалось, угрожала не большая опасность, чем принцу Чарли, окруженному лучшими сердцами Шотландии.

Девять десятых истории уже ставили под сомнение. В худшем случае Грейсон уже просто где-то умер. Гадкая жизнь и гадкая смерть. А почему нет? О нем уже годы и годы никто не слышал. Люди мудрые и разумные заявляли, что отец Амвросий, конечно, не имел с молодым Грейсоном ничего общего. Маркиз — просто сумасшедший старик, развалившийся семейный феодал по камню и шарахающийся от каждой тени.

Детективы охотно подтрунивали над этим. Когда кто-нибудь простужался, говорили, что до него снова добрался Грейсон. Похороны в полицейской среде уже называли просто «грейсонами».

Мрачным хохотом, должно быть, наполнилась душа этого странного человека, за чем бы он там ни охотился.

Увы! Умолк великий дом Эрсилдунов. Ничья нога больше не ступала за эти врата. И подобно тому, как плющ затягивал стены замка, проклятие смыкалось над всеми сердцами его обитателей.

И поэтому долго и рьяно вглядывался старый сторожевой пес маркиза в глаза причудливого бородатого субъекта в турбане, постучавшегося как-то вечером с черного хода и попросившего провести его к маркизу.

Естественно, он ему отказал. Тогда индиец снял сандалию и вытащил запрятанный между слоев кожи клочок бумаги. Весьма узнаваемым почерком Роланда Рекса — такого долгожданного и так давно! — на ней было начертано:

«Хорошие новости обо мне — устно!»

Подозрения старого слуги, однако, на том не улеглись. Грейсону, этому демону из демонов, хватило бы ума замаскироваться и под ангела.

У маркиза на этот счет оказалось другое мнение.

— Давай его сюда! — вскричал он.

Какое-то предчувствие подсказало ему, что словам можно верить.

Упрямый старец принял все меры предосторожности с мудростью генерала. Он повел посланника по темному коридору и там, споткнувшись, сумел украдкой ощупать его на предмет спрятанного оружия. И даже приведя его пред самые

Эрсилдуновы очи, немедленно взял под огонь собственного пистолета.

Старый маркиз поднял голову.

— Ты принес мне вести о внуке? — спросил он на хиндустани.

— Самые наилучшие! — был английский ответ, и Роланд Рекс, скинув тюрбан, шагнул вперед и поцеловал дрожащую руку деда.

Словно каменный бог, лишенный уже всяких чувств, древний вельможа в словах холодных и сумрачных поведал ему жуткую историю Маркуса.

— Идем! — сказал он затем, вставая.

В конце комнаты обнаружили высокие двери, укрытые шторой из черного бархата. Странная часовня скрывалась за ними. На стенах ее висели портреты умерших Эрсилдунов. Над алтарем, осиянным свечами, пламенел ужасный лик Господа, Бога гнева и отмщения, грозного Судии, по воле которого дети ответят за грехи отцов.

На алтаре же, завернутые в черное, красовались страшные трофеи проклятия, каждое в своем ларце, каждое с сардонической надписью. В пустом ковчеге лежал свиток. «Доколе, Боже мой, доколе?»

Роланд содрогнулся. Ужас этого места раком вгрызся ему в душу. Проклятие, наконец, дошло до его разума. До сей поры все эти старые несчастья были как будто бы не совсем реальны. Мало что значили для него эти памятники адской вражды. Ныне же он сам стал мишенью страшных этих стрел. Безграничный ужас сковал его. Даже старый дед мог быть ему врагом, устрашающей аватарой недремлющего зла.

Роланд опустил перед алтарем и замер, воздев руки к небесам.

Некоторое время прошло в молитве. Затем он встал и поклялся, что с помощью божьей искоренит это чудовище, вырвет его из недр честной земли, оскверненной его беззакониями.

Старый маркиз молчал, полностью его одобряя. Вместе вышли они из часовни, сопровождаемые гаснущим эхом обета.

Много часов провели они в безотрадных, бесплодных беседах; много дней потратили на опрос детективов и составление новых планов кампании. Единственное, что полезного сделал

Роланд, так это проштудировал все отчеты, боясь упустить хоть один ключ.

В конце концов, он пожал плечами.

— Несчастный случай уже помогал нам, — сказал он. — И может помочь снова. Но никто не должен знать, что я все еще жив. Я проникну в темные безымянные чертоги, где обитает Грейсон. Думаю, есть один человек, что сможет помочь нам — тот, кто приговорил его в свое время. Судья Лейкок.

9

Судья Лейкок

Господин судья Лейкок был тот еще лошадиник. Его знаменитая четверка была в сезон одной из достопримечательностей Парка¹. Если вне сезона он изволил упражнять нуждающуюся в практике руку в Сент-Джонс Вуд² посреди ночи, а также и за закрытыми дверями дома — что ж, это целиком и полностью его дело, а вовсе не наше.

Очень он был веселый старый джентльмен.

Роланду Рексу не хватало его в клубе. Ему было некуда себя приткнуть. Большой и сильный, он успел устать от трагедии. Четыре года он не вкушал перезрелых плодов Лондона, но и запускать зубы в твердое кислое яблочко тоже расположения не имел.

Он развлекался с типичным для усталого человека усердием к удовольствиям; закатывался в Павильон³ и выкатывался из него; торчал бессловесно на тротуаре у «Скотта»⁴ — минуты шли, как часы — слишком тупой, чтобы хоть куда-то пойти.

1 Имеется в виду Гайд-парк, популярное лондонское место светских прогулок.

2 St John's Wood — «Лес святого Иоанна», некогда действительно лес, принадлежавший рыцарям ордена св. Иоанна Иерусалимского, а в описываемую эпоху — дорогой пригород Лондона, застроенный в основном виллами.

3 Павильон — здание на углу Шефтсбери-авеню и Ковентри-стрит, где в описываемую эпоху помещался фешенебельный театр мюзик-холла.

4 Вероятно, имеется в виду знаменитый лондонский рыбный ресторан «Scott's», открытый в 1851 году на Хаймаркет-стрит, а 1893-м переехавший на Ковентри-стрит, где и обрел известность.

Для того, кто пал так низко, в мире остается лишь одно убежище — «Континентал».

Только поставьте ногу на ступеньку *этой* лестницы, и можете быть уверены: не за горами и дно!

И действительно вскоре после полуночи он вырвался из пьяной круговерти — сам лишь слегка воодушевленный светом, смехом и алкоголем — ценой объявления себя рыцарем и защитником от поругания некой прекрасной девы со слишком натуральным румянцем ланит, слишком ровными зубами, слишком холеными волосами, слишком белыми плечами, слишком хорошо вылепленными грудями и в целом слишком щегольски одетой, чтобы здоровый мужчина невольно не заподозрил в ней скрытую монструозность.

Рыцарственность его манер растопила замороженную нерешительность красавицы; по прибытии к ней домой она попросила его задержаться на несколько мгновений.

Донесшиеся изнутри звуки ребячливого хохота убедили его, что можно не бояться побеспокоить домашних, так что он без колебаний последовал за дамой, которая вытащила ключ и проскользнула внутрь.

Он же с быстротой гадюки отпрянул.

— Ради бога, постойте, любезнейшая, — прошептал он, ухватив ее за бесценные брабантские кружева рукавчика, — вот как раз тот, человек, которого я желал увидеть. Если и он видит меня, с играми покончено!

В проеме виднелся господин судья Лейкок собственной персоной. Он только что запрыг четверку прехорошеньких девиц, взнуздав их синими лентами, и теперь правил ими вверх и вниз по лестнице, постегивая кнутом и трубя время от времени в свисающий с шеи рог.

Говорят, будто Архимед, открывши принцип рычага, выпрыгнул из ванны с «эврикой» в качестве единственной дани привычному облачению философа. Столь же гениальная идея, надо думать, посетила и ученейшего судью — причем с тою же внезапностью и силой. Но если для кучера костюм судьи и мог бы в некотором роде показаться несообразным, то никто не решился бы упрекнуть в том же его упряжку, которая воспроизводила всем привычные костюмы лошадей с самой скрупулезной точностью.

В общем, Роланд благоразумно водворил свою драгоценную персону в фешенебельный вест-эндский отель с намерением рано поутру попытаться расспросить судью прямо у него в конторе.

Тот, однако, туда не явился. Спустя час бессмысленного ожидания Роланд укатил обедать в «Савой», а после — к себе.

Часа в четыре в глаза ему бросился заголовок:

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СУДЬИ,

— а под ним кратенькая заметка (злонамеренно тщившаяся убедить читателей, будто бы газета и вправду владеет хоть какой-то информацией), которая расшифровывала, что пропал именно судья Лейкок.

— Ослы! — захихикал Роланд с высоты высшего знания. — Кто-нибудь просто удрал с одеждой старикана шутки ради! И поджарю же я его на этом огоньке!

К десяти часам история набрала и чудесности и ужасности. Одна газета утверждала, что судью видели в Фолкстоне¹; другая — что он умчался в Париж к одру больного сына по срочному звонку и т.д. Все эти домыслы втоптало в грязь официальное заявление, что его честь никуда не девался, а находится у себя, прикованный к постели легчайшим из всех возможных недугов, и почти наверняка будет на работе завтра утром. Восхитительная эта ложь была так незамысловата, что даже Роланд поверил ей.

Прошло два дня.

Он узнал только, что «недомогание господина судьи Лейкока оказалось несколько серьезнее, чем ранее предполагалось, так что его лечащие врачи вынуждены были рекомендовать больному полный покой в течение недели. Для беспокойства нет ровным счетом никаких причин».

Мало кто обратил внимание, что все это никак не объясняло первоначального объявления судьи в розыск; как и того, с какой стати бесчисленные незнакомцы принялись вдруг звонить на квартиру судьи; как и того, почему в некоторых частях

¹ Город в графстве Кент.

метрополии развернулась необычайно активная деятельность Скотланд-ярда.

В следующее воскресенье «Рейнолдс» уже вопрошал жирным шрифтом

«ГДЕ ЖЕ ЛЕЙКОК?».

Роланд ни на йоту не приблизился к ответу на этот животрепещущий вопрос, когда у его дверей внезапно зазвонил колокольчик, и инспектор Скотланд-ярда в сопровождении какого-то маленького кроликолицего человечка попросил о частной беседе.

— Я по поводу дела того судьи, Лейкока, — начал инспектор. — Должен вас попросить сохранить наш разговор в абсолютной тайне, сэр, но он, видите ли, совсем не болен. Он и вправду пропал. Ушел из клуба в девять часов в прошлую пятницу, и с тех пор его никто не видел.

— Еще как видел! — радостно возразил Роланд. — Я сам его видел в час ночи (и должен вас попросить сохранить наш разговор в абсолютной тайне) скачущим на отличной четверке вверх и вниз по лестнице в доме номер 40, Румыния-стрит, Сент-Джонс Вуд.

Инспектор аж присвистнул.

— Это мы здорово продвинулись, — сказал он. — В общем, этот вот джентльмен [он указал на кроликолицего] утверждает, что есть определенная связь между этим делом...

— ... и вот этим, — закончил тот, выступая вперед.

— И что заставляет вас так думать?

— Данный пакет адресован лорду Эрсилдуну, сэр, и, боюсь, я узнаю почерк.

Говоря это он явственно дрожал.

— Вы в полной мере представляете здесь его светлость, если я правильно понимаю. Между нами, сэр, эта посылка, полагаю, может стать большим потрясением, так что мы взяли на себя смелость отложить ее вручение адресату.

— И поступили совершенно правильно, — мягко сказал Роланд.

— С вашего разрешения, сэр, мы откроем ее здесь и немедленно.

Инспектор разрезал бечевку и сорвал обертку. Их взорам открылась прекрасная шкатулка из черепахи с изумительной золотой филигранью.

Кроликолицый поискал пружину.

— Соберитесь, сэр, — резко сказал он.

Крышка открылась. Перед ними был человеческий язык. Потрясенному воображению зрителей померещилось, что он еще теплый и едва не шевелится.

Инспектор, впрочем, довольно быстро пришел в себя.

— Глядите! Глядите!

И, о, да, на внутренней стороне крышки красовалась надпись золотой гравировкой:

Язык, меня приговоривший.

Лорду Батфолду с приветом

От маркиза Эрсилдунского.

Они стояли, словно вросши в землю. В этот скорбный миг раздался мерзкий сигнал телефонного аппарата. Роланд кинулся к нему — не столько чтобы ответить на звонок, сколько чтобы заставить его замолчать. Его остановил голос, суровый и громкий.

— Мистер Гробс?

— Нет... да, да, конечно! В чем дело?

Это был псевдоним Рекса. Естественно, перед лицом судьбы он позабыл все свои уловки, вдохнув дуновение преисподней.

— Инспектор Мэггс с вами, сэр? Могу я говорить с ним?

Роланд передал трубку.

— Я Мэггс. Вы кто?

— Иннес. Старая мадам Жински создалась. Она здесь. Можете приехать?

— Безусловно. Вешайте трубку.

— Вы поедете с нами, сэр? — спросил он. — Ваши показания могут оказаться чрезвычайно полезны, чтобы выбить правду из мадам Жински.

Роланд взял шляпу. Все теплее и теплее, но пока не горячо.

МАДАМ ЖИНСКИ

Мадам Жински была Фобур Сен-Жерменом¹ лондонского дна. О, некогда она была великолепно и сумела сохранить и внешность, и гордость. Сделав первый шаг, она теперь вся полнилась рвением кинуться в объятия правосудия и обильно смазать скрипучие колеса колесницы закона.

Дело, впрочем, оставалось довольно темным. Объяснить предстояло не только наличие трупа одного из судей Его Величества — трупов было два, и второй принадлежал дитяти, которому и самый свободомыслящий циник не дал бы пятнадцати весен.

Полиция принялась обнюхивать все кругом еще в утро убийства, которое было обнаружено лишь в одиннадцать часов: не имея ни ответа, ни приветия от своего именитого гостя, мадам Жински заглянула в глазок комнаты и узрела два мертвых тела и жуткие потоки крови — уже остывшей и свернувшейся — на полу.

В таком признаешься без труда, даже если рискуешь ненадолго отправиться на каторгу — никогда не знаешь, что еще выкинет эта полиция! Впрочем, тешила себя надеждой мадам Жински, до суда дело не дойдет.

А вот что инспектор действительно хотел знать, так это кто еще был там прошлой ночью.

От этого мадам тоже отбилась достаточно бойко, хотя и рисковала средствами к существованию. Полицейские оказались правильные, из тех, что не станут мешать бизнесу порядочной честной женщины. Видит бог, она уже имела случай быть им полезной, и неоднократно.

Они точно не скажут клиентам, что она их выдала. Ну, и, к тому же, самый неприятный вопрос ей так и не задали: какие дамочки у нее были там в это время. Ну, помимо обычных.

Знал ли инспектор, кто это сделал? Возможно, и знал, думала она. Это вам не какое-нибудь обычное преступление.

¹ Парижский квартал на Левом берегу, бывшее аристократическое предместье.

Да, с ней все будет отлично. Они никогда не повесят на нее эту малышку — на такое ей всегда было что ответить! Да, она сыграла трусливую дуру, что не помчалась напрямиком в полицию тем ужасным утром, когда тысячи более чем глупых ходов отчаянно заметались в ее старой прожженной голове. Нет уж, наверное, будет лучше дать им разобраться самим. Полицию это тоже вполне устраивало.

— Мистер Фитцджеральд на два слова, сэр! — вмешались с порога.

Мистер Фитцджеральд был лучшим другом судьбы Лейкока.

— Есть новости, инспектор? — негромко спросил он.

— Боюсь, самые наихудшие, сэр.

— Мертв?

— Да, сэр, и еще чего похуже.

— Вы с ума сошли? Что может быть хуже?

— Убит, причем так, что окажись Грейсон сейчас у меня в кабинете, я не рискнул бы и пальцем его тронуть. Это невыносимо сэр; такой стыд для полиции. Вам, сэр, предстоит рассказать обо всем его жене — крепитесь, сэр. Мы должны вести себя как мужчины. Но... вам еще нужно увидеть то, что он прислал нам сегодня.

И он молча подал черепаховую шкатулку.

— Итак, джентльмены, — вмешался кроликолицый, вместе с Роландом присоединившийся к ним на пороге. — Этот Грейсон до сих пор вообще не делал ошибок — за одним только исключением. Он любил своего отца, и это стоило ему двух лет на каторге. Больше такой глупости он не повторит. За эти тридцать лет на его счету накопились все возможные преступления, от мелких краж до убийства, и попался он всего однажды. Возьмите же его, наконец!

И малыш скрипуче рассмеялся.

Им это явно подействовало на нервы, всем и каждому. Словно какой-то рок был против них.

— Я поеду к леди Лейкок, — коротко бросил Фитцджеральд. — Вам же, инспектор, я скажу только одно: есть еще на небе бог.

Инспектор только пожал плечами.

Они вернулись к восхитительной мадам Жински, которая к этому времени уже совершенно освоилась. Пробудь она даже

десяток лет кряду королевой английской, и то не смогла бы вести себя с большей величавостью.

Черты внешности гостей ее заведения были для мадам неистощимым источником тем для разговора. Но тут инспектор ее прервал.

— Кстати, кто была та малышка?

Но мадам Жински и тут оказалась на высоте.

— Инспектор Мэггс, — торжественно молвила она, — я вам даю слово, что это не имеет никакого отношения к делу, и настоятельно рекомендую, чтобы вы прекратили расспрашивать.

— Гм...

Инспектора это почему-то не убедило.

— Вся эта афера будет, без сомнения, замалчиваться, и вы это знаете так же точно, как я! — безмятежный старый голос ее продолжал журчать. — Я вам расскажу по этому поводу одну маленькую историю.

— Вот еще вздор! — отрезал инспектор, но не тут-то было.

— Знала я одного очень умного полицейского в Вене — и неважно как давно это было! — который впутался в дело навроде этого. Этот молодой человек нацелился на действительно великого преступника — одного из самых бесчестных венских негодяев — но ровно в ночь перед арестом приснился ему весьма любопытный сон...

— Да ну? — подивился инспектор. — Нам тут в Лондоне сны не снятся, мадам!

— Лучше вам все-таки про это знать, — сумрачно отрезала та. — Так вот, этому молодцу приснилось, будто бы он ищет в глубокой грязи значок суперинтенданта. Вот он его уже нащупал, схватил — глядь, а это королевская корона. Докрасна раскаленная корона, и она его обожгла! А это была просто служанка, которая принесла ему воду для бритья, да и коснулась его руки горячим кувшином, чтобы разбудить. Бреючись, он думал, а пока он думал, преступник сбежал из Австрии. И с тою же самой почтой, что принесла эти дурные новости, пришли и другие, поутешительнее — что его назначили суперинтендантом. Все прямо как ему снилось.

— Забавно, правда? — заключила она, хихикнув.

— Инспектор — человек остроумный, — заметил Роланд. — Ступайте теперь и повторите ваш анекдот его светлости

маркизу Эрсилдунскому. Вот увидите, инспектор, это дело не удастся замять так же гладко, как остальные. Увидимся позже. Прощайте!

И он был таков.

— Можете идти, мадам, — устало сказал инспектор. — Мы всегда знаем, где вас найти... и я крепко об этом подумаю.

— Хорошего вечера вам, джентльмены! — и мерзкая тварь выплыла из конторы с видом герцогини.

Предоставленные сами себе, эти двое дружно вытащили трубки. Они уже приканчивали по первой, когда кроликолицый разомкнул уста.

— Знаете, что я вам скажу, Мэггс, — молвил он. — Если бы здесь у меня вдруг оказался Грейсон, я бы придушил его на месте, и плевать, что будет после.

Инспектор протянул ему руку.

— И не раздумывая, — только и сказал он.

КРОНПРИНЦЕССА

Чем больше Мэггс об этом думал, тем меньше Мэггсу это нравилось. Обоснованность Эрсилдунова возмущения просто обязана была перевесить сомнительные угрозы старой ведьмы с Румыния-роуд. В конце концов, она, может быть, и блефует. На том он и порешил вкопаться в это дело с еще большим, чем обычно, рвением.

Увы, как выяснилось, дело против этого возражало.

Все улики были какие-то путаные; у каждого имелась история, простая и честная; никто при этом ничего не видел и не слышал. Из пяти или шести резвых молодых хлыщей, состоявших завсегдатаями дома, ни один не походил на разыскиваемого Грейсона. Каждый был пригож, крепок, здоров и благонадежен — такими юношами гордится Англия. Каждый жил почтенной и честной жизнью, которую можно было проследить до самой колыбели.

Всем им детектив был откровенно безразличен; все заявили, что не видели и не слышали ровным счетом ничего и еще

того менее. Только один, мистер Сегрейв, личный секретарь кронпринцессы (именно так все ее и звали), выразил желание сотрудничать.

— Видите ли, инспектор, — сказал он, — по причинам частного характера я бы очень желал прояснения этого вопроса. Вы встали на совершенно ложный след. Мужчины старухи Жински и так всем хорошо известны. Займитесь лучше-ка женщинами.

— У меня имеется совершенно определенная информация, — возразил на это Мэггс, — что преступление совершил мужчина.

— Или женщина по его приказу. Вы умный человек, инспектор Мэггс, но если вы упустите женщину, вас станут называть Мэгготс¹. Займитесь женщинами.

— Вам что-то известно, сэр?

— Я мог бы вам назвать двух-трех, которые точно были в доме той ночью — но не стану. Вы с легкостью все узнаете из других источников и...

— Спасибо! — воскликнул Мэггс. — Переделывать фамилию пока что нет никакой нужды. Вы сказали мне достаточно.

И тут-то его и видели.

«А ведь был в этом деле еще один Сегрейв, — думал он про себя. — Ну да, конечно. Капитан Сегрейв, убитый Роландом Рексом в той лавине. Но великий боже! Мистер-то Рекс живехонек. Где же в таком случае капитан Сегрейв?»

Ах, эти лживые официальные отчеты! Возможно, истинная правда всей этой истории невдомек и самому мистеру Рексу.

Будучи спрошен, Роланд тоже не счел факты достойными внимания полиции и отболтался от инспектора общими местами официальных благоглупостей.

Нежелание откровенничать он, впрочем, вряд ли сумел бы объяснить даже самому себе. Возможно, это в немалой степени объяснялось шоком от всего произошедшего. Как бы там ни было, он решил держать язык за зубами, лишив инспектора поистине бесценного ключа. Тот предоставил юного Сегрейва самому себе и сосредоточился на других ниточках. Ах, если б он только знал, что юный Сегрейв, подобно серебряному клубку Ариадны, способен привести его к самому адскому сердцу этого лабиринта.

¹ От англ. «maggot» — червяк, опарыш.

Молодой человек тем временем отправился к своей госпоже исполнять секретарский долг. Кронпринцессу знала и любила вся Англия. О постыдном поведении ее злого мужа хорошо если догадывались, но одной позорной сделки, отказ заключить которую стоил ей трона, вполне хватило, чтобы превратить ее в идола того низкого и непристойного класса английского люда, который любит считать себя непорочным и щедрым.

Даже разведенная, она внушала уважение и преданность и двору, и толпе; и если, как намекали некоторые гнусные сплетники, она и искала в других местах утешения, в котором отказывал ей социальный организм, это целиком и полностью было ее личное дело. Не то чтобы ни один порядочный человек не стал бы принюхиваться к вдруг донесшемуся дуновению скандала; но парочку личностей даже довольно чувствительно отхлестали конским хлыстом и за меньшее, чем порочащие слухи.

Госпожа ждала секретаря, возлежа на роскошном диване в тигровых шкурах и серьезно куря сигарету долгими, глубокими затяжками. В жилах ее было больше восточной крови, чем австрийской; более того, чистая татарка сквозила ясно, как полдень, в ее гибких жестах и дикарском лице.

При виде Сегрейва она встала. Росту в ней было полных шесть футов; с телом сильным и грациозным, как у леопарда — слишком даже изящным, чтобы держать вес великолепной ее головы, полумонгольского типа с длинными сонными глазами и бровями, густыми и черными, будто ворон; с носом, скорее вздернутым, чем прямым, и выступающими, как у животного, ноздрями; с алою щелью рта и тончайшими губами, увенчанными черным пушком; с зубами сильными и выдающимися, с квадратной и знаменательной челюстью. Щеки были впалые и вместе с остальным лицом сияли той грубой мертвенной синевой (оживляемой лишь пурпуром двух родинок на подбородке), какую встретишь только в Восточной Европе. Все это красовалось на могучей основе; само положение головы на хрупких плечах подчеркивало великий размер — не говоря уже об ослепительных волосах. Сверкающие, крошечного иссиня-черного оттенка, они стекали и извивались вокруг нее

бесчисленными кольцами. Впору подумать, что твоим глазам предстала сама Медуза со всеми ее змеями!

И все же чудо и ужас головы ее мгновенно померкли, стоило ей заговорить. Словно дальний нежный колокольчик донес до слуха дуновение Зефира. Невелика была громкость этого голоса, но велика сладость звука.

Так и сонный нектар ее длинных раскосых очей, горящих глубоко в скалистых твердых скулах и бровей, утекал прочь, уступая нектару души.

Вот подлинное чудо, когда нежность и истина мадонны сияют с неистовой силою сквозь такой темный покров! Но так оно и было. Маленькие дети бежали скорее поцеловать ее безобразное лицо. Когда она улыбалась, распаивалась целая вселенная красоты — а улыбалась она всегда.

О, и хитра же красота, лукаво спрятавшаяся в отвратительном! Так стояла она на тигровых шкурах, с телом, обвитым в льнущие водопады алых и серебряных блесток, вполсвета, на фоне глубокой лазури стенного ковра — и ждала.

МИСС АРУНДЕЛЛ

— Мистер Сегрейв, — молвила она наконец. — Сегодня утром у меня для вас писем нет. Зато есть поручение, довольно трудное — скорее, даже абсурдное, но, заверяю вас, имеющее чрезвычайную важность для моих интересов. Прошу вас, пойдите в город и купите у первого же торговца скобяными изделиями молоток и три длинных французских гвоздя. С ними отправляйтесь на Гилдфорд-стрит, что возле Рассел-сквер. Там на заборе вы увидите афишу со словами «APPLE SOAP»¹. Будьте так любезны вбить по гвоздю в центр каждой буквы «Р». Лучше будет оставить мотор на углу. Затем идите, не медля и не оглядываясь, к машине, езжайте в Брайтон и бросьте молоток с конца дамбы в море. Оставьте на земле вот это зашифрованное послание и возвращайтесь. Приходите на службу завтра утром в это же время.

¹ Яблочное мыло (англ.).

Секретарь поклонился и пошел к дверям.

— Пошлите ко мне мисс Арунделл, когда будете выходить, — добавила она. — Я хочу, чтобы мне почитали.

Через несколько мгновений дверь тихо отворилась, и вошла Эйлин Арунделл.

О, что за контраст своей госпоже составляла эта честная английская дева! Ни коротка и ни длинна, но самого стройного сложения; нежная, прекрасная фигура увенчана самым утонченным на свете личиком. Да, определенная пикантность в выражении, но в целом великолепная открытость и искренность бесстрашного взгляда изобличали в ней полное отсутствие кокетства. Губы не слишком полные и не слишком алые; изогнутые но, опять же, не чрезмерно; и так прелестно мал весь этот ротик на изящно вырезанном лице с румянцем, вечно пылающим на сливочной томности щек. Глаза были серые с оттенком голубого; волосы — того чистого прозрачного золота, из какого ангелы вяют струны своим арфам.

Они с госпожою любили друг друга, словно сестры-близнецы; нежная невинность одной дивно сочеталась с прозорливым добросердечием другой. Тонкие чары безобразной принцессы чудесно оттенялись чистой прелестью ее милой компаньонки.

Итак, принцесса Стефания приветствовала подругу с самой страстной нежностью, после чего опустилась обратно на ковры.

— *Je suis épervée!*¹ — сказала она. — почитай мне из Флобера. Нет, из Бальзака. Но только не эту ужасную «*Peau de chagrin*»², моя красавица. Почитай мне лучше «*La Fille aux yeux d'or*».³

Эйлин было знакомо это настроение. Она молча нашла книгу и, усевшись на краешке дивана возле изысканных ножек принцессы, принялась переключивать на мелодичный голос вдохновенные строки великого волшебника Турени.

— Эйлин, — молвила Стефания по истечении часа, — сегодня утром придет старый мистер Джукс. Я ожидаю крайне важных новостей о том перспективном займе, и потому прошу, чтобы меня никто не беспокоил. Ты запрешь двойные двери и проследишь, чтобы к ним никто не подходил. Ты же

1 Я расстроена (франц.).

2 «Шагреновая кожа» (франц.).

3 «Златоокая девушка» (франц.).

понимаешь, что стоит хоть единому слуху об этой сделке просочиться в Сити, и вся схема рухнет. И где мы тогда будем искать твое милое маленькое состояние? — добавила она в конце уже куда более игриво.

— Ты и правда собираешься это сделать, Стефания, дорогая? — пролепетало робкое дитя. — Ты мне правда дашь ценных бумаг на тысячу фунтов? Не верится, что в целом мире есть столько денег.

— Ты их вполне заслужила, котенок! — засмеялась принцесса. — Ты была нам чрезвычайно полезна, уверяю тебя. Кто стал бы подозревать, что мой котенок ведет переговоры о схеме, от которой, узнав о ней, ахнут все четыре столицы? Ступай, моя милая, и проследи, чтобы мистер Джукс прошел незамеченным.

Красавица поцеловала госпожу и выскользнула из комнаты.

Предоставленная самой себе, Стефания спустила с привязи целую бурю враждующих страстей. Она металась по дивану, словно бы страдая от телесной муки; она зажгла сигарету и тут же отшвырнула ее; она пробовала читать, но ее тут же оттолкнуло скудоумие автора и его неспособность пролить свет на сиюминутное ее замешательство. Она даже попыталась молиться перед сумрачно освещенной иконой в маленькой нише на востоке комнаты, но и у мадонны не нашлось для нее утешения.

Пароксизм, к счастью, оказался недолгим. Дверь медленно отворилась, и перед нею предстал старый финансист. Створки за ним тут же закрылись, и Стефания услышала шелест платья и поворот ключа во внешнем замке. Она сама заперла внутреннюю дверь и повернулась с приветствием к гостю.

Мистер Джукс был согбенный старик выраженного еврейского обличья; глаза его так и сверкали из-под косматых бровей. Двигался он, чуть прихрамывая, и опирался на прочную трость из дубового дерева.

Стефания закрыла окно шторами.

Консультация вышла долгая и напряженная. Когти противоречивых чувств разрывали принцессу — о, хищных этих тварей, издавек чующих останки мертвой души!

Что за ужасное горе оглушило ее? Что за жестокие страсти двигали ею?

Как хладная сосредоточенность высоких финансов может допустить нечто столь с нею несочетаемое?

Старого еврея тоже не оставили равнодушным странные события, о которых ей пришлось ему рассказать. Гнев и ужас сжимали события огненной хваткой. Лишь слепящему блеску фантазии дано было влить новые силы в утомившуюся изобретательность.

Они говорили долго и громко. Шли минуты, голоса постепенно теряли напор. Понадобился, однако, час, чтобы беседа сникла до доверительного шепота. Смещение двух этих выдающихся умов, вознесшихся над личными интересами, породило колоссальный шедевр интриги.

Тихо и тайно — как и пришел — старый еврей покинул покой. Эйлин вернулась к госпоже и подруге и обнаружила, что утреннюю апатию и скуку сменили восторг и свежие силы.

— Ты читала мне Бальзака, милая, — сказала принцесса. — А я, в свою очередь, расскажу тебе историю — страннее сюжета ему и в голову бы не пришло. Прежде всего, у меня есть для тебя добрые вести. Некий молодой джентльмен, которого мы обе знаем, вовсе не умер и сейчас находится в Лондоне.

Эйлин так и вспыхнула от радости.

— Но есть, увы, и плохие новости. У него и его семьи имеются враги, смертельные и могущественные — и они хотят его крови.

Девушка побледнела, но храбрости не утратила.

— Я твой друг, — продолжала принцесса, — и мы найдем способ их победить.

Две женщины с нежностью обнялись; дитя угнездилось в объятии сильных белых рук.

Повесть о семейных бедах, рассказанная принцессой своему верному вассалу, отчасти уже была известна. Но некоторые события — и из самых ранних, и из совсем недавних — еще оставались покрыты мраком.

Конечно же, длинная эта история представляла собою лишь неполный и пристрастный отчет о событиях. Мы лучше поймем ее, если попробуем обозреть ситуацию с точки зрения безличной и беспристрастной, отправившись в прошлое на сотню лет, к тому поколению Эрсилдунов, что предшествовало Эвану Ду.

КОРЕНЬ ВСЕХ БЕД

Много лет назад Джон, третий маркиз Эрсилдуна, породил от жены своей, Маргарет, двоих могучих сыновей. Старший, Дугал, оказался парнем диким и неистовым. Его больше прельщало странствовать с цыганами и возить кружева и французский коньяк с контрабандистами, чем вырабатывать положенный ноблю поверхностный лоск, да кланяться и расшаркиваться среди золоченого подхалимажа двора. Старому маркизу и дела не было — вот она, добрая бешеная кровь предков. Если мальчику угодно рисковать жизнью, что с того?

Дикость, однако, со временем лишь росла; наследник странствовал, исчезая на год и более кряду. Старый маркиз занимался своими делами и если и беспокоился, то лишь самую малость.

Но тут безумства достигли апогея.

После многомесячного отсутствия Дугал возвратился в самый канун Ламмаса¹, и не один, а с чернобровой девчонкой из Бретани в качестве законной супруги.

Тут образовался узел, который так просто не разрубишь: верующий католик обязан был чтить церковное благословение. Единственное что оставалось лорду — молиться, чтобы смерть поскорее прибрала девку. Неделю гостили они в замке. Молодая чахла от изысканной пищи и роскошных нарядов. Вела она себя как шлюха — да ею и была: бесстыдной и дерзкой, и развязной даже с лакеями. Мужу ее было на все наплевать; целыми днями он надирался в гербовом зале, срамя кров своих предков, пока его леди, почти такая же пьяная, возилась и развлекалась с кухонным мужичьем.

Тогда старик, сильно разгневавшись, выгнал их прочь к таким же отверженным как они, и проклял собственный дом, чтобы сын его вовек не переступал этого порога.

Минул год. Эван, парень добрый и воздержанный, делал все, что мог, дабы смягчить владевшие отцом горе и стыд. Но, увы, этого было недостаточно. В остальное время он разъезжал

¹ 1 августа, один из руральных праздников Годового Колеса.

по уделу и старался научиться всему, что потребно для должного исполнения обязанностей магистрата.

Как-то зимней ночью по дороге домой он увидел зарево над рыбацкой деревенькой на морском берегу. Пришпорив коня, он помчался туда. Банда контрабандистов, судя по всему, как раз выгрузилась на берег и теперь бражничала, празднуя успех. Веселье вскоре перешло границы, и в безумии своем они шутки ради подпалили хижину какого-то рыбака. Огонь, как водится, распространился; рыбак поднял тревогу, а когда контрабандисты не дали ему потушить пожар, набросился на них. Прибыв на место, Эван увидел побоище во тьме, озаряемое судорожным мерцанием горящих хижин. Он вступил в бой; длинный его меч быстро нашел себе дело по нраву. Разбойники бежали — все, кроме одного, который размахивал выхваченной из огня головней и сладострастно бился ею направо и налево. Двое встали лицом к лицу; двое узнали друг друга.

— Дугал! — вскричал первый.

— Проклятый Иаков! — отвечал второй, затем рассмеялся. — Пришел твой час, старина Эван!

И он поднял свою палицу, готовясь нанести удар.

Но тут рыбак кинулся вперед и вонзил ему в горло складной нож. Неистовый лорд Дугал пал, не успев ни вздохнуть, ни охнуть.

Смерть уняла бурю. Ветра и тучи пришли на помощь и водворили мир. Ливень рухнул с грохотом, затушив остатки пожара. Во тьме стоял Эван на коленях у мертвого тела брата.

Смерть искупила все. Дугала отнесли в замок и похоронили по-лордски. Жизнь его все позабыли, помнили лишь высокое рождение.

Прошло четыре года. Старый маркиз упокоился с праотцами. Эван Ду унаследовал Эрсилдунский феод. И еще двенадцать лет пролетело. Эван женился и стал отцом великолепных сыновей.

Повсюду царил мир. Земля процветала. Но беда лишь ждала своего часа. В сотне миль оттуда, в горах ютилась старая ведьма-сквалыга. И вот пришли вести, что ее ограбили и убили. За убийцей гнались по пятам, готовясь вот-вот взять его. Буквально день спустя после того, как Эвану сообщили

об этом, он по обыкновению ехал верхом через парк. Вдруг старуха и мальчик бросились под копыта коню.

— Спаси меня, дядюшка! — закричал юнец.

Эван признал братнину жену.

— Вот сынок лорда Дугала! — рыдала она. — Лорда Дугала, подло убитого в битве с тобою!

Целую сеть лжи соткала она, повествуя о причинах бедственного своего положения, и Эван, всегда винивший себя в злоключениях брата, поспешил спрятать их в той самой пещере за водопадом, где позже встретился с розенкрейцером, своим наставником. Змей пригрел он на своей груди. Когда шумиха по поводу убийства стихла, Эван со всеми предосторожностями переправил беглецов в Америку. Они же через некоторое время вернулись и нанесли удар. Силой закона решили они лишить своего благодетеля маркизата. Но Эрсилдун прознал, что спас от виселицы не кого иного как убийцу старухи (пусть даже и ведьмы), и был полон решимости оставить свое при себе.

— Дик был Дугал, да глуп, — вскричал он, — но не настолько, чтобы произвести это адское отродье, пусть, говорят, и в супружестве рожденное.

И послал он доверенного слугу к священнику, обвенчавшему брата, и хитростью и деньгами добился, чтобы запись в церковной книге изменили. Богатство и влияние положили претендентов на обе лопатки. Отцовство Дугала объявили недоказанным. А доказанным — то, что за два года до гибели баба бросила его и ушла к одному вору по имени Грейсон, за которого благополучно и вышла. Этот брак и признали законным, а тот, предыдущий — нет.

Эван победил, но чувствительная его душа так никогда и не успокоилась. Он искал утешение в науке о звездах, в обществе святых и мудрых людей. Его допустили к послушничеству в таинственном братстве Розы и Креста. Это, возможно, примирило его с собственной душой — но могло ли оно отворотить рок Эрсилдуна?

Как мы уже поняли, он подчинился проклятию и возложил упования свои на Господа.

Но подобно тому как третья возгонка алкоголя всегда чище первой, хотя вор Грейсон был субстанцией весьма водянистого толка, а его шлюха — просто испорченным ребенком, сын их

с молодых ногтей рос убийцей и предателем, в котором кипел истинный гений. Поборов свои ранние заблуждения (то бишь жалкое и мелочное убийство старой женщины ради горстки скопленных за жизнь грошей), он сумел достичь в своих беззакониях поистине выдающихся высот. Еще в юные годы он сколотил в Новой Англии состояние, проявив самое фарисейское лицемерие и чванливое бесчестие, за которые жители этой части света справедливо прославлены в веках.

В тридцать пять он сдал свою теперь уже бесполезную старуху-мать в работный дом, женился на единственной дочке главного богатея Чикаго, родил здорового сына и приготовился посвятить остаток жизни восстановлению права первородства.

Год он провел в Лондоне. Опытнейший юрист убедил его, что на закон нет и малейшей надежды. Тогда будем действовать силой, решил он и спустил с упряжи много лет томившиеся под спудом детские страсти. Зловещий план вышел в полном доспехе, потрясая эгидой, из недр его могучего, но дявольского разума.

Все его взлеты и падения читателю уже известны, не исключая и той непревзойденно ироничной шутки, которую бойко сыграла судьба на северных подступах к Марселю, где великий анархист пал от руки ничтожнейшего из его племени.

ЦВЕТОК ЗЛА

То, что было мечтою отца, стало надеждой сына. Имея средства, достаточные чтобы содержать целую банду исполнительных мерзавцев, он без труда организовал себе побег из тюрьмы и обеспечил сотню надежных убежищ. Пригожий и обольстительный, с умом тонким и быстрым, он умел подчинить своей воле многих из тех, кто оставался неподвластен чарам золота. О, он был достаточно проникателен, чтобы сразу понять: единственный шанс вернуть себе былую славу — не просто довести до конца жуткую месть родителя и низвергнуть дом Эрсилдуна, но добиться такого влияния среди власть

предержащих, чтобы настоящим интересом самой Англии стало отретушировать его преступления и усадить поскорее на желанное кресло.

Именно этой цели он отдал самые планомерные усилия. Немало высокопоставленных дам было готово броситься в его объятия — вернее, в объятия одной из его многочисленных личин, которые, сколь бы мастерскими они ни были, не могли полностью спрятать одного — сущностной силы и гениальности этого человека. Впрочем, он выбрасывал их так же быстро, как заводил. Месяц чтобы подчинить новый разум; месяц проверить пределы его влияния и счесть их недостаточными, и день чтобы избавиться от него.

Наконец ему посчастливилось встретить и покорить ту, что целиком и полностью отвечала его амбициям. Какими таинственными рычагами она владеет, он не знал; довольно было и того, что он владеет ею. Именно через нее он сумел отыскать такого человека, как капитан Сегрейв, и проникнуть под ничтожнейшим номером 163 в его банду головорезов. Именно благодаря ей Эрсилдун впал при дворе в немилость и открыто именовался сумасшедшим.

Твердое убеждение, что Грейсон — не только настоящий маркиз Эрсилдуна, но и полностью неповинен в возводимых на него преступлениях, постепенно возобладало в близких к трону внутренних кругах. Разумеется, ему удалось привязать к себе эту женщину смертельнейшими из уз. Мало помалу он увел ее с путей чистых на куда более грязные; в конце концов — о, венец всех кошмаров! — он заставил ее совершить преступление ему в угоду. Так, по крайней мере, думал самозванец; но даже самые законченные преступники далеко не всегда бывают правы. Возможно ли, чтобы из любви к нему она совершила деяние, при одном только виде которого самый закоренелый злодей побледнел бы? Не она ли заманила Лейкока навстречу року при помощи невинной приманки, зная о его отталкивающей алчности к девической чистоте? Неужели она не спасовала бы взять в руку нож и сделать то, что — осмелся кто-нибудь предать сей поступок гласности — поразило бы ужасом целый мир?

Кто бы на самом деле ни был в нем повинен, никто не рискнул предать дело огласке. Газеты на голубом глазу сообщили,

что недуг господина судьи Лейкока принял неожиданно серьезный оборот; что воспоследовала пневмония, а причиной смерти стало слабое сердце. Едва ли дюжине человек стала известна ужасная тайна; хорошо если еще десяток подозревал некий заговор, притом непонятно какой. Все уста были запечатаны — какие интересом, а какие и страхом.

Что же Мэггс и его решимость вывести дело на чистую воду? А что он мог поделаться против официальных источников и свидетельства о смерти? Он угрожал — причастные лишь улыбались. Он наскочил даже на леди Лейкок, умоляя отомстить за мужа — и, разумеется, подлакировав его проступок. Она выслушала его благосклонно, просила приходить еще. Но прежде новой встречи чрезмерно ретивый детектив получил тихий выговор от официального начальства и в тот же вечер обнаружил в почте приглашение в Милан, организовывать деятельность полиции в этом славном городе (за весьма немаленькое жалование).

И что ему оставалось, кроме как сложить оружие? Напрасно Роланд Рекс, с которым он украдкой встретился в последний раз, убеждал его продолжать расследование. Взятки и мольбы тоже не возымели никакого эффекта: с Мэггса было уже довольно, и он с легким сердцем укатил в Италию.

Только одна надежда оставалась у павшего дома Эрсилдунов: Роланд был еще жив и мог отомстить. Западня грозила вот-вот захлопнуться — один лишь этот лев мог еще сломать ее. И эта единственная надежда могла тоже испариться, заподозри Эрсилдун, что о Роландовом спасении стало известно его могущественным и безжалостным врагам.

Даже имея пред собою все доказательства, не понимали они всего могущества этого всепроникающего, неслыханного ума. Они вкусили лишь пены с адского этого варева; донный осадок еще ждал впереди.

Ибо пока незаконнорожденный маркиз лежал в своей берлоге в Лондоне, тайно злорадствуя о последнем чудовищном ударе своей ненасытной ненависти, черная его душа лелеяла план, чье величие превышало все его предыдущие замыслы.

Один мастерский удар, один глоток высшего злодейства, и вся проблема будет решена, что с одной стороны, что

с другой, довершив рок Эрсилдуна вдобавок к смерти еще и позором.

Но как? Что за ужасную, темную точку опоры предусмотрел он для своего рычага? Что за приманка, что за угроза приведут все к плачевному концу? Разве не доказал Евклид, что две пересекающиеся окружности не могут иметь одного центра? Ах, но ведь геометрия — это не жизнь.

И вот в то самое мгновение, когда Роланд потянулся к юношеской мечте, узрев в ней последнюю надежду, ядовитые уста ложного Эрсилдуна выплюнули имя — «Эйлин Арунделл»!

ЛЮБОВЬ И ХУЛИГАНЫ

До сей поры авантюра не требовала от Роланда дальних разъездов. Он рыскал по лондонским притонам порока; он яхшался с гнуснейшим преступным отребьем; он льстил своим вниманием всем старым вурдалакам, пирующим на погосте английского юношества. Он даже кое-где выдавал себя за члена Грейсоновой банды — но все было тщетно. Вскоре он обнаружил, что не только не выследил покамест свою дичь, но и, напротив, самым искусным образом оказался выслеживаем сам. Пренеприятное ощущение — всякий, кому довелось преследовать раненого тигра в чаще джунглей, со мной согласится.

Как-то раз с лесов на него вдруг упала куча кирпичей, но, к счастью, разлетелась, так что он отделался несколькими ссадинами. На другой день его кэб свернул не туда и принялся кружить по странным улочкам, прежде чем он осознал сей необычный факт. В конце концов, Роланд все равно выбрался, но ценой потасовки с каким-то хулиганом.

Затем последовало еще несколько инцидентов подобного рода. Ему и в голову не пришло, что все это могли быть неуклюжие военные хитрости, что Грейсон, оказись он так настроен, мог без труда убрать его с дороги. Нет, об этом он не подумал, а лишь приписал свое спасение воле Провидения и удвоил меры предосторожности.

Впрочем, долгие поиски ему уже опротивели. Если бы не ужасные свидетельства присутствия архизлодея, он и сам бы поверил в его смерть.

«Я пойду на риск, — сказал он сам себе, — и откроюсь Возлюбленной!»

Ибо если б тень проклятия Эрсилдунов не пала на него, юность Роланда вполне можно было бы назвать идиллической. Мальчик и девочка.. он боготворил Эйлин Арунделл.

Что же пролегло между ними, как не злой этот рок? Дед отвел его в сторонку и поведал о родовом горе. С того дня он отдалился от нее и бежал прочь, в неизведанное, как будто мог там найти забвение. А что же она? Она так и не узнала, почему — да и откуда ей было узнать? Ему не хватило доверия к себе даже сказать «прощай», так что вся скорбь оказалась похоронена у нее глубоко в сердце. Вскоре после этого умер старый полковник Арунделл, оставив ее практически без гроша. К счастью бывают на свете друзья вроде принцессы — благодаря ей, Эйлин ни в чем сейчас не нуждалась.

Размеренная страсть Сегрейва вызвала в ней лишь холодное презрение, зато верность — хотя и всего лишь воспоминаниям — по случаю спасла возлюбленному жизнь. Как именно, узнаете в свое время.

Но как открыться своей красавице, не посвятив при этом в тайну весь свет — вот задача потруднее, чем даже само это решение довериться ей. Высока вероятность, что великое и святое счастье увидеть его снова живым тут же сметет какая-нибудь ужасная и непоправимая катастрофа. Но другого пути он не видал. Ее влияние на кронпринцессу могло бы вернуть фавор Эрсилдунам, могло бы вновь запустить колеса властной машины — на сей раз на их стороне. О, да, воистину! И тем важнее, чтобы бесхитростная чистота ее и вера каким-то непостижимым образом проникли под гадостную маску, так долго отращавшую от него богатство, здравый смысл и силу.

В ее честности Роланд не сомневался, однако, последние события заставили его усомниться даже, страшно сказать, в почтовой службе, этом последнем оплоте британской веры.

И вот когда он сидел в своей крошечной комнатушке в Степни, где прятался с тех самых пор, как упорные покушения на его жизнь убедили Роланда, что фальшивая лавина

никого не обманула, и враги снова встали на след и уже дышат в спину, проблема разрешилась сама собою и самым причудливым образом.

С улицы внезапно донеслись взрыв грубого хохота и какие-то непристойности, затем вскрик гнева, за которым последовал нарастающий шум и гам. Он выглянул: великий Боже! — объект его грез, его возлюбленная Эйлин стремглав мчалась по улице, пылая щеками, преследуемая вопящей толпой юных забияк — этими цветами общества и нашими завтрашними повелителями (дело за малым — чтоб идеалы Кира Харди¹ одержали верх над смятенной человечностью).

В мгновение ока он был у парадной двери и распахнул ее, что есть сил дуя в полицейский свисток.

— Сюда, мисс Арунделл! — вскричал он.

Она сейчас же его узнала и послушалась. Минуту спустя с полдюжины хулиганов уже растянулось на мостовой, остальные испарились. Не тратя на них более ни секунды — мрачно подтягивающаяся к месту происшествия полиция сумеет позаботиться о юношестве — Роланд вернулся в дом и обнаружил Эйлин без памяти на ступенях лестницы.

С легкостью он поднял ее к себе в комнату и привел в чувство. Некоторое время оба молчали; напряженность тишины все нарастала и нарастала. Ни слова не говоря, не бросив ни взгляда, он подчинил ее одною чистою волей. Все еще скованная страхом, она глядела на него, и тошнотворный недуг под названием «личность» постепенно покидал ее; восторг внезапно затопил деву волною и вырвался наружу криком: «Роланд, ах, Роланд!» — и вот она уже рыдает у него в объятиях. Ближе и ближе привлекал он ее к себе; голова его клонилась — быть может, в молитве? верю, что да... Вот он приблизил лицо ее к своему...

Солнце во славе своей проглянуло сквозь ливень; сладчайшие девственные уста разгорелись вопреки себе. Слово не успело сорваться с них — они поцеловались.

Час спустя Эйлин Арунделл — мощью любви совсем новая женщина и вдобавок с кольцом его матери на пальце, уже захлеб пересказывала свои приключения.

¹ Кир Харди (1856—1915) — шотландский социалист и первый независимый лейборист в Парламенте Соединенного Королевства.

Сегодня утром принцесса послала ее с письмом в одну из многочисленных христианских миссий, предлагая огромный свой особняк местом лекции об Ист-Энде — немало богатых и благородных слушательниц (и экзальтированных вдобавок) грозило собраться на нее. Едва бедняжка успела выполнить свое поручение и взять курс на дом, как дюжина мальчишек откуда ни возьмись вдруг кинулась ей вслед, выкрикивая гадости. Она не дала себе труд обратить внимание; они напирали, распаяясь, принялись ей угрожать. Наконец один похрабрее и покрупнее, сорвал с нее шляпу. Она обернулась с резким словом — ее ударили, сильно, жестоко. Она позвала на помощь и, не дождавшись ее, пустилась в бегство.

Тут ее и увидел Роланд. За неуклюжими попытками врагов сокрушить его неизбежно должно было последовать что-то более утонченное. Вероятно, для начала они умертвили бы девушку прямо у него на глазах. Слепая мука наполнила его; ощущение беспомощности, подобное тому, что охватывает человека при сильном землетрясении, поглотило его душу.

Если и оставалась у них хоть какая-то надежда — так это на могущество и разум принцессы. О, да, они отправятся к ней и расскажут ей все, всю эту странную историю — конечно, она будет тронута. Она поможет, она спасет. И все же Эйлин колебалась. Не навлечет ли это и на нее опасность? Хватит ли у нее власти, хватит ли положения, чтобы избегнуть злой участи? И та рука, что низвергла судью и маркиза — остановится ли она перед принцессой?

Но, с другой стороны, разве сами такие сомнения — не оскорбление? Не вспыхнет ли стыдом лик благородной дамы, как только она об этом услышит? О, нет, преступление — сомневаться в ее почти совершенной божественности. Простит ли она Эйлин, если хоть одна печаль этого детского сердца укроется от нее? Когда Роланд исчез, когда отец ее умер — чье сострадание поддерживало в ней жизнь? Когда пришли ложные вести о Роландовой смерти — не ее ли надежда укрепляла Эйлин, спаивала ее сестринскими слезами, не она ли была ей сразу сестрою и матерью, и мужем? Не она ли и без того уже имела некоторое представление о зловещем заговоре и сама предложила защиту?

Конечно, они пойдут к ней. Час спустя слезы и уста их слились в одно у ног царственной женщины; она же, пламенея поистине тигриным гневом, поклялась собственной душой спасти их, вернуть им счастье и мир — Эрсилдуну.

ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ МИСТЕРА СЕГРЕЙВА

Под эгидою этой калмыцкой Минервы Роланд Рекс смог, наконец, насладиться безопасностью — до некоторой степени. Покушения на его жизнь прекратились; казалось, гончие потеряли след. Принцесса спрятала его в принадлежавшем ей домике в Челси; старый еврей по имени Джукс, истинный мастер смены обличий, превосходно замаскировал его. Люк был с ним с самого начала; ему удалось стакнуться кое с кем из Грейсоновой банды и, почти придушив парня в одном низкопробном опиумном притоне (куда они удалились, дабы развлечь себя приватным обсуждением разнообразных мерзких делишек), получить массу ценных сведений. Грейсон испарился; след Лейкока еще не успел остыть; он намеревался вернуться месяца через три (видит Бог, ему несдобровать, если Грейсон только сумеет выяснить, кто его предал!). И тогда — берегись старик Эрсилдун! Ну, и всякое прочее того же сорта.

Время от времени — но не слишком часто! — Роланду позволено было украсть часок-другой в обществе прелестной Эйлин. Надежда, вера и любовь вешними водами промыли дорогу назад, в душу юноши: все сомнения оставили его. Вот вернется Грейсон и тогда — во имя Господа, пусть сам он побежится Эрсилдуна!

Говорят, что каждое наше блаженство уравнивается чьей-то чужой бедою — может быть, да, а, может, и нет. Сейчас, однако, это воистину было так.

Мистеру Сегрейву потребовалась вся его ультрабританская ненависть к внешнему выражению эмоций, чтобы спрятать страдания, которые причинял ему мир. О возвращении Роланда он не подозревал, но свет любви в очах обожаемой Эйлин, увы, от него не укрылся, как и тот факт, что не он это

пламя разжег. Пока сердце ее хранило непорочность (так он, по крайней мере, думал, созерцая скрывающую любовь маску скорби), он мог позволить себе ждать и тихо трудиться, надеясь победить малой кровью. Как жокей на забеге, вальяжно пустивший лошадь свою легким галопом и вдруг обнаруживший, что какой-то презренный аутсайдер дышит яростно ему в загривок, он слегка потерял голову и принялся бешено настегивать ни в чем не повинную скотину. Как-то вечером ему удалось застать Эйлин одну и излить на нее всю свою страсть.

Она деликатно отказала.

Да ему было б легче снести презрение! Он грубо схватил ее, покрывая синяками миндальные руки; он называл ее самыми грязными словами, а затем, в приступе внезапного раскаяния, кинулся на пол, сотрясаясь от истерических рыданий. Она пожалела его, нимало не заботясь о своих страданиях, о своем позоре, и тихо удалилась, ни слова не сказав. Сегрейв вскоре овладел собою, спрятав бурю под старой маской любезной обходительности и молчаливого отстраненного обожания.

О, принцессе и в голову бы не пришло, что за дикая тварь может скрываться под личиной учтивого джентльмена (бестолкового, невзирая на весь свой интеллект), которого она так давно знает!

А между тем тварь становилась все хитрее, все прозорливее; чем больше Сегрейв муштровал и сдерживал ее, тем больше она набирала мощи. Как физические упражнения укрепляют в конце концов тело, так и сырой животный импульс, направленный в правильное русло, становится силой, с которой придется считаться.

Хотя считаться с нею было, собственно, некому. Эйлин понятия не имела о ее присутствии. Гневный припадок она приняла за мимолетную вспышку: крепким, праведным сном почивала ее невинность.

Обостренное коварство Сегрейва очень скоро открыло ему глаза на происходящее. Отсутствие Эйлин выглядело все подозрительнее; выдаваемые ему глупые поручения приобретали все более мрачную окраску. Принцесса очевидным образом над ним потешалась.

Даже приключившаяся с братом история (до сей поры представлявшаяся совершенной банальностью) вдруг открылась

его утончившимся чувствам во всей своей таинственности. Внезапная и безумная страсть, охватившая этого простого и прямого солдата, наводила на определенные мысли... перемены в его образе жизни... скрытность, так не шедшая к искреннему его лицу... неожиданное и бессмысленное увлечение охотой, к которой у него никогда не лежала душа; и трагичный его конец.

Слишком много молодой Сегрейв размышлял над печальными этими материями. Бесконечная доброта принцессы Стефании перестала сиять ему: вместо нее он видел монстра, вампира, пирующего мужскими судьбами.

О, он еще восторжествует над нею! И он принялся искать кругом себя подходящее оружие. Он всегда ощущал, что истинные думы госпожи мало открывались ему, что незримая решетка отделяла от него ее душу. Что ж, пора проникнуть и в эту твердыню! Возможно, Мэггс мог бы ему помочь — он немало знал людей и их обычаи. Но Мэггс был теперь далеко, за границей. По случаю он повстречал как-то на Лестер-сквер одного кроликолицего субъекта, которого знал как старого Мэггсова приятеля, и, повинувшись наитью, заговорил с ним, а позже вечером завел отужинать в свой клуб.

Вот это был королевский случай! За ужином по обоюдному безмолвному согласию беседа оставалась совершенно стерильной, однако, всякое мимоходом брошенное суждение о политике мыслилось как пробный шар, как прощупывающий противника удар — и так же и толковалось. За сигарами мелкие стычки прискучили им, и они двинули полки на поле битвы, а за полночь принялись забавляться поочередно атаками ложными и непритворными. В общем, ночь первая выбилась из сил.

Впрочем, никаких особых плодов она не принесла, кроме окрепшей решимости хранить молчание, да еще и без того холодная ненависть Сегрейва к принцессе подернулась более крепким ледком.

И, шагая домой сквозь ясное утро, он снова поклялся себе проникнуть в крепость через первую же попавшуюся лазейку и разрушить планы принцессы, сколь бы ни были они тривиальны — чтобы мужество его более не мучилось от стыда.

Если б он только мог наголову разбить ее и отомстить за брата (который, без сомнения, пал ее жертвой) каким-нибудь особо сомнительным способом — тем было б лучше.

Раздумывая обо всем этом, он решил первым делом выяснить, кто его соперник. Сегрейв нанял человека проследить за Эйлин до места свиданий. Девушка, впрочем, умно и ловко сбрасывала «хвост», так что истина открылась лишь спустя несколько недель. И какова же была ярость Сегрейва, обнаружившего себе соперника в лице Роланда Рекса!

Как все ревнивые и подозрительные люди, он очень быстро складывал два и два. Вот только сумма получалась никак не меньше пяти, а иногда достигала трехзначных чисел. Всего мгновения хватило Сегрейву, чтобы убедить себя в том, что брата убил именно Рекс.

А ведь неплохой результат! Самое ужасное в арифметике безумцев, что по закону случайных чисел ответ время от времени действительно выпадает верный.

Итак, все ниточки вели к одной. Нужно всего-навсего убить Роланда, и принцесса окажется побеждена, возлюбленная Эйлин — освобождена (возможно даже, победа повергнет ее к его ногам — боже милостивый, как же он тогда ее растопчет!), а брат — отмщен.

Мистер Сегрейв уже жалел, что не знаком с Грейсоном. Этот человек заслуживает, по меньшей мере, одного стойкого приверженца. А тем временем — да! — он станет тенью своей будущей жертвы, подобно ужасным и безмолвным змеям-людоедам с Юкатана.

СВЯТОЙ КИНЖАЛ

Между тем лорд Эрсилдун нес одинокую стражу в древнем своем замке, перебирая трагедии прошлого, выбелившие его все еще роскошную гриву, и страхи будущего, грозящие раздавить его дом. И все же сегодня он был веселее обычного. Роландовы письма неизменно наполнились надеждой; казалось, он, наконец, поймал свою честной сталью досель неуловимый

и невидимый клинок дьявольского противника; более того, впереди замаячила развязка.

— Доколе, Господи, доколе? — бормотал он с куда большим благоговением и верой, чем все эти прошлые годы.

До сей поры молитва превращалась у него в неистовый вопль о некоем сомнительном правосудии. Ныне же тихий ответ: «Скоро... скоро», — благословением сиял у него на челе. Знакомые слова увлекли лорда знакомыми путями: он торжественно отправился в часовню и склонился в молитве к алтарю.

Внезапно он ощутил (как ощущаем все мы временами посредством какого-то странного сенсориума, пути которого нам пока неисповедимы), что кто-то был здесь до него. Невероятно! Страх затопил душу. Убийца проник в дом? Последний час Эрсилдуна пробил на курантах вечности? Быстрый взгляд по сторонам его, впрочем, приободрил: спрятаться в часовне было решительно негде.

Он возвратился к молитве.

Но снова то же странное чувство и на сей раз сильнее. В часовне присутствовало что-то новое... — и прямо на алтаре! Как такое могло случиться! Вот странность!

На черном покрове лежал обнаженный, без ножен кинжал с серебряной рукоятью — не ней он к своему изумлению различил знакомый розенкрейцерский шифр. Те, кто водил дружбу с его кузеном, покойным маркизом, — неужто они пришли, наконец, и ему на помощь? Вот и разгадка тайны — старик свято верил, что Братство обладает силами, превышающими обычное разумение.

Почтительно он взял клинок. На острой сияющей стали значилось крошечными золотыми буквами:

Мой лорд, ты скоро ножны мне найдешь
И снимешь давнее проклятье Эрсилдуна.

Повинуясь внезапному импульсу, он испуганно огляделся и спрятал кинжал в одеянии — и еще некоторое время оставался у алтаря, сплетая привычные молитвы с новой надеждой и радостью в восхвалениях, каких мрачная эта часовня, памятник стольких горестей и беззаконий, никогда еще не слыхала.

Занялся день, а Эрсилдун все еще молился, сжимая кинжал.

Шло время, и новостей становилось все больше, и все лучше были они. Кроликолицый разминулся с Грейсоном в Вене буквально на час; Грейсон скрывается, в бегах; банда его развалилась; ему уже не до мести; маленькая армия Эрсилдуна вот-вот зажмет его в угол. В любой момент могли прийти вести, что он, наконец, схвачен.

В один прекрасный день, когда по случаю простуда заперла его в замке, доставили любезное письмо с расспросами от короля. Не иначе как Эрсилдун снова в милости.

Жизнь не была так хороша с тех самых пор, как он унаследовал проклятый маркизат.

Видать судьба сама устала враждовать с ним и разрешила сойти в могилу с миром.

Потом из Лондона пришла телеграмма:

Грейсон в ловушке.

Необходимо ваше присутствие.

Подписана она была Эйлин Арунделл.

Надежды последнего месяца укрепили его; жизненная сила ринулась обратно в жилы приливом гнева. «Время нанести последний удар, — думал он. — Ныне найду я ножны святому кинжалу — в сердце этого исчадия ада!»

И, чувствуя себя моложе и легче, чем во все последние годы, он поспешил в Лондон.

Вообразите себе его радость за чтением утренних газет в Уоррингтоне:

«Шотландская вендетта; враг лорда Эрсилдуна под арестом!»;

чистый восторг в Юстоне, где «Филин» кричал ему в лицо:

**ГРЕЙСОНА ВИДЕЛИ В ЛОНДОНЕ —
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ПОГОНЯ!**

— и уже в отеле, где мальчишка-газетчик добил его:

ГРЕЙСОН ПОЙМАН!

Он немедленно купил газету и прочел:

«Сообщают, что таинственный недруг маркиза Эрсилдунского, наконец, обнаружен. Один из частных детективов лорда видел, как он покидает небезызвестный дом в Вест-Энде. Поскольку искомое лицо село в частный автомобиль и укатило с максимальной возможной скоростью, арестовать его на месте не представилось возможным. Однако детектив — по счастью, начальник над многочисленным штатом лорда Эрсилдуна, высоко ценимый полицией Лондона (мы не нарушим ничьей тайны сообщив его имя — Аркрайт; тот самый Аркрайт, оказавший неоценимую помощь в разгадке тайны Элмстедского тоннеля) — немедленно развернул бурную деятельность.

Последний раз автомобиль видели в Уэйре. Полиция полагает, что преступник будет арестован с минуты на минуту. Напомним, что несколько лет назад Грейсон бежал из мест заключения...»

Далее следовал весьма водянистый пересказ обстоятельств дела.

Завершалось все экстренным сообщением:

«Грейсона взяли в Ройстоне».

Однако когда старик в превосходном настроении спустился к ужину, внимание его привлек телеграф. Машина выщелкивала:

«Сведения об аресте Грейсона не подтвердились. На крутом повороте в Ройстоне мотор с подозреваемым врезался в изгородь и перевернулся. Водитель был арестован, но оказался совершенно другим человеком. Он заявил, что его хозяин, студент Кембриджского университета, готов предоставить ему полное алиби и будет крайне недоволен его арестом. По настоятельной рекомендации из Лондона его, тем не менее, все же задержали для дальнейшего дознания».

После этого ужин доставил маркизу мало радости. Еще меньше радовался кроликолицый Аркрайт. Вот как он передал события того вечера одному доверенному коллеге.

— Я шел себе по Хилл-стрит, ни о чем таком особо не думая, как вдруг вижу — дверь одного большого особняка отворяется, и оттуда выходит мой объект. Грейсон собственной персоной, говорю я вам. Каким я знал его в Марселе, а потом на скамье подсудимых и в тюрьме. Никаких сомнений быть не могло. В общем, он прыгнул в мотор и был таков. Остальное вы и так знаете.

— Ничего я не знаю, — возразило доверенное лицо. — Самое вкусное вы не рассказывали.

— Ради бога, давайте будем осторожны. Это самое крупное дело за все последние годы. Теперь я знаю, что имела в виду старуха Жински.

— Не может быть! Чей это был дом?

— Герцогини Элтамской! — прошептал Аркрайт. — Вот откуда его влияние и глупые разговоры о полной невинности! Вот откуда и деньги, и поддержка, и все, что только душа его пожелает!

— Ах ты черт! — только и мог сказать его Фома Неверующий.

— Нет, вы послушайте, что я сделал! Я все разведal. Ее светлость была больна, болела уже три недели кряду. Заметим, ровно то самое время, когда планы Грейсона потихоньку пошли кувырком. И где мне теперь искать джентльмена, покинувшего такой дом? Мальчик мой, они только что порушили мне все дело!

— Аркрайт, — торжественно молвил другой, — вам ничего не показалось странным в этом доме?

— Нет, черт вас побери, а что? — мысль о том, что обычно флегматичному его подчиненному пришла в голову идея, которую сам он проморгал, Аркрайту совсем не понравилась. — И что же там было странного? Разве что голубые крысы на потолке да розовые леопарды вдоль лестницы?

Аркрайт слишком расстроился, чтобы по-настоящему разозлиться.

— Дорогой мой, вы городите чушь, — возразил на это его критик. — Перед вами одна из первых леди страны, обладательница безупречной репутации...

— Пффф! — отвечал на это кроликолицый.

— Дама, обожаемая благородным мужем и тремя прелестнейшими в Лондоне детишками — и вы предлагаете мне поверить (если я, конечно, правильно вас понял), что она сдвинет с места небо и землю, чтобы только дать приют беглому каторжнику, по вашей же теории, трижды убийце и членовредителю и один бог знает, кому еще? Опомнитесь! Вы переобщались с Эрсилдуном и сами подцепили манию преследования. Вам бы в парламент — вот для вас самое место!

— Отлично, — проворчал Аркрайт. — Я там приму закон, чтобы вам насверлили полную голову дырок и закачали туда хоть немного соображения. Все ваши аргументы — заведомая брехня. Кто украл жемчуг леди Олдбери? Между прочим, принц крови!

— Ну, он же был сумасшедший, — попробовал возразить скептик, ощущая, как почва колеблется у него под ногами.

— Естественно, сумасшедший. А что мешает спятить леди Элтам? Да мы все тут сумасшедшие — хоть вашего Ломброзо почитайте, вы, дуралей!

После этого беседа перешла в сугубо теоретическое русло; непонятность ее тем более усугублял тот факт, что ни одна из дискутирующих сторон не имела ни малейшего представления об обсуждаемом предмете.

Мы, в свою очередь, с радостью опустим занавес над этой тягостной сценой.

ЧАША ПЕРЕЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Роланд Рекс пребывал в унынии.

Во-первых, по словам Джукса, на утренней прогулке его засекла одна из Грейсоновых креатур; поэтому весь день оказался потрачен на новую маскировку под лицо полудуховного свойства. Старина Джукс особенно тщательно подходил к гриму и правил его по дюжине раз кряду, добиваясь полного соответствия идеалу. Но как же нудно это было!

Во-вторых, он ожидал визита Эйлин вчера вечером, но она не явилась. Неудача с арестом Грейсона вывела его из себя, тем более, что Роланд знал: враг неподалеку и может ударить в любой момент. Казалось бы, он в безопасности — однако, что если предыдущая его догадка верна, и злодей задумал погубить его через возлюбленную? Эйлин Арунделл не могла скрываться в каком-нибудь темном углу, как он — она должна быть всегда на виду, обязана прислуживать принцессе. А вот и надежда! Неужто та, что так великолепно помогла ему, не сумеет помочь драгоценной второй половинке собственной души?

Стоило ему подумать так, стоило ему засмеяться, как раздался особый стук — сигнал старого Джукса. Он встал и впустил его: старик, обычно такой степенный и спокойный, пребывал в ужасном замешательстве, если не в горе. Дрожащей рукой сунул он Роланду письмо. Вот что в нем говорилось?

«Где Эйлин?»

Вчера вечером в восемь часов она отправилась на встречу с вами и так и не вернулась. Сегодня утром я возвратилась из Брайтона — слуги, конечно, ничего не знают. Ради бога, сделайте что-нибудь, мистер Рекс, я с ума сойду.

*С тревогой,
ваша Стефания».*

«Поеду к ней, — решил он, не теряя ни минуты. — Должна быть еще какая-то информация помимо этой».

И схватив широкополую шляпу, он стремглав помчался в высокий дом.

Принцессу он нашел в разгаре яростного припадка гнева, то и дело перемежавшегося слезами. Она уже телефонировала почти всем в Лондоне, как полезным, так и совершенно бесполезным. На сей раз могучий разум ее, казалось, был сокрушен. Роланд попытался пролить какой-то свет на события, хотя чернейшая уверенность и так уже почти удушила искру надежды.

Но десять минут, и великая женщина уже вполне овладела собой, лишь время от времени испуская неистовый стон и зывая то к возлюбленной своей подруге, то к богу. Тем не менее, самообладание восстановилось, и она вместе с Роландом взглянула в лицо ужасной ситуации. Не успела она закончить

излагать ему мельчайшие детали происшедшего, как двери распахнулись — вошел лакей, неся маленький сверток на серебряном подносе. Принцесса автоматически взяла и открыла его. Карточка выпала на ковер. Она прочла:

«Маркиз Эрсилдунский шлет наилучшие пожелания экспринцессе Стефании [Она даже топнула хорошенькой ножкой от злости.] и молит ее передать сей запечатанный пакет господину Роланду Рексу, чей теперешний адрес он отчаялся выяснять».

На пакете и вправду было написано: «Мистеру Роланду Рексу».

Он взял.

— Больше не боюсь, — прошептал юноша. — Теперь я знаю. Бога нет. Оставьте меня.

— Нет! — рявкнула она. — Ведите себя, как подобает мужчине. Я останусь с вами и покажу, что выстоять способна даже женщина.

Уверенные в беде, оба стали странно спокойны.

— Да будет так, — с этими словами Рекс сорвал обертку.

Сверкнула испещренная рубинами слоновая кость. Роланд взял себя в руки и нажал пружину: крышка отскочила, открывая пластинку с красивой гравировкой вполне в духе прежней невероятной иронии:

Мистеру Роланду Рексу с наилучшими пожеланиями

От маркиза Эрсилдунского

Он поднял пластинку. Там, свежееотрезанные, в гнездышке из прозрачного золота волос, пламенели губы его возлюбленной — губы, которые он тысячу раз целовал.

— Полагаю, принцесса, — молвил он, — наш клоун зашел слишком далеко. Полагаю, самое время проверить все наши теориейки относительно Божьего бытия. Вы скоро услышите...

С мрачной значительностью прозвучали его слова. Он поцеловала шкатулочку и нежно отставил ее прочь.

Принцесса не ответила. Она сидела, подобная Мемнону в песках пустыни; глаза ее были сухи, и тяжек взгляд.

Роланд тихо вышел из комнаты.

— Есть на свете бог! Есть на свете бог! — бормотал он, бесцельно бредя вдоль по улице.

По пепельной бледности лица его впору было принять за викария, торопящегося приняться за дневные труды. Даже жалко, что старый Джукс не придумал персонажа порумянее!

Глаза его искали какой-нибудь ключ — природа представлялась ему сейчас умопостигаемой; каждый камень мостовой, чувствовал он, мог оказаться таким ключом, ведущим его прямо к неприятелю.

Но — вдруг он безумен? Вдруг сам Господь — всего лишь бессердечный шутник, да еще и жестокий тиран впридачу? И что это в таком случае за странная галлюцинация?

Через дорогу от него весело шагала побронзовевшая и заросшая бородой версия... его самого! Точно такого, каким он вернулся в Англию меньше года тому назад.

Истина обрушилась на него — о, да! Вот он, последний шедевр нахальства проклятого Грейсона — и поразительный притом! — сойти за самого Роланда Рекса!

— Боже! — вскричал он. — Прости мне хулу мою, ибо предал Ты врага моего в руки мои!

Тут же незнакомец вскочил в кэб — и Роланд за ним в другой, велев кучеру следовать по пятам.

Они свернули на Эджвер-роуд — Роланд начал задумываться, не входит ли в программу экскурсии удовольствие побеседовать с мадам Жински. Странно, но ни единая мысль о мертвой возлюбленной не тревожила его. Ужас в сердце его превзошел сам себя и породил непреодолимое стремление к цели, далекое от всяких эмоций. Он не знал сомнений: Господь, показавший дичь, направит и стрелу. Роланд весело рассмеялся. Кэбмен, сидя у себя, наверху, гадал, что за розыгрыш задумало это лукавое духовное лицо.

Они углубились в Сент-Джонс Вуд. Первый кэб внезапно остановился перед большим домом с садом. Лже-Роланд уплатил кэбмену и распахнул калитку. Настоящий Роланд кинул своему полсоверена, шагнул вперед и серьезно спросил:

— Мистер Рекс, полагаю?

— Да, — с улыбкой ответил Грейсон. — Что я могу иметь счастье для вас сделать?

— Пара слов наедине, если это не слишком вас беспокоит.

— О, нет. Простите, если пройду вперед, — он двинулся в обход дома к зимнему саду и любезно открыл дверь.

В это время с шумом подъехал автомобиль и остановился у ворот.

— Не обращайтесь внимания, — светло заметил Грейсон. — Это просто мой дедушка, лорд Барфилд.

Роландова светскость дала трещину.

Еще один такой подвиг самоконтроля, и многолетний гнев вырвется наружу и испепелит этого циничного демона. Как бы там ни было, он лишь склонил голову перед дьявольской насмешкой.

Ловушка захлопнулась

Ворота у них за спиной так и не распахнулись — видать, это был не старый маркиз. Но если не он, то кто? Слегка пожав плечами, Грейсон отмахнулся от столь праздного вопроса.

— Присядете, мистер... ? Не имею чести вас знать, — с улыбкой сказал он, указывая на стул.

— Спасибо, я постою.

Роланд окинул помещение взглядом. Небеса были на его стороне: в углу кольцами валялась какая-то веревка.

— Имя мое значения не имеет. Полагаю, не далее как сегодня утром я имел честь получить от вас... от вашей светлости весточку.

Грейсон расхохотался.

— О, да, не мог же я лишиться вас подобных сокровищ!

— Миссия же моя состоит в том, — продолжал Роланд, выведенный уже совершенно из терпения, — чтобы повесить вас собственными руками.

— Только пошевелитесь! — воскликнул он, когда Грейсон заозирался в поисках оружия. — И я вас пристрелю, как собаку. Убийца поднял руки.

— Вот так-то лучше, Грейсон, ибо как жив Господь, и жива душа моя, так же верно, что я вас казню самолично.

— Ах, — ослабился враг, — но я ведь не вооружен.

— Ловлю вас на слове, — ответил Роланд. — Или думаете, что нет на свете бога?

И он отложил пистолет.

— Ну, пристало ли обсуждать вопросы теологии даже со столь ученым богословом, — ухмыльнулся тот, — в столь ранний утренний час. Да и с богословом ли?

Роланд был наготове.

— Ну, конечно! — возопил вдруг Грейсон голосом, сотрясшим стены дома. — Вы же отец Амвросий! Отец Амвросий!!

И вцепился в Роланда мертвой хваткой. Они покатались по полу, тузя друг друга, как коты.

Но тут прозвучал ответный крик, и из внутренней двери появились две фигуры.

О, Роланд, видишь ли ты? Видишь ли ты ее?

Эйлин стояла там, Эйлин собственной персоной, блистательная и невредимая, сияющая какой-то странной неистовой радостью, а рядом с нею — старый лорд Эрсилдун.

— Вот же он! — вскричала она, указуя на Роланда. — Вот тот мнимый священник, умертвивший бедного лорда Маркуса!

С мальчишеской прытью Эрсилдун ринулся вперед, размахивая святым кинжалом.

— Вот твои ножны! — раздался клич. — Да падет проклятие Эрсилдунов!

Но стоило ему вздеть руку, как входная дверь с грохотом отлетела, и Сегрейв, как всегда, по пятам за Роландом, ворвался в комнату и отбил клинок.

Руки Роланда сомкнулись на горле врага.

— Дедушка! — вскричал он, подняв голову.

Ошеломленный, испуганный, старик отшатнулся. Почему этот Амвросий вдруг говорит голосом Роланда?

Тут вмешалась Эйлин.

— О, разве вы не видите! — закричала она. — Все здесь ложь! Вот этот придушенный хам и есть Грейсон!

Сегрейв испустил вопль ужаса.

— Я спас ровно того, кого хотел убить! — взревел он, совершенно теряя самообладание.

Проницательность старого лорда и тут не подвела.

— Мистер Сегрейв, — сказал он, — если желаете спасти свою шкуру, будьте свидетелем происходящего. Но если вы только шевельнетесь или закричите, ответ у меня, боюсь, будет только один.

И он преспокойно поднял оставленный Роландом револьвер.

— Присядете, мистер Сегрейв? — бросил он, само спокойствие и любезность даже в столь бурный час.

Сегрейв рухнул в кресло, но глядел сердито.

— Эйлин! — продолжал маркиз. — Не будете ли вы так милы сообщить принцессе. Она, наверное, беспокоится о вас.

— Сожалею, что прервал вас, Роланд, мой мальчик, — сказал он, когда девушка покинула комнату. — У вас, кажется, были какие-то дела с этим джентльменом.

— А ну, сесть! — скомандовал Роланд, которого явление Эйлин преисполнило неземным восторгом. — Вас приговорили к повешению. Через четверть часа мы приведем приговор в исполнение. Потратьте это время с толком — исповедайте свои грехи перед Богом и человеком.

— Ах, так вам требуются объяснения! — съязвил тот. — И какие же именно?

— Никаких переговоров! — отрезал старый маркиз. — Предай себя в руки Господа!

— Вам и так уже все известно, — утомленно сказал Грейсон. — Все это была провокация, от и до. Игра заключалась в том, чтобы заставить вас, лорд Барфилд, убить собственного внука. Вас бы повесили, мне освободили дорогу, провозгласили бы невиновным, а мою линию — законной. И вот он я, в замке Эрсилдунов и в своем праве.

Говоря это, он словно бы разгорался изнутри светлым пламенем: ясно было, что человек этот совершенно искренен и прям. Воображаемые обиды так долго терзали его разум, что обратили врожденную склонность ко злу в подлинный шедевр преступного гения.

— Но как вам удалось выстроить подобный план? — спросил Рекс. — Мисс Арунделл только что сама призывала моего деда убить меня!

— Глупец, это и был наш замысел с самого начала. Мы наняли хулиганов, которые загнали Эйлин напрямиком в ваши

объятия. Что до старого Джукса — да я практически жил с вами бок о бок неделями под его личиной!

Невероятная гордая ирония слышалась в его голосе.

— И смехотворный кинжал старому хрену послал тоже я.

— А глаза отца Амвросия?

— Флуоресцеин! — парировал Грейсон. — когда вы уже научите ваших детективов хотя бы рудиментам этих приемов?

— Как вы заставили леди Элтам лгать в вашу пользу?

— Никак. Я подкупил лакея. Я подождал, пока этот ваш кроликолицый идиот примется вынюхивать, и дал ему заглотить крючок... и сорваться.

— Но к чему было вмешивать мисс Арунделл?

— А как еще мне было подослать его к принцессе? Через этого осла Сегрейва? — он огрызнулся на совершенно сбитого с толку секретаря. — Если бы мне дали вас на минутку в полное распоряжение, мальчик мой, я бы вас научил кое-чему касательно убийства. Как вы вообще сюда попали?

Бедный трус аж вздрогнул.

— Я увидел вас на улице и подумал, что вы — мистер Рекс. Я хотел получить Эйлин.

— Ха! — только и сказал на это Грейсон.

— Но какое отношение ко всему этому имеет принцесса? — недоумевал Роланд.

Сзади послышался шелест; в дверях показались две леди.

— Самое прямое, — сказала принцесса.

ПРОКЛЯТИЕ СНЯТО

— Вам придется повесить и меня тоже, — сказала Стефания, глядя на веревку в руках Роланда. — Все это сделала я. Я заманила сюда маркиза и заставила вас думать, что Эйлин убита.

— Ах, милая, — промурлыкала она, — ты знаешь, я никогда не позволила бы причинить тебе ни малейшего вреда. Как мучительно было пожертвовать тем локоном золотых волос, что ты мне дала!

Но девушка в страхе отшатнулась от нее.

— Вы хотели убить моего возлюбленного, — воскликнула она. — И говорите, что не сделали бы мне ничего дурного!

И она рассмеялась резко и презрительно.

— Боже! Я потеряла и тебя тоже..., — простионала несчастная женщина. — О, если б я умерла!..

— Ах, ничего-то вам не известно! — горько продолжала она. — Это я вырвала лживый язык у Лейкока и убила невинную бедняжку, которую...

Тут она задохнулась от гнева и слез.

— ... вы никогда не узнаете, что произошло в том доме. Это только между мной и Богом, и я не боюсь встретиться с ним!

Все отпрянули от нее. Грозной башней она возвышалась над ними, сотрясаемая муками страсти.

— Дитя мое, — всхлипывала она. — Мое дитя!

Даже Грейсон потрясенно раскрыл рот. Отвращение превратилось в чистый ужас: они находились рядом со стихийною силой. Не женщина была перед ними, но буря — они не ощущали себя вправе судить ее. Глас громов небесных всяко громче жалких воплей людских.

В одном лишь Сегрейве человеческого оказалось достаточно мало для недовольного вопроса:

— Но почему вы это сделали? Кто такой этот мистер Грейсон?

Она повернулась к нему: словно дерево под ударом молнии, он съежился, затворился в себе и онемел.

Быстрее стрелы она прынула к обреченному Грейсону.

— Эрсилдун! — и голос ее вновь пел нежным дальним колоколом. — Эрсилдун, возлюбленный, все это я сделала для тебя!

И снова безмолвие и неподвижность. Словно бы туманом заволокло все мысли. Так внезапно было случившееся, так невозможно! На мгновение Роланду показалось, что она играет роль на сцене.

Так оно и было; но как у всех великих актрис, слова звенели правдой, потому что она верила в их правду.

Она поцеловала его. Мир на мгновение остановился.

Лорд Эрсилдун поднялся, чтоб положить конец этой сцене. Она оказалась быстрее.

Одним проворным движением она извлекла из корсажа флакон и разбила об пол. Густые удушливые пары поднялись,

и прежде чем кто-то успел опомниться, она вместе с любовником уже исчезла в глубине дома.

Эйлин оказалась к бутылочке ближе всех; несколько бесценных мгновений ушло на то, чтобы выдворить ее в сад, на свежий воздух. Когда подоспела помощь, никаких следов уже не нашли. Не успели обыскать и половину комнат, как в здании вспыхнул пожар. Прибыли машины, но, увы, оно уже обратилось в фонтан огня.

Никто не покидал сада. По всей вероятности, пара сгинула в пламени.

* * *

— Мой Роланд! — в ставших вдруг приветливыми залах Эрсилдуна раздавался дедушкин довольный смешок. — Злой рок, наконец-то покинул нас. Вы, моя милая — единственное оставшееся у нас проклятие.

И он улыбнулся через стол Эйлин, уже полгода как нареченной его внука.

— Что ж, — отвечал Роланд, наполовину серьезно пожимая плечами. — Пророчество гласит, что земли должны возвратиться обратно к королю.

— Какие же вы, мужчины, глупые! — вмешалась Эйлин. — Где вы прогуливали школу, Роланд, раз не знаете, что Рекс и означает короля?

— Небо свидетель, а она права!

И они все обменялись рукопожатием.

Дюжий егерь принес почту.

Эйлин, взяв конверт, не удержалась от тихого изумленного возгласа. Маркизу доставили небольшую плоскую коробку. С тяжким стоном он упал лицом на стол.

Роланд помог ему подняться.

— Подождите, пока не посмотрите, — только и сказал он.

Пакет был адресован

«Благороднейшему маркизу Эрсилдунскому».

Внутри обнаружилась миниатюра на слоновой кости.

«... с портретом отца всех наших бед».

В сопроводительной записке говорилось:

«Я отказываюсь от последних связей с Эрсилдуном. Великий грешник молит прощения за великие беззакония».

— Идемте со мной, дети! — молвил маркиз.

* * *

Все в Часовне Возмездия переменялось. Исчез гневный Господь Книги Бытия, и место его занял полный любви сострадательный образ Христа. Свиток с сердитыми упреками Создателю убрали. Там, где был он, красовалась увитая цветами мемориальная табличка с такою надписью:

Не смерти грешника желает Бог, но чтобы от зла своего отвратился и был жив.

— Дети, — сказал старик, и по щекам его бежали слезы. — Видите, есть на свете Бог, который внимлет нашим молитвам.

Эйлин тем временем проглядывала свою записку, как всегда краткую и резкую.

«Прости и забудь мою ревность, дорогая душа, и все опустошительные страсти несчастной женщины. Безумье и беды для нас обеих закончились; я тоже замужем. Буря улеглась, и на земле мир.

*Любовь моя, навек моя любовь!
Стефания».*

Эйлин поцеловала письмо и, с нежностью глядя на мужа, спрятала за корсаж.

* * *

Аркрайт сидел напротив своего скучного коллеги и мрачнее обычного дымил трубкой.

— Значит, дело Эрсилдуна закрыто, — проворчал скучный, — и принесло вам кучу, как говорится, уважения.

— Пффф! — хмыкнул Аркрайт. — Раз уж оно все закончилось, жаловаться я не буду. Форменная мутотень, вот что я вам скажу.

— Ну-ну, полноте, — возразил тот. — Нет так уже все плохо. Ежели поразмыслить, вы, небось, выжали из старого чокнутого Эрсилдуна за это время хорошенькую кучу денег.

— А и верно, — согласился кроликолицый. — Хорошенькую такую кучу. Ну, что, еще по пиву?

Путешественники один за другим спустились на огненный песок платформы. Это был просто железнодорожный узел, из тех, где на мили и мили вокруг нет ни единого городишки. Сравнить богатство местных ресурсов можно разве что с карантинным пунктом средней руки, да и то не в их пользу.

Первым на платформу выбрался мужчина облика безошибочно английского. Даже извлекая с помощью попутчика из вагона ручную кладь, он не переставал жаловаться на состояние нынешних железных дорог.

— Положительно это позор цивилизации, — ворчал он, — что тут нет пересадки — и это на такой-то станции, на очень важной станции, сэр, позвольте вам заметить, в самом сердце — если разрешите метафору — ветки, обслуживающей, практически, весь Макшир к югу от Трима. И нам еще ждать верный час, который, видит небо, грозит превратиться в два, а то и в три. И, конечно, ближе Фатлома нет ничего, хоть отдаленно напоминающего бар. Да и доберись мы внезапно туда, пригодного для питья виски там все равно не сыщешь. Говорю вам, сэр, все это — однозначный, решительный позор для железной дороги, которая подобное допускает; для страны, которая подобное терпит, и самой цивилизации, которая не имеет ничего против подобных вещей. Представьте, ровно то же самое случилось со мной в прошлом году, сэр, хотя, по счастью, ждать мне пришлось всего полчаса. Но я все равно написал в «Таймс» суровое письмо на эту тему, да, сэр, на целых полколонки, и будь я проклят, если они не отказались его напечатать. Ну, да, вот вам наша независимая пресса и все такое прочее — мне следовало знать! Говорю вам, сэр, страной этой заправляет банда, да, грязная банда евреев, шотландцев, ирландцев, валлийцев — где! где, спрашиваю я вас, старый добрый Настоящий Англичанин? Не у дел он, сэр, не у дел!

Поезд конвульсивно дернулся назад и, громыхая, заковылял прочь — точная копия одинокого носильщика, который, утвердившись напротив багажного вагона, бесстрастно наблюдал, как оттуда, подобные кускам породы из жерла вулкана,

¹ Рассказ был впервые опубликован в «Инглиш Ревью» (июнь 1914 г.). — *Примеч. перев.*

вылетают два чемодана. Насладившись созерцанием еще минуточку, он презрительно поджал губы и двинулся вдоль платформы к стоящей на отшибе, ярдах в трехстах в стороне, хижине, где ждала его дневная порция корма.

Ярким контрастом к помянутому англичанину, с его засаженым густыми усами и украшенным ярко-красными полосами по шее и лбу белесым лицом, его угрожающей пузатостью и облачением, тянувшим никак не менее чем на полный тяжелый доспех, оказался маленький деятельный джентльмен с остроконечной бородкой, которого жестокая судьба обрекла разделить с ним сначала купе, а потом — час вынужденного изгнания вдвоем, вдалеке от прочих соплеменников.

Глаза поразительно черные и жгучие, борода поседевшая, лицо исчерченное глубокими морщинами и явно обожженное тропическими солнцами. Черты его свидетельствовали об уме, силе и хитрости — столь выдающихся, что впору бросаться с ним на пару в какое-нибудь безнадежное предприятие или, скажем, защищать от жестоких врагов совсем отчаявшуюся деревню. По тыльной стороне левой кисти шел широкий и страшный шрам. Невзирая на все это одет он был с чрезвычайной корректностью и аккуратностью. Английский у него был куда чище, чем у страдальца-попутчика, каковое обстоятельство заставляло последнего подозревать в нем тайного француза. Невзирая на безмятежность туалета и самообладание поведения, темный блеск черных этих глаз, булавочными головками сверливших из-под косматых бровей, вселял в дорожного англичанина некую неясную тревогу. С таким лучше не ссориться, был его вердикт. Тем не менее, будучи особой многопутешествующей — Булонь, Дьепп, Париж, Швейцария и, страшно сказать, даже Венеция — он ни в малой степени не страдал той замкнутостью, в которой иностранцы имеют обыкновение обвинять англичан, и сам старался всю дорогу поддерживать беседу. Маленький оказался скверным попутчиком, неразговорчивым до неприличия, скупым на слова везде, где и кивка хватит для исполнения долга вежливости, и куда более увлеченного трубкой, чем соседом. Человек с тайной, вот что я вам скажу, сэръ, подумал англичанин.

Поезд угромыхал прочь; носильщик растворился в пейзаже.

— На редкость пустынное местечко, — заметил англичанин, которого, кстати, звали Бивэн, — особенно при такой жуткой жаре. ' Нет, правда, летом 1911-го и то было не так плохо. Знаете ли, я помню, раз в Булони..

Он резко заткнулся, ибо коричневый человечек, развлекавшийся, снова и снова всаживая металлический наконечник трости в песок и хмурия при этом брови, внезапно пришел к какому-то решению.

— Да что вы знаете о жаре! — воскликнул он, пригвоздив Бивэна к месту демонической яростью. — Что вы знаете о пустыне!

Застигнутый врасплох, Бивэн растерялся и не ответил.

— Вот погодите! — с прежней силой продолжал тот. — Что если я вам расскажу мою историю? Здесь нет никого, кроме нас.

Он грозно воззрился на толстяка, словно пытаясь прочесть его душу.

— Вам вообще можно доверять? — рывкнул он и внезапно смолк.

Во всякий другой раз Бивэн почти наверняка отклонил бы предложение стать конфиденнтом незнакомца. Но здесь, в жаре, одиночестве, скуке (не в последней степени вызванной предыдущим поведением спутника), а, кроме того, опасаясь его возможной реакции на отказ, он выдал-таки утвердительный ответ.

Величавый, как дуб, он промолвил:

— Я по рождению английский джентльмен и, полагаю, никогда не совершал ничего, способного унизить сие высокое достоинство.

— Я, кстати говоря, мировой судья, — добавил он после недолгой паузы.

— Я так и знал! — вскричал его собеседник взволнованно. — Натренированный юридический ум превыше всех прочих оценит мой рассказ.

— Поклянитесь же, — продолжал он с неожиданной серьезностью, — поклянитесь мне, что никогда, ни единой живой

1 В 1922 году Кроули задержала французская полиция по подозрению, что на самом деле он — ранее арестованный беглый финансист по имени Джеральд Ли Бивэн. — *Примеч. перев.*

душе вы не откроете ни словечка из того, что я намерен вам поведать! Поклянитесь душой вашей покойной матери!

— Моя мать пока жива, — попытался возразить Бивэн.

— И это я знал! — снова воскликнул остробородый.

Всепоглощающее и странное выражение почти божественного сострадания озарило его загорелое лицо. Такое увидишь разве что у изваяний Будды — безличная, небесная жалость.

— Тогда клянитесь лордом-канцлером!

Бивэн еще больше прежнего укрепился в мысли, что перед ним француз. Тем не менее, требуемую клятву он с готовностью дал.

— Меня зовут Дюгеслен, — сказал его собеседник. — Одно это имя способно вам поведать мою историю, не так ли? Приводит ли оно что-нибудь вам на ум? — спросил он внушительно.

— Ровным счетом ничего.

— Я знал! — изрек подтвердившийся француз. — В таком случае мне придется рассказать вам все. В моих жилах кипит огненная кровь величайшего из французских воителей, а мать моя по прямой линии происходит от Сарагосской Девственницы.¹

Бивэн был поражен фактом и не скрыл этого.

— После осады она с почетом вышла замуж за благородного, — отрезал Дюгеслен. — Вы считаете, человек моего происхождения позволит чужаку хоть малейший косой взгляд на память прабабки?

Англичанин запротестовал, что ничто не могло быть дальше от направления его мыслей.

— Надеюсь, что так, — продолжал тот уже спокойнее, — тем более, что я — осужденный убийца.

Бивэн впал в панику.

— ... и горжусь этим, — продолжал тем временем Дюгеслен. — В двадцать пять кровь моя была еще горячее теперешнего. Я женился. Четыре года спустя я обнаружил жену в объятиях соседа. Я убил его. Я убил ее. Я убил троих наших детей, ибо от гадюки рождаются лишь гадюки. Я убил слуг — они стали сообщниками в прелюбодеянии, а если и нет, все

¹ Августина Сарагосская или Августина Арагонская (1786—1857) — испанская народная героиня, лидер сопротивления во время войны Испании за независимость. Известна как «испанская Жанна д'Арк»; со временем превратилась, практически, в мифологического персонажа. — *Примеч. перев.*

равно негоже слугам быть свидетелями позора их господина. Я убил жандармов, которые пришли меня арестовать — раболопные наемники продажной республики! Я поджег свой замок, твердо намеренный найти конец в руинах. К несчастью, кусок каменной кладки, падая, задел мне руку. Ружье меня подвело. Пожар увидели, приехавшие пожарные меня вытащили. Я решил жить: в конце концов, то был мой долг перед предками — продолжить род, единственным отпрыском которого я теперь оставался. Именно в поисках жены я ныне и путешествую по Англии.

Он замолчал и окинул горделивым взглядом окрестности с видом на Селкерк. Бивэн прикусил язык, с которого чуть не сорвался некий вполне естественный комментарий по поводу столь неожиданного поворота сюжета.

— То есть, вас, выходит, не гильотинировали? — только и спросил он.

— Как видите, нет, сэр, — пылко отпарировал собеседник. — В те времена высшую меру наказания во Франции осуществлять перестали, хотя официально и не отменили.

— Могу даже сказать, — с самодовольством истинного творца законов добавил он, — что мое дело весьма пришпорило агитацию за ее возобновление.

— Итак, сэр, меня не гильотинировали. Меня приговорили к пожизненному заключению на острове Дьявола.

Он содрогнулся.

— Можете представить себе этот проклятый остров? Сумеете нарисовать себе хоть одну десятую его ужасов? Какой кошмар в состоянии затмить этот ад, этот лимб проклятых душ? У меня хороший язык, сэр, но никакой язык не передаст этот мрак. Избавлю вас от описаний. Пески, паразиты, крокодилы, ядовитые змеи, миазмы, москиты, лихорадка, грязь, каторжный труд, желтуха, малярия, голод, грязное мелколесье, дышащие смертью заросшие болота, ужасные, раздутые, сочащиеся ядом деревья, сами давно отравленные этой злой землей, невыносимый зной, нестерпимый, невозможный (как соизволила отметить «Дейли Телеграф» во время дела Дрейфуса), зной непрекращающийся, удушающий, без единого дуновения ветерка, кроме тлетворного дыхания лагуны, зной, обращающий кожу в ярящееся море воспалений, так что ей даже

жала москитов и сколопендр кажутся облегчением, нескончаемые дневные труды под неистово жарящим солнцем, плети за малейшее нарушение жестоких тюремных правил или даже законов вежливости по отношению к надзирателям — всего на йоту менее проклятым, чем мы сами — все это ничто! Единственное развлечение владык подобного места — жестокость. Собственные страдания делают их изобретательнее всех инквизиторов Испании, всех арабов с их религиозным фанатизмом, всех бирманцев и качинцев, и шанов¹ с их буддийской ненавистью ко всем еще живущим — даже самих китайцев с их холодным вожделением к чужой боли. Губернатор был искусным психологом. Ни единого уголка человеческого разума не укрылось от него; к каждому сумел он подобрать ключ и обратить в пытку.

— Помню одного, он находил удовольствие в том, чтобы полировать свою лопату — у нас было правило, что лопаты должны быть отполированы до блеска; это само по себе уже пытка, в таком-то климате, где плесень растет на всем подряд так же быстро, как падает снег в местах с более счастливым климатом. Так вот, сэ, губернатор прознал, что сей несчастный наслаждается блеском солнца на стали, и запретил ему чистить лопату. Пустяк, конечно, но откуда вам знать, что для заключенного пустяк? В итоге заключенный впал в буйное умопомешательство — именно по этой и ни по какой другой причине. Он решил, что столь тонкая и изощренная жестокость есть не что иное как окончательное доказательство изначальной, неотъемлемой дьявольской природы вселенной. Разумеется, логическим следствием подобного убеждения стало безумие. Нет, сэ, от описания я вас избавлю.

Бивэн подумал про себя, что описаний и так уже было более чем достаточно, и в своей самодовольной английской манере решил, что Дюгеслен, подобно всем французам поголовно, бессовестно преувеличивает. Вслух он, однако, лишь заметил, что, должно быть, все это совершенно ужасно. Он бы многое сейчас дал, чтобы с самого начала отвертеться от этого разговора. Как-то совсем несладко сидеть на заброшенной железнодорожной станции в компании самопровозглашенного убийцы,

¹ Качин — один из штатов Бирмы. Шаны — один из населяющих это государство народов.

по всей видимости, сбежавшего из мест заключения лишь благодаря дальнейшим и еще более залихватским преступлениям.

— Но вы спросите меня, — гнул свое Дюгеслен, — вы спросите меня, как же мне удалось бежать? Именно эту историю я и намерен вам рассказать, сэр. Все вышесказанное служило лишь прологом: он не особо нужен, да и неинтересен. Впрочем, без него нам не обойтись, раз уж вы столь любезно выразили любопытство к моей личности (героической, смею утверждать) и моей семейной истории (трагической, чего никто не посмеет отрицать).

Бивэн снова подумал, что его собеседник, должно быть, настолько же плох как психолог, насколько губернатор острова Дьявола был хорош: он, Бивэн, между прочим, не чувствовал — и тем паче не выражал! — ни малейшего интереса ни к одной из помянутых тем.

— Итак, сэр, вернемся к моей истории! У осужденных было одно всеобщее удовольствие, и лишить их его могло разве что прекращение самой жизни — или мыслительной деятельности. Удовольствие это губернатор, конечно, мог ограничить и ограничивал, но совсем уничтожить не сумел. Я о надежде говорю — о надежде побега. Да, сэр, эта искра (единственная из всех прежних пламен) все еще жгла изнутри грудь — и вот эту, и моих товарищей по несчастью. Но в этом отношении я рассчитывал не на себя, скорей уж на кого-нибудь другого.

— Никаким сколько-нибудь великим интеллектом я не одарен, — скромно продолжал он. — Моя бабка — чистокровная англичанка, ее фамилия была Хиггинботэм,¹ из Уорикширских Хиггинботэмов [«А это какое отношение имеет к глупости?» — задумался Бивэн], а в товарищи по несчастью судьба дала мне преимущественно людей, которых избавила не только от разума, но и от образования. Единственным блестящим исключением являлся великий Доду — ха! вы удивлены?

Бивэн ничего подобного не выказывал, напротив, он продолжал демонстрировать самое флегматичное безразличие к повествованию.

¹ Энн Хегинботэм (1840—1921) из ковентри, Уорикшир, служила у дяди Кроули, Джонатана Спарроу Кроули (1826—1888), гувернанткой, а затем стала его второй женой. Кроули звал ее тетей Энни. Она была самым близким ему человеком из всех родственников, несмотря на отсутствие кровного родства.

— Да-да, вы не ошиблись. То действительно был знаменитый на весь мир философ, первооткрыватель *додия*, редчайшего из известных химических элементов, которого, как все знают, во вселенной существует всего одна тридцать тысяч пятая миллиграмма — в составе звезды, именуемой Гамма Пегаса. Именно Доду ниспроверг логический процесс обверсии и низвел квадрат оппозиций до состояния Британского каре в Абу-Клее¹. Да вы все это и так знаете. А вот чего вы не знаете, так это что даже оставаясь лицом гражданским, Доду был величайшим стратегом Франции. Именно он у себя в кабинете составил диспозицию армий при Арденнах. Схемой укреплений Люневилля 1890-го года мир тоже обязан исключительно его гению. Вот почему правительство с такой неохотой его осудило, хотя общественное мнение горячо взбунтовалось против подобного преступления. Вы наверняка помните, как, доказав, что женщины после пятидесяти представляют собой бесполезное и ненужное бремя для государства, он подтвердил заявленные убеждения, обезглавив и съев собственную овдовевшую мать. Немудрено, что правительство намеренно содействовало побегу Доду и продолжило пользоваться его услугами, поселив под вымышленным именем в апартаментах в совершенно другой части Парижа. Но тут случилось так, что правительство неожиданно пало. Соперник подселел его, а приговор таки был приведен в исполнение, причем с такой жестокостью, словно это был обычный, ничем не примечательный преступник.

— Именно такого человека я и искал, чтобы составить план побега. Но лопни несчастный мой мозг — моя бабка, напомним, была из Уорикширских Хиггинботэмов — я никак не мог придумать способа вступить с ним в контакт. Однако же он, должно быть, провидел мои желания. В один прекрасный день (он к тому времени уже с месяц провел на острове, а я — целых семь) он споткнулся и упал, словно пораженный солнечным ударом, ровно в тот момент, когда я был поблизости. Лежа на земле, он умудрился трижды ущипнуть меня за лодыжку. Я встретился с ним глазами: он не то чтобы прямо дал мне знак, принятый в братстве вольных каменщиков — так, скорее, намекнул. Вы сами — масон?

1 Имеется в виду состоявшаяся в 1885 году в Абу-Клее (Судан) битва между Пустынной Колонной британских войск и махдистскими силами. — *Примеч. перев.*

— Я — Бывший Провинциальный Заместитель Великого Меченосца этой провинции, — отвечивал Бивэн. — Я основал ложу «Боэций» №14883, и Ложу «Коленсо» №17212. Кроме того, я Бывший Великий Агтей Верховного Капитула своей провинции.

— Я так и знал! — воскликнул с энтузиазмом Дюгеслен.

Бивэну беседа все больше не нравилась. Откуда этот человек — этот преступник — знает, кто перед ним? Дюгеслен в курсе, что он мировой судья, что мать его еще жива, что он обладает масонскими степенями и какими. Он все меньше доверял этому французу. Может, вся история — только пролог к просьбе о кредите? Незнакомец выглядел достаточно обеспеченным и билет имел в первый класс. Скорее уж шантажист; возможно, он и другое знает — ну, скажем, о той афере в Оксфорде.. или об инциденте на Эджвер-роуд.. или о деле Эсме Холланд. В итоге Бивэн решил быть осторожным как никогда.

— Вы понимаете, с какой радостью, — продолжал Дюгеслен, нимало не подозревая или не заботясь о мрачных мыслях, одолевавших его попутчика, — я получил сей знак дружбы и с каким восторгом на него ответил. В тот день нам более не представилось возможности для общения, но на завтра я пристально за ним наблюдал и заметил, что он причудливым, нерегулярным образом приволакивает ногу. Ага, подумал я, длинный шаг для тире, короткий — для точки. Я с готовностью принялся ему подражать и ответил буквой «А» на азбуке Морзе. Его блестящий ум тут же ухватил смысл. Он поменял кодировку (которая была иного порядка), и ответил буквой «В» уже в моей системе. Я дал «С», он вернул «D». С этого мгновения мы могли бегло и свободно общаться, словно сидели с ним на террасе Кафе де ла Пэ в возлюбленном нашем Париже. Впрочем, беседа в таких условиях превращается в предприятие весьма долгое. На протяжении всего маршрута от барачков до места работ он сумел сказать лишь: «Бежать скоро Господи помоги». До своего преступления он был признанным атеистом. Я рад был увидеть, что наказание привело его к покаянию.

Бивэн и сам испытал немалое облегчение. До сих пор он тщательно делал вид, что никакого французского масона тут и нету; однако весть о покаянии наполнила душу его ощущением почти что личной победы. Дюгеслен тут же начал ему

нравиться; более того, Бивэн испытал к нему прилив доверия. Да, преступление его было ужасно. Но если месть его и выглядела избыточной и даже несколько неразборчивой, так разве не был он французом? Все французы этим отличаются! И, в конце концов, французы ведь тоже мужчины. Бивэна так и осияло добротой; он вспомнил, что и сам он не только мужчина, но и христианин. Он решил как-то успокоить незнакомца, ободрить его.

— Ваш рассказ чрезвычайно меня интересует, — молвил он. — Я глубоко сочувствую и проступкам вашим, и страданиям. Я всем сердцем благодарю бога, что вам удалось бежать и молю продолжать повествование о ваших приключениях.

Дюгеслен, впрочем, ни в каких ободрениях не нуждался. Вся апатичная усталость, с которой он сошел с поезда, сменилась блеском оживленного, огненного темперамента; возбуждение от столь эмоциональных воспоминаний уносило его все дальше и дальше.

— На второй день Доду сумел объясниться.

— Если мы бежим, нам понадобится стратегема, военная хитрость, — просигналил он.

Замечание совершенно очевидное, но причин хорошо думать о моих умственных способностях у него, конечно, не имелось.

— *Стратегема!* — повторил он с нажимом.

— У меня есть план, — продолжал он. — Мне понадобится двадцать три дня, чтобы посвятить вас в него, если нас не прервут; месяца три-четыре на подготовку; два часа восемь минут на исполнение. Теоретически возможно бежать по воздуху, по воде или по земле. Но поскольку за нами денно и нощно наблюдают, пытаться прокопать туннель отсюда до материка совершенно бесполезно. Ни аэроплана, ни воздушного шара у нас нет, как и средств их изготовить. Но если бы нам удалось достичь морского побережья, на что мы, без сомнения, способны, в каком бы направлении отсюда ни двинулись (если только сумеем следовать по прямой), и если бы мы нашли себе не охраняемую лодку и не подняли при этом тревоги, нам осталось бы всего-навсего пересечь море и либо найти страну, где нас никто не знает, либо вернуться на остров Дьявола под видом моряков, потерпевших кораблекрушение. Последняя идея

была бы совершенно идиотской. Вы мне скажете: губернатор знает, что Доду не такой дурак; но он знает также и то, что Доду не такой дурак, чтобы попытаться обратить сие обстоятельство себе на пользу. И он будет прав, черт его раздери!

Чтобы ругаться азбукой Морзе при помощи одной ноги, нужно испытывать очень глубокие чувства — но, да, мы его поистине ненавидели!

Доду объяснил, что говорит мне столь очевидные вещи по нескольким причинам: 1) дабы определить степень развития моих умственных способностей по реакции на его слова; 2) дабы удостовериться в том, что если нас постигнет неудача, то исключительно по моей вине и из-за моей глупости, а не потому, что он не посвятил меня во все подробности плана; 3) потому что такова его профессиональная привычка — бывает же у других, скажем, подагра.

Короче говоря, вот в чем состоял его план: ускользнуть от охраны, добраться до побережья, захватить лодку и выйти в море. Вы меня понимаете? Идею улавливаете?

Бивэн ответил, что с его точки зрения, это единственный возможный в данных обстоятельствах план.

— Человек вроде Доду, — строго возразил ему Дюгеслен, — ничего не принимает как само собой разумеющееся. Он не пренебрегает никакими предосторожностями. Если в его плане предусмотрен фактор случайности, вероятность ее будет просчитана до двадцать восьмого разряда после запятой.

Но едва он успел изложить мне этот грубый набросок схемы, как нас прервали.

На четвертый день беседы он просигналил только:

— Ждите. Наблюдайте за мной.

Вечеру он сманеврировал так, чтобы оказаться в конце шеренги осужденных, и только тогда выковылял в пыли вот что:

— Есть предатель, шпион. По этой причине мне придется изыскать иные средства сообщить вам подробности плана. Я уже все продумал. Я произнесу что-то вроде ребуса, который даже вы не сумеете понять, если только у вас не будет в распоряжении всех деталей головоломки и ключа к ней. Позаботьтесь выгравировать на скрижалях вашей памяти каждое сказанное мною слово.

На следующий день он передал:

— Помните, как пруссаки брали старую мельницу в 70-м? Трудность в том, что я должен сообщить вам скелет загадки, а словами этого сделать нельзя. Следите за маршрутом моих передвижений и следами, и не забудьте все зарисовать.

Я сделал это с величайшим тщанием и внимательностью и получил нижеследующую фигуру.

— При вскрытии, — добавил драматическим тоном Дюгеслен, — врачи найдут эти линии вырезанными на моем сердце.

Он вытащил из кармана записную книжку и стремительно набросал для уже испытывающего живейший интерес Бивэна вот такую картинку:



— Обратите внимание, что у фигуры восемь сторон. Двадцать семь крестиков расположены группами по три. В одном углу есть крестик значительно больше размером и жирнее, и два маленьких крестика, несимметричных по отношению к нему. Эта группа представляет фактор случайности. Намекну вам на истину, сказав следующее: поразмыслить надо над тем, что восемь — это два в кубе, а двадцать семь — три в кубе.

Бивэн посмотрел на него сметливо.

— На переходе обратно, — продолжал тем временем Дюгеслен, — Доду просигналил:

— Шпион состоит в охране. Но сосчитайте буквы в имени любимого Аристотелева ученика.

Я угадал (как он того от меня и хотел), что Доду имел в виду вовсе не Аристотеля, а на самом деле Платона и, таким образом, Сократа. Поэтому я сосчитал: А-Л-К-И-В-И-А-Д=8, — и тем совершенно сбил шпиона с толку. На следующий день

он весьма членораздельно и значительно произнес: «Раху»¹, — подразумевая, что следующее лунное затмение будет самым правильным временем для нашего побега, а остаток дня провел в светской беседе, дабы усыпить подозрения шпиона. Три дня ему не удалось сообщить мне ничего — он валялся в лазарете с лихорадкой.

На четвертый день мы встретились снова.

— Я обнаружил, что шпион — этот чертов боров, лейтенант из Тулона, он еще курит опиум. Он нам безопасен — потому что никогда не бывал в Париже. Теперь вот что: прочертите прямую линию от Восточного вокзала к площади Звезды; постройте на этой линии равносторонний треугольник. Вспомните имя всемирно известного человека, живущего на вершине. (Это было поистине сверхгениально, так как в основу шифра я оказался вынужден положить английский алфавит, а шпион ни на каком языке, кроме родного, не говорил — ну, еще чуть-чуть на швейцарском.)

— Отныне, — продолжал он, — я буду шифровать сообщения простым числовым кодом, а это самое имя будет нам ключом.

— Только моей несравненно выносливой конституции я обязан тем, что смог сочетать выполнение возложенных правительством задач с задачей по расшифровке сообщений Доду. В совершенстве запомнить получасовое зашифрованное сообщение — тут никакая мнемоника не поможет, особенно когда расшифрованное послание само по себе облечено в символы самого темного и загадочного свойства. Наш шпион попросту решил бы, что тронулся умом, даже если бы разгадал наши иероглифы — просто детали головоломки выдающегося мыслителя. Так, например, я получал следующий текст:

OWNHOMDVVTXSKZVVGKQXZLLHTREIRGS-
CPXJRMSGAUSRGWHBDXZLDABE, —

который после расшифровки (шпион так и скрежетал зубами всякий раз, когда Доду передавал «W»!) означал всего лишь: «Персики 1761 года блистательны в садах Версаля».

1 Раху — в астрологии верхний или северный лунный узел. В северном и южном узлах орбита Луны пересекается с эклипстикой, и случаются лунные затмения. — *Примеч. перев.*

Ну, или, к примеру: «Охота; Папа в заточении; Помпадурша; Олень и Крест».

Или: «Люди четвертого сентября; их вождь, разделенный на буквы жертвы восьмого термидора».¹

Или: «Крийону в тот день не повезло, хотя он был храбрее обычного».²

Следуя таким вот указаниям я и собирал по кусочкам наш план побега.

Скорее интуитивно, чем рассудочно, я примерно по двум сотням таких ключиков понял, что охранники Бертран, Ролан и Моне подкуплены и соблазнены обещаниями повышения и (самое главное) перевода с проклятого острова подалее — если только они поспособствуют нашему побегу. Правительству еще пригодится его главный стратег! Затмение ожидалось недель через десять и, к счастью, не нуждалось ни в подкупах, ни в посулах. Самое трудное — сделать так, чтобы Бертрана поставили сторожить наш коридор, Ролана — у ограды, а Моне — на заставе. Шансы против того, что именно такая комбинация случится в затмение, были ничтожно малы — 99487306294236873489 к 1.

Было бы форменным безумием полагаться в деле настолько важном на удачу. Доду решил подкупить самого губернатора и принялся за работу. Увы, это оказалось совершенно невозможно, так как а) никто в принципе не мог приблизиться к нему, даже с помощью подкупленных охранников; б) правонарушение, за которое его повысили до губернаторского поста, было непростительного свойства с точки зрения любого правительства — увы, в действительности он был еще больший узник, чем все мы; в) и к тому же обладал невероятным богатством, гарантированной карьерой и всем известной неподкупностью.

Я не стану тут вдаваться в подробности его истории — вам она и так в любом случае известна. Довольно будет сказать одно: природа ее такова, что все эти факты (на первый взгляд

1 Возможно, имеется в виду так называемый Термидорианский переворот (9—11 термидора), приведший к свержению диктатуры Робеспьера. — *Примеч. перев.*

2 Вероятно, имеется в виду Луи де Крийон (1717—1796) — французский военачальник, перешедший с французской службы на испанскую и завоевавший остров Минорка в 1782 году. — *Примеч. перев.*

столь примечательно ей противоречащие) на самом деле идеально в нее вписываются. Как бы там ни было, нота уверенности, звеневшая в посланиях Доду:

«Рвите виноград в Бургундии, а давите в Коньяке: ха!»;
«Суфле с орехами в нем уже приготовили нам на Сене», —

— и тому подобных свидетельствовала, что исполинский его ум не только уже вступил в единоборство с задачей, но и победил ее к вящему удовлетворению обладателя. План был просто идеален: в ночь затмения помянутые трое охранников будут на своих постах у нужных дверей; Доду разорвет одежды свои на полоски, свяжет Бертрана, заткнет ему рот, придет и освободит меня. Вместе мы накинемся на Ролана, заберем его ружье и униформу, тоже свяжем и заткнем. Затем мы устремимся к берегу, продедем все то же самое с Моне и, одетые в их мундиры, захватим лодку ловца осьминогов, поплывем в гавань и именем губернатора потребуем предоставить нам его паровую яхту для погони за сбежавшим дезертиром. Далее мы выйдем в судоходные воды и подожжем яхту, чтобы нас «спасли» и доставили в Англию, откуда уже сумеем договориться с французским правительством о реабилитации.

Таков был простой, но изящный план Доду. Совершенный до последней детали — пока не наступил тот гибельный день.

Пораженный желтой лихорадкой, наш шпион пал замертво в поле, не дожидаясь полднего: «Заканчивай работу!» В мгновение ока, нимало не колеблясь, Доду бросился ко мне и, рискуя подставить шкуру свою под плети, сказал:

— Все, что я вам объяснял шифром на протяжении этого месяца, весь наш план — уловка. Шпион знал все. Смерть запечатала уста его. У меня есть другой план, настоящий, еще проще и надежнее. Я все вам расскажу завтра.

Свисток приближающегося паровоза прервал сей трагический эпизод приключений Дюгелена .

— Да, — сказал мне Доду [продолжал француз], — у меня есть план получше. Стратегема! Вы обо всем узнаете завтра!

Из-за поворота показался поезд, намеренный увезти и рассказчика, и слушателя в Мадчестер.

— Это завтра, — Дюгеслен глядел мрачно, — никогда не настало. То же самое солнце, убившее шпиона, поразило и великий разум Доду. К вечеру его, лопочущего в бреду безумца, бросили в «мягкую комнату», откуда ему уже не суждено было выйти!

Поезд подкатил к платформе крошечной станции, пустив струю пара почти что в нос Бивэну.

— Это был совсем не Доду! Всего лишь обычный преступник, эпилептик; он вообще не должен был оказаться на острове Дьявола. Бедняга уже много месяцев как спятил. Во всех его посланиях не было ни малейшего смысла. Все это была шутка, жестокий розыгрыш!

— Но как, — спросил Бивэн, забираясь в вагон и оглядываясь по пути, — как, в конце концов, вам удалось бежать?

— При помощи СТРАТАГЕМЫ, конечно, — отвечал ирландец¹... запрыгивая в соседнее купе.

¹ Так в тексте автора. — *Примеч. перев.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАССКАЗЫ ДРУГИХ АВТОРОВ, ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ В ЖУРНАЛЕ «ЭКВИНОКС»

БРАЙТОНСКАЯ ТАЙНА

ДЖОРДЖ РАФФАЛОВИЧ¹

Разум Мудрого с легкостью пускается во всякие странные спекуляции, а потом снова возвращается в колею строго контролируемых мыслей. Ассоциации между идеями — имя вам гарпии. С какой внезапностью хватаете вы, невозвещенные, неосторожных смертных! Мудрый вас знает; ему знаком ваш птичий скок; он готов; он вступает в битву и... *va victis!*² — побеждает и подчиняет вас. Дурак же в свою очередь...

Впрочем, мы не отступаем и не наступаем. Я стану говорить только о личном опыте. Однажды ночью, однажды долгой бессонной ночью я на какое-то время предоставил вечным своим врагам, гарпиям, о которых сказано выше, потворствовать мерзким их прихотям. Слишком они для меня неуклюжи, чтобы их бояться.

Ранее тем же вечером мы с горсткой друзей говорили среди прочих предметов о сродствах и тайнах, и вот, когда я уже отправился спать, одна из недавних тайн стала умственным кормом для моих гарпий. Мысли мои оставались, разумеется, совершенно пассивны и воспроизводить их здесь нет никакой нужды. Однако нечто из произошедшего после вынуждает

1 Рассказ был впервые опубликован в журнале «Эквинокс», I (3) (март 1910 года). Джордж Раффалович (1880—1951) — писатель и политический деятель; сын француженки и украинского еврея, натурализовавшийся в Британии. Участвовал в работе над «Эквиноксом» и «Элевсинскими мистериями» Кроули; состоял в А.:А.:

2 Горе побежденным! (лат.).

меня упомянуть здесь о них. С вашего разрешения, припомню основные факты Брайтонского убийства.

В тот вечер, когда было совершено преступление, в доме миссис Ридли давали ужин. Ближе к полуночи хозяйка осталась со слугами одна. В доме были дворецкий, двое лакеев, повариха и две горничных. Покои миссис Ридли выходят на море, как и комната горничной по имени Джейн Флеминг. Повариха и другая горничная, а также все трое мужчин спят в комнатах с задней стороны дома.

На дознании Джеймс Дэйл, лакей, и с ним дворецкий показали, что на всем протяжении ночи не слышали никакого шума. Между тем Гарри Карпентер, второй лакей, был найден убитым в ванной комнате второго этажа. Было удостоверено, что он никак не мог выйти из своей комнаты, не будучи услышан остальными мужчинами, спавшими по обе стороны от него — потому что никто из них в ту ночь на самом деле по тем или иным причинам *не стал*. Но здесь мы имеем дело только с тем, что стало достоянием публики. Полицию и газеты засыпали анонимными письмами, обвинявшими в преступлении Джейн Флеминг, дворецкого и Дэйла. Между тем их не арестовали. Почему?

Я уверен, что все они совершенно невиновны. Полиция, конечно, не в курсе причин подобной уверенности и в отсутствие доказательств должна подозревать означенных лиц.

Кровать миссис Ридли стоит изножьем к камину, с каждой стороны от изголовья располагается по двери, а по левую руку — окно.

Когда поутру горничная вошла в спальню, тело хозяйки лежало у кровати головой к окну. Оно было совершенно нагим. Рядом с телом валялась сорочка, а на шею была небрежно брошена белая шаль. На различных его частях имелось общим числом шестнадцать ран, синяков и порезов разной степени тяжести. Самая серьезная и единственная среди них смертельная рана находилась за левым ухом. Крупные сосуды шеи были разорваны, а череп сильно поврежден. Наиболее неприятная для глаз рана располагалась непосредственно под носом, который был настолько разбит, что делал все лицо практически неузнаваемым. Должен сказать, личность убитой при этом сомнений не вызывала. Все ранения были нанесены неким не слишком острым предметом, причем очень слабым человеком,

вероятно, женщиной. Постельное белье осталось нетронутым. Определенная странность присутствует в том факте, что хотя горничная клялась, будто видела накануне хозяйку в постели, после обнаружения трупа эта самая постель оказалась застелена так, словно в ней никто не лежал и даже не сидел поверх. Полиция приняла это за доказательство существования некой связи между миссис Ридли и убийцей или убийцами; судя по всему, после ухода горничной хозяйка сама намеревалась уйти. Миссис Ридли была известна как чрезвычайно порядочная, аккуратная и осмотрительная леди. Может, она послушалась безотчетного импульса оставить комнату прибранной?

Но вернемся к ванной. Там, как вы помните, тоже нашли тело. Карpentера, лакея, убили тем же самым или очень похожим орудием. И притом не без жестокой борьбы. Как так могло получиться, что в крепко сжатом левом кулаке у него обнаружили небольшой фрагмент кружева, в котором опознали имущество миссис Ридли? Его оторвали от принадлежавшего ей носового платка. находка оказалась тем более удивительна, что платок, о котором идет речь, потом обнаружили в комодe среди множества других, причем ни в самом верху стопки, ни внизу. Кусочек кружева из кулака Карpentера идеально к нему подошел.

Это что касается жертв. Теперь о мотивах. Миссис Ридли была весьма богатой вдовой и владела множеством ценных живописных полотен. Она питала хорошо всем известную неприязнь к чековым книжкам. В дознании принял участие некий лондонский банк, чьи представители написали коронеру в частном порядке

В письме говорилось, что покойная леди была их клиенткой и что утром перед убийством она получила на руки сумму в тысячу двести фунтов банкнотами и золотом, каковую сумму надлежало передать мистеру _____, представителю хорошо известной компании по торговле предметами искусства, в уплату за какую-то картину.

Полиции и общественности это тоже стало известно — ума не приложу, как оно просочилось наружу? Однако помимо сказанного они знали очень мало. Вернее сказать, они кое-что забыли. Потому что имелись и другие факты. Важность этих самых фактов, впрочем, не оценил бы никакой детектив,

поскольку были они довольно расплывчаты — события противоречили друг другу. И ведь ключ содержался именно в них. Убийцей мог оказаться кто угодно — преступник-вор, реформист-трезвенник, сумасшедший, священнослужитель, писатель-романист или дьяволопоклонник — да совершенно любой человек с руками достаточно слабыми или нетвердыми в движениях. Но и целый мир сравнительно великоват, чтобы допустить хоть какую-то определенность в деле выявления убийцы миссис Ридли. Я говорю «сравнительно», потому что для Мудрого мир совсем маленький... *Passons!*¹

За некоторое время до внезапной кончины миссис Ридли ее посетил некий гость, чьи непринужденные манеры немало оскорбили достоинство мужской части прислуги. Сообщали, что это какой-то родственник покойного фабриканта тяжелой артиллерии, Джеймса Ридли. Однако он им *не являлся*. У покойного Ридли вообще не было никаких родственников в целом свете — по крайней мере, среди людей. Выяснилось, однако, что так называемый родственник был на самом деле спиритуалистом. Это само по себе уже звучит достаточно скверно. Состояла ли миссис Ридли с ним в каком-то стоворе или нет? Это просто вопрос. Отставьте вопросительный знак, передвиньте слегка слова местами в предложении и получите два утверждения: *она была* или *она не была*. Насколько же бесконечно понятнее такая постановка проблемы, а! Всякая ищайка, в достаточной степени одаренная интеллектом, просто обязана отыскать среди двух утверждений истинное. Иными словами, был так называемый родственник убийцей или нет? Я утверждаю, что был, хотя никаких человеческих доказательств тому в своем распоряжении не имею. Полиция — то есть, мой друг, инспектор Беннет — говорит, что нет, не был, хотя и может что-то знать. Одна из наших крупных ежедневных газет (и только она единственная) подобралась подозрительно очень близко к сути дела. По мнению редакции, вдова артиллерийского фабриканта малость выжила из ума и совершила самоубийство — с помощью кого-то еще. Им удалось это сделать, несмотря на вмешательство привлеченного шумом лакея. Вот забавная смесь истины и фантазий!

¹ Здесь: но мы опережаем события! (*франц.*)

Через несколько часов после того, как я отдал фуриям на растерзание свой разум, пришло письмо. Именно по этой причине я, собственно, и знаю так много. По причине самой его странности я немедленно понял, что это не розыгрыш. Самую таинственную часть происшествия можно теперь, я полагаю, разгадать без особых трудностей.

«Уважаемый сэръ, — писали мне. — Вы меня не знаете, но я знаю вас. Я следил за вами с другого края света очами духа. В витрине фотографа в Париже я как-то увидел ваш портрет, и с тех самых пор ваша личность превратилась в постоянную — хотя и отнюдь не неприятную — одержимость всей моей жизни. Я в совершенстве знаю вас и вашу работу, настроения и образ жизни. Несколько недель назад я приехал в Англию и увидел вас воочию. Сегодня я вам пишу. Мне известно, что вы интересуетесь странными, неразгаданными событиями, что случаются в этом мире. Недавние мои приключения привлекут ваш интерес к Брайтонскому убийству. Я ближе, чем кто бы то ни было еще, подошел к тому, чтобы стать его виновником. Но когда я прибыл на место, было уже поздно. Если бы я уже не числился сумасшедшим с 1897 по 1898 год и не исцелился в конце концов, странные эти события, без сомнения, ввергли бы меня в состояние полнейшего безумия. Но так уж получилось, что от умопомешательства я до некоторой степени привит.

Месье, истинно, как то, что я — француз, рожденный в Америке от матери-немки испанским идальго, не потрудившимся оставить ей свой адрес (француз в силу натурализации — я, видите ли, хотел наверстать постоянно падающие показатели рождаемости этой страны), так вот, так же истинно, что лакея миссис Ридли убила сама эта дама, потому что он пытался спасти ей жизнь. Прошлое ее мне неизвестно, но уверен, что она состояла со мной в близком родстве в какой-то прошлой жизни, а также что в этой она чрезвычайно интересовалась спиритуализмом. *Voilà la clef du mystère!*¹

Сеньор, вам вскоре станет ясно, что это преступление состоит из великого множества обстоятельств, близких или наоборот, совсем отдаленных во времени и обладающих разной степенью важности. Если некто увидел, как женщина вонзает

¹ Вот вам и разгадка тайны! (франц.).

стилет в грудь третьего лица, — это куда более весомая улика, чем если он увидел, как она его оттуда вытаскивает. А эта последняя — в свою очередь весомей, чем если ее застали стоящей над мертвым телом с окровавленным кинжалом в руке. Два варианта из трех еще как-то допускают невиновность. Доказательства — и вы это также понимаете — суть не более чем основания для разумных и обоснованных догадок, а преступления — собрания связанных между собой обстоятельств. И доказательство реальности одного из них — уже разумное основание предположить, что и остальные тоже имели место. *No pocos palabras!*¹

*Sehr geehrter Herr!*² В девяти случаях из десяти невиновный человек понятия не имеет о сильных сторонах своего положения и может, настоящий *Schafskopf*³, из чистого упрямства оставить подозрительные обстоятельства без объяснения, хотя мог бы объяснить их с невероятной легкостью. И сказанное тем более верно, когда невиновный боле не находится среди живых — или находится, но остается в блаженном неведении относительно подозрений, порожденных некоторыми не получившими своевременно объяснения обстоятельствами.

Но к делу, сэр! Человек возвращается к жизни, дабы завершить или исправить действие, которое в предыдущем его существовании осталось незавершенным или недостаточно совершенным; или дабы предпринять еще одну попытку воплотить в весьма сходных обстоятельствах некое мощное изначальное намерение. Малоприятно, но это правда. Если в прошлой жизни вы были рабочим на заводе мясных консервов или обходчиком на железной дороге, или дельцом с Уолл-стрит, в вашем теперешнем бытии непременно произойдут определенные события, вызывающие у вас в сознании определенные мысли и, как следствие, порождающие определенные поступки. Да, именно так оно и бывает, и сегодня вы, возможно, будете из кожи вон лезть, чтобы не исправить поступок, явившийся результатом тех самых мыслей. Я говорю «не исправить», потому что все мы люди.

1 Меньше слов! (исп.).

2 Уважаемый господин (нем.).

3 Болван; букв. «баранья голова» (нем.).

Как бы там ни было, вы жили в прошлый раз краснокожим в Северной Америке, и звали вас «*Faim de loup*»¹, а теперь вас нарочно поместили в такие условия, что вам будет нелегко не вернуться вновь к прежним, нецивилизованным привычкам.

Итак, миссис Ридли была спиритуалисткой. И, между прочим, совершенно не вдовой. Ее муж не умер. Вы, конечно, помните похороны этого знаменитого фабриканта артиллерии... но в гробу были останки другого человека.

Любовь, уважаемый сэръ, есть феномен, во многом понимаемый неверно — а понять его верно могут, наверное, только самые неотесанные представители нашего рода, именно вследствие крайней его простоты. Любовь принадлежит миру духовному; это влечение, основанное на сродстве. Как раз такое сродство имелось между миссис Ридли и ее супругом.

Разумеется, вам известно о беспроволочном телеграфе. Радиосообщение может быть перехвачено кем-то, кому оно не предназначалось, даже если этот кто-то не имеет никаких склонностей к данной разновидности французских забав. Он невольно получает послания, назначенные другому, и может получиться так, что он тоже знает ответ на заданный вопрос. Точно так же дело обстоит и в духовном мире: и точно так же оно обстояло с миссис Ридли. Ее любовные помышления устремлялись к мужу; его любовные помышления устремлялись к ней, но...

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всяких «но» сопутствуют нашим поступкам? Смею утверждать, что каждое тягостное, греховное, пагубное или просто малоприятное происшествие в нашей жизни является плодом самых благих намерений — относительно благих, во всяком случае, *с нашей колокольни благих* — и, уверен, в этом вы со мной согласитесь. Так вот, в деле миссис Ридли было два таких «но».

Первое имело личный характер. Своему артиллерийскому мужу миссис Ридли не могла дать ничего, кроме любовных мыслей. Темперамента она была напрочь лишена — в том смысле, в каком это слово понимают французы — и муж ее во всем походил на свечу, которая в жизни не видала себя горящей и, как следствие, понятия не имеет, чего лишена, так как с зажженной спичкой знакомства отродясь не водила. Любовь

¹ Волчий голод (франц.).

их была не от мира сего. Силы, правящие нашим «тут-внизу», чурались подобного неуважения к их величию и в детях паре отказали. Короче, любовь эта была абсолютно эфирна, и обе заинтересованные стороны ощущали, что она в чем-то неполна. У мистера Ридли было маловато опыта общения с миром и еще того меньше — сношений с ним. Помимо артиллерийского бизнеса и духовной своей невесты он, по его же собственным словам, ни пустой гильзы бы ни за что не дал. Тем не менее, из какой-то полуосознанной тревоги он время от времени пытался произвести изменения в достойном облике своей будущей вдовы. Случись ему увидеть где шляпку, которая приводила ему каким-то непостижимым образом на ум мысль о земных чувствах, он тут же покупал такую жене. Но вотще! Что с ней, что без нее супруга его выглядела воплощением духовности эфирной и строгой. Как-то он отправился по делам в Париж и, очутившись в этом крайне материалистическом городе, приобрел полный комплект чрезвычайно элегантного и разукрашенного всякими оборочками дамского белья. Так что вы думаете, миссис Ридли эфиризировала даже сей образец *lingerie de cocotte*.¹

Мы что-то удалились от предмета, думаете вы. *Carajo*², нет! Ближе не бывает! Кто убил миссис Ридли? Не имею понятия. Еще немного, и это сделал бы я.

Почему ее убили? Убийца тоже не знал.

Кто убил лакея? Сама миссис Ридли.

Почему она его убила? Потому что он пытался не дать ей быть убитой.

Вот вам в двух словах, мой дорогой сэр, все преступление с объяснением вместе. Говоря, что не знаю, кто убил миссис Ридли, я вместе с тем подразумеваю, что это не имеет никакого значения. Убийца невиновен.³ Слушайте же, что со мной приключилось.

Я встретил одного человека. У него были совершенно удивительные глаза, самые удивительные, какие я когда-либо

1 Белье в стиле кокетки (франц.).

2 Экспрессивное испанское существительное с богатыми ругательными коннотациями. Можно перевести и как «черт побери!».

3 В оригинале письма подчеркнуто красными чернилами. — Примеч. автора.

видел. Наверное, кому-то довольно было в них заглянуть, чтобы просветлеть лицом и душой; меня же они заморозили, иссушили мне кровь и пустили холодную дрожь по костям. Они отражали небо, как обезьяна отражает человека — в чем-то неполноценно, слабо, рабски. Было в его облике нечто жуткое и сверхъестественное; вот уж не самый приятный попутчик, поверьте! Если бы я сам его не видал, вероятно, стал бы отрицать самую реальность его существования.

Повстречал я этого субъекта в путешествии. Преудобно устроившись в уголке железнодорожного купе, я читал французскую книжицу XVI века просто чтобы чем-то занять разум и не испытывать искушения глядеть через окно на слишком уж заурядную окружающую среду.

Мы только что миновали станцию, о чем не преминули сообщить раздражающие крики носильщика. Поезд тронулся, и я ощутил некоторые сожаления от того, что в пустом вагоне мне так и не объявилось попутчика. Я предпринял еще один натиск на книжку, как вдруг — ни дверь, ни окно при этом и не подумали открываться — обнаружил человека, сидящего в противоположном от меня углу. Взгляд его был устремлен на меня. Он не дал мне времени обдумать происходящее и заговорил почти немедленно.

— Могу ли просить вас простить незнакомца, сэр, — обратился он ко мне, — но эта температура для меня совершенно невыносима. Не позволите ли мне открыть окна?

Я и сам люблю свежий воздух, но в тот день погода стояла настолько холодная, что я самым тщательным образом закрыл оба окна. Нечто в его облике и с силой устремленном на меня тяжелом взгляде заставило воздержаться от ответа. Я просто кивнул, промычал нечто неопределенное, подоткнул повыше плед и вернулся к чтению.

Он рассыпался в благодарностях, открыл окна, причем оба, настолько широко, насколько позволяла конструкция и, не обращая никакого внимания на мое очевидное неудовольствие, снова заговорил.

— Вы, без сомнения, гадаете, сэр, каким образом я здесь оказался. Совершенно ничего не имею против сообщить вам, что я явился через это отверстие.

Он указал рукой на потолок; я поднял голову. Единственным отверстием, о котором он мог толковать, была крошечная дырочка в стеклянном плафоне, защищавшем фальшивый светильник. Я пожал плечами, снова что-то промычал и зарылся в книгу.

— Вижу, вы мне не верите, — продолжал он, — а между тем я говорю правду. Я проник сквозь это разбитое стекло к вам — да, к вам, сэр, чтобы увидеть вас, говорить с вами. Я явился с неба. Нет, не надо искать кнопку сигнализации. Мое послание носит чрезвычайно приятный характер. Вас избрали для особой миссии.

Я решил, что с меня достаточно, и быстро и в весьма убедительной форме довел до его сведения, что испытываю только одно желание, но зато очень сильное: чтобы меня оставили в покое. Незнакомец рассмеялся в прстранной манере. Когда я снова встретился с ним глазами, меня охватило необычайное смешанное ощущение симпатии и страха. Именно тогда я и заметил, какими озаряющими душу могут быть иногда его глаза. Он снова заговорил, но уже гораздо мягче.

— Я намерен разъяснить вам цель моего визита. Вы возвращаетесь завтра ввечеру в Брайтон, не так ли?

— Так, но вас это никоим образом не касается.

— Молчите. Смотрите на меня. Все хорошо. Слушайте.

Человеческого его голоса я больше не слышал. Все ощущалось так, будто я потерял сознание. Мой разум, моя воля, мои движения мне больше не подчинялись. Он говорил и говорил долго, а я не мог ни ответить, ни прервать его речи. Не могу сказать, что пребывал в бессознательном состоянии, но и нормальным его назвать у меня не хватило бы духу. Он взял меня за руки да так их и не выпустил. Двигаться я не мог.

— Совершенно необходимо освободить некую особу от материальной оболочки, сообщающей видимость формы ее эфирному духу. Миссис Ридли живет в доме номер тридцать четыре по _____ улице в Брайтоне. Кстати, мое имя — Ридли.

Тут я попытался было что-то сказать, но обнаружил, что не могу. Он продолжал:

— Вы, кажется, удивлены. Я так и думал. Оставайтесь в состоянии восприимчивости. Я — Ридли. Покойный Ридли, как они говорят, но, как видите, очень даже живой. Рассказывают всякое — как я скончался внезапно за шестьсот миль

от английских берегов. Я, однако же, просто исчез. Злые духи искушали меня, и я попался в их тенета. Время шло, и послания любви, которые дух моей жены слал по всей земле, сумели, наконец, достичь меня, когда миновал период пылающего знания. Она требовала смерти как своего неотъемлемого права, хотя знала достаточно хорошо, что в этом я, живой или мертвый, помочь ей не смогу. Мы должны умереть оба и в то же самое время, если надеемся насладиться в посмертии радостями духовной любви, которые на этом свете я нахожу слишком слабыми для моей пылающей и мятущейся пытливости. Я избрал для этой миссии вас, так как время от времени вы воспринимали некоторые мысленные послания, которые я направлял моей супруге. А кроме того, в прошлой своей жизни вы приходились мне родней... то есть, мистеру Ридли.

Завтра вечером вы отправитесь на _____ улицу. Моя жена станет ждать вас как обетованного освободителя. В это же время другой исполнитель окажет ту же услугу мне в другой части света. Да, я буду далеко. Никто не должен вас видеть; миссис Ридли откроет вам дверь. **УБЕЙ ЕЕ, человек! Убей ее в половине десятого вечера. Сделав дело, УХОДИ. Уходи, а по прошествии недели ТЫ ВСЕ ВСПОМНИШЬ. А сейчас, уважаемый сэр, пока что прощайте!**

Когда он произнес последние слова, я пришел в себя. Голова моя была такой тяжелой, что я не пошевелился. Я просто не мог. Казалось, я только что пробудился от очень крепкого сна. Незнакомец исчез — видимо, через дырку в стеклянном плафоне.

Собравшись с силами, я попытался понять, видел ли и слышал ли я хоть кого-то на самом деле. Я не помнил, что мне сказали, за исключением нескольких слов преамбулы об открытии окон и иронического прощания «пока что».

Я закрыл окна и в должное время прибыл на место назначения. Холодный воздух платформы довершил пробуждение. Я отмахнулся от всего происшествия, сочтя его неприятным сном, вызванным неудобствами путешествия, и устремился в отель, где обычно останавливаюсь в Бристоле.

Должен сразу же вам напомнить, сэр, что никаких других воспоминаний, кроме нескольких слов, у меня не осталось, а слова эти были столь абсурдны — особенно те, что про

спуск с небес через дырку в потолке — что они уж точно должны быть плодом спящего воображения. Вот таковы были мои мысли по этому поводу; на этом я и уснул, не вспоминая более о предполагаемом кошмаре.

На следующее утро я сделал все нужные дела и пустился в обратный путь в Брайтон, хотя мой близкий друг и просил меня остаться еще на денек, а у меня не было совершенно никаких причин отказывать ему и себе в удовольствии, которое мы всегда получаем от компании друг друга.

Поездка обошлась без происшествий. Вагон мой больше не пустовал. Битком набитое купе не позволяло роскоши наслаждаться дикими сновиденьями, подобными вчерашним. По прибытии в Брайтон, я поехал в отель. Ну, то есть, я думал, что поехал. Теперь-то я в этом не уверен. Как так получилось, что сейчас я хорошо помню ту часть речей таинственного незнакомца, которая полностью изгладилась у меня из памяти сразу после его отбытия? Но я забегая вперед.

Утром я проснулся с сильной головной болью и пошел почистить пальто, которое (как я хорошо помнил) я замарал накануне вечером, пока ужинал, ожидая поезда на лондонском вокзале. Про пятно я помнил очень хорошо и знал, куда его посадил. Так вот, Я НЕ СМОГ ЕГО НАЙТИ. Это, конечно, пустяк, безделица, и поначалу я так все и воспринял. Но теперь, когда я ВСПОМНИЛ... Должно быть, я привел свою одежду в порядок, согласно полученным от вагонного незнакомца приказаниям.

Но я не убийца, месье, нет. Если бы вы увидели меня воочию, вы отбросили бы все сомнения. Моим глазам можно доверять. Но, конечно же, вы меня не увидите, и покончим с этим.

Ну, что, вернемся к самому началу? Думаю, да. Кто же эта человеческая тварь, *qui languit sur la paille humide d'un cachot?*¹ Сосед! Человек, которого вообще не должны были заподозрить. Но разве сосед убивает соседа вот так, по таким смутным, неопределенным, необъяснимым причинам? Да это же чистое безумие... вот именно, безумие... БЕЗУМИЕ!!

И еще кое-что скажу я вам. Человек, которого они арестовали, весьма вероятно, был свидетелем убийства. Возможно, он страдал тайным желанием пострадать и по возможности подольше. Возможно, он хотел исцеления души; и возможно, именно

¹ Изнывающая на сырой соломе карцера (франц.).

по этой причине он и не пытается ничего противопоставить тем горам улик, которые постепенно громоздятся против него...

Мне только что пришлось на время оставить это письмо, чтобы проследить за парой очаровательных хрустящих капустных кочанов, дабы в процессе кипения они не выплеснули слишком уж много воды мне на газовую плиту. Теперь, вернувшись, я раздумываю о том, что, возможно, вам известен великий шедевр, написанный Достоевским — я читал его только по-французски. «*Crime et Châtiment*»¹ называют они его. В этой ужасной истории дело обстояло похожим образом. МИКОЛКА признается в убийстве старухи-процентщицы и сестры ее, Елизаветы, в то время как настоящий убийца — Родион Романович Раскольников. Миколка жаждет искупления; он хочет страданиями искупить напрасно прожитую жизнь. Он не сумасшедший и не душевнобольной — скорее уж, мистик, фантазер. Вы мне возразите, что он славянин... Ну, да, но что мешает и кому-нибудь из англо-саксов иметь похожий склад ума?

Что насчет кражи? А что если не было никакой кражи? Что если миссис Ридли сама спрятала или уничтожила деньги? Вдруг она и правда сожгла банкноты? Что банкноты женщине, которая собралась умереть?

Полиция застряла на том факте, что Гарри Карпентер, дескать, никак не мог выйти из комнаты, не будучи услышанным. Идиоты! Да может, он вообще туда этой ночью не входил! Может, у него была любовь с какой-нибудь прекрасной девой. Может, он уходил из дому, а когда возвращался, вынужден был прийти на помощь миссис Ридли, вступить в борьбу с посланником мистера Ридли, и быть убитым ею.

Званный ужин! Здесь мы сталкиваемся с самым глупейшим, кретинским, смехотворным, абсурдным и нелепым примером абсурдной, смехотворной, кретинской и глупейшей нелепицы, засевшей в мозгах наших доблестных парней из уголовного розыска. Я уверен, что все гости на том приеме подвергались тайной слежке, что за всеми членами их семей наблюдали, корреспонденцию их перлюстрировали, а прошлое переворачивали. Разумеется, все они вообще никак с делом не связаны. Миссис Ридли приемом этим, по всей вероятности, просто

¹ «Преступление и наказание» (франц.).

хотела *donner le change*.¹ Конечно, ей было совершенно не нужно, чтобы люди представили себе что-то другое, кроме обычного заурядного внезапного убийства.

Вся чушь по поводу кружевного платочка и его обрывка в кулаке у лакея еще больше выставляет напоказ несостоятельность всех ваших научных методов расследования. Она сама его туда засунула после того, как убила лакея.

Мне осталось упомянуть еще только одно происшествие; это снова личное воспоминание. Но раз уж оно в нашей программе последнее, вы, надеюсь, меня простите. Уверен, вы оцените мою добрую волю и поверите в *Wahlverwandschaften*.²

Когда по истечении недели памяти моей дозволено было вернуться к работе, я осознал, какое деяние мне приказали совершить, и погрузился по этому поводу в смешанные чувства. Если бы я грешил психологией, то мог бы сейчас шаг за шагом восстановить весь тот умственный маршрут, которым тогда прошел. Но, думаю, от этого я вполне могу вас избавить и перейти непосредственно к вечеру, которым завершился девятый день после убийства.

В целях самонаставления я бормотал себе текст из «*Clavicula Salomonis*»³ и как раз дошел до инвокации «*Aba, Zarka, Maccaf, Zofar, Holech, Zegolta, Pazergadol*», когда лоб мне вдруг овеяло легким ветерком. Должен вам сказать, у меня в левой руке не было шестиугольной печати, зато я через определенные промежутки принимал хорошо отмеренную «радугу». Вам случалось пробовать эту чрезвычайно научную и крайне живописную смесь напитков?

Ветер меж тем заговорил. Во всяком случае, я услышал его голос, напомнивший мне каким-то странным образом голос покойного — а нынче уже и совсем покойного — мистера Ридли.

— Мы здесь.

Жужжание, шорох; *in susurrement*.⁴ Затем снова голос.

— Мы пришли вместе, о, человек, дабы успокоить твой разум, если досель он не знает покоя. Ты — вовсе не освободитель жаждущей души, как ты думал. Удалось обнаружить более

1 Отвести глаза (франц.).

2 Родство душ (нем.).

3 «Ключ Соломона» (лат.).

4 Шепот, шелест (франц.).

близкого родича — человека, чей дух в прошлой жизни был духом дражайшего нашего брата. Ему приказали убить в 9:20. Вы явились в назначенное вам время и прошли весь... э-э-э... процесс, не подозревая, что все уже сделали до вас. Того человека мы привлекли потому, что он нам роднее. Теперь мы счастливы — счастливее, чем вы в силах понять. *Adieu!*¹

Вот это я и называю *laver son linge sale en famille*.² А роль, которую мне пришлось сыграть во всей этой афере, напомнила мне еще одно выражение: *enfoncez une porte ouverte*.³

Ну, вот и все, мой дорогой сэ. Теперь вы знаете столько же, сколько и я.

Вернусь к своей капусте.

Проливший свет во тьму,

ПЕДРО ПЬЕР ПИТЕР СКАМАНДЕР».

Нужно ли добавлять что-то еще? Со своей стороны я принял рассказ мистера Скамандера за честное отражение реально случившихся событий, даже не пытаюсь никак объяснить ни одну из теорий на этот счет. А вот то, что сообщил мне инспектор Беннет, и вправду весьма любопытно. Он заявил, что все улики против арестованного кандидата в преступники построены на песке, совершенно невозможны и несущественны, так что им придется его отпустить, невзирая на все «очевидные» факты, до сих пор вводившие общественность в заблуждение — да что там общественность, полицию тоже!

Из сегодняшних газет:

«Человек, ранее арестованный в связи с Брайтонским убийством, сделал признание. Его дело будет слушаться на ближайшей сессии суда присяжных».

Что ж, возможно, у нас есть новый Миколка. Но куда же, скажите на милость, подевался блудный родственник-спиритуалист?

1 Прощайте! (франц.).

2 Стирать свое грязное белье при всем семействе (франц.).

3 Ломиться в открытую дверь (франц.).

ФРЭНК ХАРРИС¹

Как-то раз сырым ноябрьским утром я вышел из своих комнат неподалеку от Британского Музея и двинулся по Риджент-стрит. Было холодно и мглисто, воздух походил на рваную вату. Не успел я добраться до Квадранта, как мгла сгустилась в туман цвета грязной воды, так что передвигаться стало совсем затруднительно. Поскольку никакой особенной цели у меня не было, я завязал беседу с полисменом, а потом, дабы сократить час или два до ленча, завернул в полицейский суд на Вайн-стрит. Внутри здания суда воздух был сравнительно почище, так что я уселся на одной из дубовых скамей, охваченный чувством смутного любопытства. Когда я вошел, как раз слушали дело: некий старик, выдававший себя за оптика, изволил продавать очки на улице, мешая тем самым дорожному движению, за что и был арестован полицией. Его переносной лоток с кожаными ляжками через плечо красовался на столе поверенного. Обвинение в помехах движению вытянуть не удалось, так как по велению полисмена старец немедленно убрался с проезжей части, но теперь инспектор выдвигал уже мошенничество на основании жалоб, предъявленных неким рабочим и неким лавочником. Когда я вступил в зал, констебль как раз закончил давать показания. Он покидал кафедру свидетеля с видом чрезвычайно самодовольным и испаряющейся с уст ремаркой, что обвиняемый, мол, «редкостный поганец».

Я устремил взгляд на предполагаемого преступника и обнаружил, что он восседает недалеко от меня под охраной дюжего полисмена. Преступно он отнюдь не выглядел: высокий, тощий и скверно одетый в порыжевший черный костюм, так и колыхавшийся кругом скудной его персоны. Внешность он имел сально-бледную, словно проростки на картошке, которую долго держали в темном подвале. Лет ему казалось около шестидесяти. Не было в его взгляде ничего уголовного или

¹ Рассказ был впервые опубликован в журнале «Эквинокс», I (1) (март 1909 года). Фрэнк Харрис (1856—1931) — ирландский писатель, журналист, в период знакомства с Кроули (в 1908 году) редактор журнала «Вэнити Фэйр». Автор скандальных мемуаров «Моя жизнь и любовные истории» (1922).

вороватого, ничего беспокоящего; глаз его задержался на мне и скользнул дальше со спокойным безразличием, созерцательным и бестревожным.

Рабочий, которого полиция извлекла для подкрепления дела о мошенничестве, немало меня позабавил. Это оказался молодой парень среднего роста, одетый в вельветовые брюки и грубо сшитую куртку из темного твида. Свидетель из него вышел никудышный: он мялся, то и дело замолкал, сам себя поправлял, словно самый смысл любых слов за пределами наиболее употребительных фраз повседневного обихода был ему невдомек. Впрочем, он был совершенно очевидно честен: карие его глаза открыто смотрели на мир. Причиной невнятицы служил тот факт, что речь его членораздельной воспринималась лишь наполовину. Если б ее вдруг удалось выпутать из тумана негодных и неуместных слов, смысл тут же бы стал абсолютно ясен.

Обвиняемый (которого он упорно звал «пожилым джентльменом») предложил ему купить пару очков: дескать, они всякое кажут взаправдашнее, чем ему самому видать. Ну, он «на них монету и кинул». Будучи спрошен судьей, действительно ли в очках ему все было видно отчетливее, он покачал головой.

— Не-а. Вроде так же.

Последовал вопрос: так ввели ли его в итоге в заблуждение? Смысла слова «заблуждение» рабочий, как оказалось, не знал.

— Обжулили? — пошел ему навстречу судья.

— Нет.

Никто его не жулил.

— Может быть, тогда разочаровали?

— Не-а.

И такого он не мог про себя сказать.

Потратил бы он на такую же пару еще один шиллинг?

Не, не потратил бы. Один шиллинг просадить куда как хватит.

Получив позволение удалиться, он зашаркал вон с кафедры, а по дороге к двери все пытался дружески кивнуть обвиняемому. Натурально никакого злого умысла у него не имелось.

У второго свидетеля бойкости речи и выдержки хватило бы на целого стряпчего: зрелый мужчина, высокий, краснолицый и к тучности склонный. Одет он был с изыском, словно какой-нибудь щеголеватый лавочник: в черный сюртук, серые

брюки и светлого цвета галстук. Говорил он цветисто и много, с пылким негодованием, которое так шло к его полным пунцовым щекам. Если рабочий свидетелем был слабым и неопределившимся, то этот мистер Халлет из Хай-Холборна — напротив, решительным и убежденным. Мистер Халлет заявил, что «старикашка» вынудил его приобрести очки, сказав, будто бы эти стекла показывают все вещи как они есть — самую истинную их истину. Стоит, мол, только посмотреть через них на какого человека, и тут же поймешь, пытается он тебя надуть или нет. Вот поэтому-то он их и купил. И ведь не шиллинг у него за них испросили, а целый соверен, и он его дал — двадцать шиллингов, ни много ни мало! И надев очки, только представьте себе, он ничего в них не увидел, ровным счетом ничего! Сплошное надувательство! И, конечно, он пожелал, чтобы «старикашка» забрал гнусные стеклышки назад и вернул его соверен. Это и создало на дороге затор, вызвавший неудовольствие полицейского. Продавец же отказывался возратить деньги, утверждая, что он покупателя не обманывал, и даже имея бесстыдство заявлять, будто у него (Халлета) никаких глаз не хватит разглядеть истину, вот он и не увидел ничего в очках. «Наглая ложь» — вот как назвал это означенный Халлет, наглая ложь и дерьмо, и «старикашка» заслуживает за свои махинации шести месяцев в кутузке, никак не меньше.

Раз или два судьбе приходилось ставить запруды на пути неистового потока экспрессивной лексики. Обвинение, впрочем, вышло формальным и точным. Вопрос теперь оставался только один: как он, судья намерен с делом поступить? Сперва мистер Браун (который судья) произвел на меня благоприятное впечатление. Жизнь не прошла для него бесследно: шевелюра уже редела сверху и седела с боков. Сама голова отличалась прекрасной формой; лоб — примечательной шириной, подбородок и челюсть — твердостью линий. Единственной малопривлекательной чертой на лице выделялась суровая линия рта с губами тонкими и черствыми. Мистер Браун имел репутацию большого ученого и типом личности обладал как раз таким, из которого отлично получаются педанты: могучим интеллектом в сочетании с жидкой кровью, из-за которого слова и книги кажутся куда привлекательнее людей и дел.

Итак, поначалу мистер Браун вроде бы пребывал на стороне обвиняемого и даже пытался смягчить гнев мистера Халлета. Один или два из заданных им вопросов были и остры, и здравы.

— Вы бы не стали принимать товары обратно после того как продали их, не так ли, мистер Халлет? — вопрошал он последнего.

— Да, конечно же, стал бы! — возражал тот весьма энергично. — Я все свое возьму назад с двадцатипроцентной пеней. Мои товары — сплошь честные, на них черным по белому написаны цены. Но пятнадцать шиллингов взад с моего соверена — нет, сэр. Тут я от своего не отступлю!

Судья поглядел на коллегия и обратился к обвиняемому:

— Что вы скажете в свою защиту, мистер Генри?

— Пенри, ваша честь, Мэтью Пенри, — поправил его старик тихим низким тембром, вставая на ноги. — Если позволите: обвинение в мошенничестве совершенно абсурдно, сэр. Негодование мистера Халлета, судя по всему, вызвано тем, что я продал при нем одну пару очков за шиллинг, а другую за соверен. Но это совершенно разные очки, а если бы они и были одинаковы, я, без сомнения, имею полное право просить за мои товары, сколько захочу.

— Все это так, — перебил его судья, — но этот джентльмен утверждает, будто бы вы пообещали ему, что он увидит через очки истину. Полагаю, вы имели под этим в виду, что видеть он в них станет лучше, чем своими собственными глазами?

— Да, — ответил на это мистер Пенри, но не без некоторых колебаний.

— Однако лучше видеть он в них не стал, — продолжал судья, — иначе не потребовал бы от вас принять их назад.

— Нет, — признал мистер Пенри, — но в этом его вина, а не очков. Они бы показали ему истину, если бы у него была хоть какая-то способность ее разглядеть: слепым-то очки ни к чему!

— Ну-ну, — осадил его судья. — Теперь вы пытаетесь меня запутать. Вы же не претендуете, право, что ваши очки показывают, так сказать, самую правду бытия, самую реальность? На самом деле вы хотите сказать, что они просто улучшают способность видеть, так ведь?

— Ну да, — согласился мистер Пенри. — Способность видеть правду и реальность.

— Ага, — с довольной улыбкой подхватил судья, — а ведь это звучит уже более метафизически, чем практически, правда? Если бы ваши очки и вправду давали надевшему их способность различать истину, я бы и сам с удовольствием их приобрел: они мне здесь подчас весьма бы не помешали, — и с той же улыбкой он огляделся вокруг, словно бы ожидая аплодисментов.

Старик с поспешностью поймал его на слове. Он вырвался из-за своей загородки, подскочил к столу, выбрал из кучи пару очков и подал клерку, который в свою очередь уже вручил их мистру Брауну.

Тот нацепил очки на нос и пару минут разглядывал собрание, после чего буквально взорвался:

— Боже мой! Боже милостивый! Просто удивительно! Эти стекла все тут поменяли. Необычайно! Они совсем не улучшают облик людей; напротив, собрания таких зловредных рож пришлось бы еще поискать. Если верить этим окулярам, вы больше похожи на диких зверей, чем на человеческие существа, а уж хуже всех стряпчие! Вот поистине кошмарные физии! Это и вправду может быть истинное положение дел — стекла показывают больше, чем видно обычными глазами. Боже мой! Боже мой! Это просто поразительно! Я склоняюсь к тому, чтобы принять заявление мистера Пенри относительно них, — и он с интересом воззрился через очки на суд.

— Не желаете ли зеркало, ваша честь? — осведомился один из стряпчих весьма сухо, поднимаясь, однако же, на ноги с выражением отчетливого почтения во всей фигуре. — Возможно, это станет для них наилучшей проверкой.

Мистер Браун, кажется, слегка удивился, но отвечал:

— Если б у меня было зеркало, я бы с готовностью в него поглядел.

Не успели эти слова слететь у него с языка, как стряпчий выбрался из-за скамьи, укувылял в частные судейские помещения и вскоре вернулся с небольшим зеркальцем, которое его чести и подал.

Стоило последнему заглянуть туда, как улыбка предвкушения тут же оставила его лицо. Через пару мгновений он

положил зеркало с видом решительным и мрачным, снял очки и отдал клерку, который и вернул их мистеру Пенри. Помолчав, судья кратко сказал:

— Будет, видимо, правильней предоставить все эти факты решению коллегии присяжных. Я отпущу вас под небольшой залог, мистер Пенри, — продолжал он, — но, боюсь, вам придется ответить по предъявленным обвинениям на суде квартальных сессий.

«... два поручительства по пятьдесят фунтов каждое и его собственное обязательство на сто фунтов», — успел разобраться я, после чего мистеру Пенри было велено удалиться с кафедры и подождать в зале, пока требуемый залог за него не будет внесен. По счастью, старик уселся прямо рядом со мной, так что я смог хорошенько его рассмотреть. Борода его и усы некогда были каштанового оттенка, но ныне вся рыжина потускнела и ушла в седину. Борода отличалась длиной, жидкостью и неухоженностью и лишь прибавляла к какой-то заброшенной неопрятности всего его облика. Голову он держал немного вперед, словно бы шея была слишком слаба ее носить. Немощным выглядел мистер Пенри, старым и запущенным. Тут он перехватил мой взгляд, и я увидал, что глаза у него ясно-синие, будто бы лет ему гораздо меньше, чем кажется. Мягкая его и усердная манера и благородная речь и так уже завоевали мою симпатию; когда же мы встретились глазами, я тут же, не теряя времени, ему представился и сообщил, что буду рад выступить одним из поручителей, если это сэкономит ему время и силы. Старик поблагодарил меня с некой отрешенной любезностью: да, он с радостью примет мою добрую услугу.

— Вы так излагали показания, — заметил я ему, — что совсем запутали судью. Вы почти что утверждали, что ваши очки — волшебные.

Эти слова я произнес с улыбкой и чуть нерешительно, так как ни в коей мере не желал его оскорбить, но притом не очень себе представлял, как передать произведенное на меня его речами впечатление.

— Волшебные очки... — повторил он со всей серьезностью, словно взвешивая каждое слово. — Ну да, можете называть их волшебными.

Сказать, что я удивился, значит, ничего не сказать — таковы были мои изумление и восторг.

— Но не может же быть, что очки показывают все таким, как оно есть, — воскликнул я, — самую суть вещей?

— Именно так оно и может быть, — спокойно подтвердил мой собеседник.

— Но тогда это совсем не обыкновенные очки, — тупо твердил я.

— Нет, совсем не обыкновенные очки, — серьезно кивал он.

У него, кстати, имелась прелюбопытная манера некоторое время пристально смотреть на вас сузившимися глазами, а потом несколько раз быстро моргать, словно бы напряжение было слишком для них велико.

Признаться, он до крайности возбудил мое любопытство, однако, прямо напрашиваться примерить пару очков мне совсем не хотелось, так что я продолжил расспросы.

— Но если они действительно показывают истину, как так могло получиться, что мистер Халлет ничего в них не увидел?

— Да просто потому, что у него нет никакого представления о реальности. Он убил в себе врожденную способность воспринимать правду. Впрочем, выдающейся она никогда не была, — с улыбкой отвечал этот странный торговец. — Его привычки и образ жизни извели ее на корню. Он настолько потонул во всяческой лжи, что теперь, как крот, слеп к истине и не разглядит ее, даже если наступит. Припоминаете — рабочий-то видел в очках преотлично.

— Да уж, — со смехом подхватил я, — и судья тоже увидел в них куда больше, чем готов был признать!

Старик тоже рассмеялся со мной, простодушным и юным смехом, который показался мне очаровательным.

Наконец, я подобрался к Рубикону.

— А мне вы позволите купить у вас пару очков? — спросил я с надеждой.

— С удовольствием дам их вам, если вы согласитесь принять, — отвечал он с энергичной любезностью. — У моего поручителя должна непременно быть пара таких.

И тут же уставился на меня своим пристальным странным взглядом. Через мгновение он отвернулся, порывшись немного в своем лотке и, выбрав пару очков, протянул их мне.

Дрожа от нетерпения, я нацепил их на нос и жадно воззрился вокруг. О, да, судья сказал правду! Они меняли все. Люди кругом были те же, да не те. Вот это лицо вдруг стало ужасно грубым — никакими словами не описать; вон то заострилось и запылало зловещей алчностью; третье оскотинилось от похоти. Теперь я зрел, так сказать, главную страсть каждого во плоти. Что-то подвигло меня обратить вооруженный очками взор на самого продавца — и если до того я изумился, то теперь едва не забыл себя от восторга: стекла его буквально преобразили. Седая борода окрасилась золотом, синие глаза засияли умом; все черты стали на диво благородны, а весь облик излучал искренность и добросердечие. Я поспешно стащил очки, и дивное видение тут же растаяло. Мистер Пенри глядел на меня с легкой улыбкой ожидания и любопытства. Невольно я протянул ему руку исполненным почтения жестом.

— Чудесно! — воскликнул я. — Ваше лицо изумительно, а прочие гротескны и жутки. Что же это такое? Объясните мне, прошу! Вы же все мне расскажете, правда?

— Вы должны последовать за мною туда, где я живу, — сказал он, — и где мы сможем поговорить свободно. Думаю, вы не пожалеете, что помогли мне. Я хочу все вам объяснить. На свете так мало людей, — добавил он, — готовых помочь другому в трудную минуту. Я хочу показать вам, я знаю, что такое благодарность.

— Нет никаких причин для благодарности, — поспешил возразить я, — я ничего не сделал.

Голос его теперь казался мне сильным и благозвучным, снова приводя на память лик, ставший прекрасным благодаря чудесным очкам...

Я для того так подробно описал, каким явился мне поначалу мистер Пенри, что поглядев на него через волшебные очки, я никогда уже больше не видел его прежним. Припоминая свои первые впечатления, я дивился, как мог так ошибаться. В каждой черточке лица его светились утонченность и доброта, и некоторая отвага тоже, хотя и была она чисто духовного свойства. Мистер Пенри захватил меня целиком: я желал больше узнать о нем, помочь ему, если такое возможно, любыми и всеми возможными способами.

Прошло некоторое время, пока удалось соблюсти все связанные с залогом формальности. Я сумел убедить его отобедать со мной. Мистер Пенри спокойно поднялся, надел на плечи кожаную ляжку, пристроил громадный ящик под мышкой и с полным самообладанием устремился на улицу. Теперь мне и в голову не пришло бы хоть чего-то стыдиться в его облике, не то что час или два назад. Я был слишком взволнован даже для гордости и испытывал лишь огромную радость и любопытство.

Мой восторг возрастал от всего, что говорил или делал мистер Пенри, пока не достиг той отметки, когда одно только беззаветное служение уже могло меня удовлетворить. Так что после ленча я усадил его в кэб и повез к своему собственному поверенному. Мистер Моррис из «Господ Моррис, Кут энд Ко.» с готовностью взялся за дело мистера Пенри на квартальных сессиях и с не меньшей готовностью согласился, что обвинение было раздуто полицией и серьезных оснований под собой не имело. Впрочем, когда я отвел его в сторону и попробовал убедить, что его новый клиент — человек необычайных возможностей, мистер Моррис улыбнулся весьма недоверчиво.

— Вы такой энтузиаст, мистер Винтер, — сказал он мне едва ли не с упреком. — Нам, стряпчим, приходится видеть мир исключительно в холодном свете разума. Зачем вы вообще ввязались защищать этого мистера Пенри? Нет, конечно, если вы твердо решили, — продолжал он, предупреждая мои возражения, — я сделаю для него все, что в моих силах. Но если бы я был на вашем месте, я бы смотрел в оба и избегал всяких поспешных действий.

Дабы произвести на него должное впечатление, я взял тот же холодный тон и объявил, что мистер Пенри — мой друг и что ему, мистеру Моррису, надлежит не оставить от обвинения камня на камне и во что бы то ни стало доказать его, мистера Пенри, честность. На этом я возвратился к мистеру Пенри, и мы вместе покинули контору.

Обиталище нового знакомца меня, надо сказать, разочаровало: мои ожидания, видимо, устремились куда-то за пределы серой обыденности. Жил он в Челси, в дряхлом старом доме с видом на разбитую дорогу и тащившиеся вдоль зловонных грязных берегов баржи. Но даже и тут отъявленный

романтик все равно отыскал бы себе кусочек красоты: кудри тумана вились над рекой и окутывали возвышавшиеся на том берегу дома нежной тайной, словно складками голубого аксамита. Сквозь налитый влагой воздух солнце гляделось круглым и алым, будто огненное колесо Фэтоновой повозки.

Комната у мистера Пенри оказалась почти голой. У широкого низкого окна окопался громадный сосновый стол, заваленный инструментами и стеклами; мощные электрические лампы слева и справа свидетельствовали о долгих часах кропотливого оптического труда. Чердачная крыша сходилась по центру углом. У стены тулилась низенькая койка на колесиках, отгороженная дешевой японской бумажною ширмой. Всю стену между кроватью и окном занимали забитые книгами сосновые же полки. Все было очень аккуратно и чисто, что совершенно не мешало комнате выглядеть холодной и неприветливой в этом сыром и спертom воздухе.

Вот тут-то мы и уселись, и принялись разговаривать, и разговаривали, пока солнце не скрылось из виду, и не сгустился туман, и не настала ночь. Тут наше столь примечательно начавшееся знакомство переросло в дружбу. Прежде чем отправиться ужинать, старик показал мне портреты двух своих дочерей и крошечную миниатюру жены, оставившей этот мир пятнадцать лет назад.

То был лишь первый из многих увиденных этой комнатой разговоров, первая из наших доверительных тайных бесед. Мало помалу я узнал всю историю мистера Пенри, пересказанную мне по кускам и без всякой последовательности — так друг разговаривает с другом, пока близость растет между ними и крепнет. И если ныне мистер Пенри моими устами излагает повесть своей жизни в хронологическом порядке и сплошным текстом, то это преимущественно затем, чтобы избавить читателя от ненужных повторений и монотонности то и дело прерывающегося рассказа.

* * *

— Мой отец, — начал мистер Пенри, — занимался в Челси оптикой и изготовлением очков. Мы жили прямо над магазином на Кингс-роуд. Детство у меня выдалось довольно

благополучное, но никоим образом не примечательное. Как все здоровые дети, играть я любил куда больше, чем учиться, но школьные мои дни были слишком бедны и событиями, и любовью, чтобы называться по-настоящему счастливыми. Мать моя умерла слишком рано, чтобы я успел как следует узнать ее или хотя бы оплакать потерю. Отец был добрым человеком, невзирая на педантизм и пуританство. Я — единственный сын в семье, что, возможно, сделало его добрее ко мне, и к тому же гораздо моложе обеих моих сестер, которые уже совсем выросли, когда я еще бегал в коротких штанишках, и успели выйти замуж и покинуть отцовский дом до того, как я их узнал или смог полюбить.

Когда мне было около шестнадцати, отец забрал меня из школы и принялся учить собственному ремеслу. В свое время он был отличным работником, старого, доброго английского типа — умелым и тщательным, хотя и слишком, пожалуй, медленным. Он всегда и неизменно стремился отполировать каждое стекло до полного совершенства, и такая манера создала ему среди уважаемых покупателей определенную репутацию. Он преподавал мне все элементы своего мастерства ровно в том виде, в каком сам им научился, а за следующие пять или шесть лет сумел привить мне и желание доводить каждый выходящий из моих рук предмет до идеала. Впрочем, этот подражательный период не продлился особенно долго. Еще не достигнув зрелости, я начал постепенно отдаляться от отца, желая зажить собственной жизнью и предаться чтению и размышлению — занятиям, совершенно чуждым его обычаям. Разделило нас не что иное, как религия. В школе я успел нахвататься немного французского и немецкого и ознакомиться на обоих этих языках с образом мыслей весьма скептического толка, который постепенно пустил корни у меня в сознании и привел со временем к отказу от родительской религии и даже неприязни к ней. Я упоминаю об этом лишь потому, что вся та невеликая самобытность и оригинальность, сколько ее во мне есть, стала результатом этих штудий, да интеллектуальной борьбы, сотрясавшей три или четыре года моей юности. Долгие месяцы я яростно читал, чтобы разрешить сомнения, а затем, и с не меньшей яростью — чтобы укрепить зарождавшийся скептицизм.

До сих пор помню удивление и надежду, осиявшие меня, когда я прочел, что сам Спиноза, один из героев моей мысли, тоже зарабатывал на жизнь, шлифуя стекла. Он был лучшим специалистом своего времени, говорилось в той книге, и потому я решил стать лучшим специалистом своего и с этого времени относился к ремеслу со всей возможной серьезностью и энергией.

Я постарался узнать о стекле все, что только мог, и даже приступил к изготовлению собственного материала по самым лучшим рецептам. Я раздобыл себе все доступные книги по оптике, тщательно их изучил и так, мало-помалу, овладел всей наукой этой профессии.

Мне минуло всего девятнадцать или, может быть, двадцать, когда отец обнаружил, что в ремесле я далеко превосхожу его ассистента по фамилии Томпсон. Некий знаменитый окулист с Харли-стрит как-то прислал нам множество стекол, сопроводив их множеством же мелких указаний. Ими занимался как раз Томпсон. В один прекрасный день их принес нам назад чрезвычайно беспокойный старый джентльмен, объявивший, что они совершенно никуда не годятся. Он предъявил письмо от сэра Уильяма Крейтона (окулиста), в котором намекалось, что стекла изготовлены недостаточно качественно. Отца в тот момент дома не было, и письмо вскрыл я. Изучив предъявленные стекла, я убедился, что жалобы вполне оправданы, и сообщил о том джентльмену. Он между тем оказался известным парламентарием, лордом Б., и заявил мне весьма раздраженно:

— Отлично, юноша! Так сделайте же мне стекла как следует, и я буду удовлетворен. Но не ранее! Учтите — не ранее.

Я одарил его улыбкой и заверил, что проделаю всю работу самолично. Он покинул мастерскую, что-то про себя бормоча, словно и наполовину не веря моим обещаниям. Я тем временем вознамерился доказать, на что способен. Когда возвратился отец, я рассказал ему, что случилось, и упросил оставить работу мне. Он согласился, я немедленно удалился в крошечную лабораторию, которую устроил себе на заднем дворе, и приступил к выполнению возложенной на меня задачи. Я сам сделал стекло и отшлифовал его, а потом изготовил очки, согласно всем полученным инструкциям. Закончив, я отослал их сэру Уильяму Крейтону с запиской, и не прошло и нескольких

дней, как мы удостоились нового визита от лорда Б., который сообщил моему отцу, что у него в жизни не было столь превосходных очков, и что я «совершеннейшее сокровище». Таких законченных чудаков удовлетворить нелегко, но будучи удовлетворены, они становятся столь же неумеренны в славословиях, как раньше — в хулах. Лорд Б. создал мне репутацию как изготовителю очков, и долгие годы я наслаждался этим своим маленьким триумфом...

Женился я года в два или три к двадцати, а еще лет семь или восемь спустя отец мой умер. Оставленную его смертью прореху, разверзшуюся пропасть утраты и одиночества с успехом заполнили юные мои дети. У меня было две маленькие девочки, которые в то время составляли для меня источник непрерывного интереса. Как быстро мы научаемся любить эти крошечные создания с их слезами и смехом, с надеждами и вопросами, и играми в «понарошку»! И сколь сильнее наше чувство из-за всего, что нам приходится пройти ради их любви, из-за всех чаяний и надежд на ожидающее их будущее! Но это дело обычное и может легко вам прискучить. Счастье человеческое другим людям не интересно, да и не думаю, что слишком много счастья хорошо для нас самих. Как бы там ни было, в те десять или пятнадцать лет, что я был счастливее всего, я меньше всего делал — меньше всего развивался как мастер, хочу я сказать, и наименьшим был мой интеллектуальный прогресс как человека мыслящего. Но когда мои девочки подросли и начали отдаляться от дома, рассудочная моя природа снова принялась кипеть. Человеку нужны в жизни какие-то интересы, а когда сердце пусто, голова найдет, чем себя занять, часто думаю я.

В один прекрасный день ко мне явился примечательный посетитель. Он пришел, чтобы заказать пару очков — весьма интересный человек. Он был молод, весел и полон энтузиазма; слова так и текли у него потоком, а речь и манеры были восхитительно блестящи. Своим прямодушием и жизнерадостностью он буквально озарил сумрачную мою мастерскую. Ему требовались очки, чтобы исправить небольшое различие в зрении между правым и левым глазом, а ко мне его отправил сэръ Уильям Крейтон, так как стекла нужно было изготовить особенно хорошего качества. Я пообещал лично заняться ими, и тут он разразился следующей речью:

— Мне чрезвычайно интересно, будет ли совершенное зрение подмогой или помехой моему искусству!

— Я, знаете ли, художник, — продолжал он, отбрасывая со лба непокорные волосы, — а каждый из нас, художников, видит жизнь своим особенным способом, и красота у него тоже особая. Вот будет любопытно, если талант действительно проистекает от разницы между глазами, правда?

Я улыбнулся его рвению и записал имя, в то время совершенно мне незнакомое. Вскоре ему суждено было стать знаменитым и незабвенным превыше всех прочих имен: Данте Габриэль Россетти. Я сделал очки, и он пришел в совершеннейший от них восторг, и принес мне в знак благодарности свой небольшой живописный портрет.

— Вот и он, — сказал мистер Пенри, указывая на небольшую панель, висящую подле кровати, — образ человека необычайного, гения, если такие еще водятся на земле. Я не знаю, что он во мне нашел, кроме того, что я неистово им восхищался. Мастерская моя оказалась близко от его дома в Челси, так что он стал часто захаживать и коротать часок за разговорами в гостиной — да за такими, каких я никогда не слыхал ни до тех пор, ни после. Слова его были моей пищей и питьем и даже более того! То ли его думы, то ли сама магия личности питали мой разум жизнотворной эссенцией роста и бодрости, в которой он так нуждался. В совершенно реальном смысле слова Россетти стал духовным моим отцом. Он научил меня такому в искусстве, что я и вообразить не мог; он открыл мне новое небо и новую землю и, сверх того, продемонстрировал, что и мое ремесло включает в себе художественные возможности, какие не привидятся и во сне.

Я никогда не забуду тот миг, когда он заронил в мою душу семя, которое стало расти и расти, пока не заполонило всю мою жизнь. Это случилось в моих комнатах за мастерской. Он, как всегда, разглагольствовал в обычной своей живой и пылкой манере, сыпал мыслями и истинами, стихами и эпиграммами, подобно ювелиру, перебирающему сверкающие драгоценности. Я слушал его с раскрытым ртом, силясь запомнить как можно больше, чтобы усвоить хоть малую часть всего этого словесного великолепия. Внезапно он замолчал, и некоторое время мы курили с ним в тишине. Но тут Россетти снова заговорил.

«Известно ли вам, мой серьезный друг, — произнес он внезапно, — что в голову мне пришла одна идея, которая однажды, быть может, пригодится и вам. Намедни читал я один из романов Вальтера Скотта: эта его романтика, знаете ли, развлекает меня, хотя глубокой, как море, ее и не назовешь. Так вот, я знал, что лет с сотню назад некий человек вроде вас изготовил так называемое Клодово стеклышко¹. Думаю, оно просто было розового оттенку, — добавил он со смехом, — но так или иначе, предполагалось, что оно все делает красивее и *клододобнее*. Так почему бы и вам не сделать что-то наподобие, а? Англичанам было бы немало пользы хоть какое-то время поглядеть на мир в розовом свете».

«А потом вы еще могли бы создать очки Россетти, — все еще смеясь, перебил он сам себя, — и если бы эти тупые саксы хоть мельком увидели, какие страсти снедают этого джентльмена, они мигом бы проснулись, я в этом уверен. Почему бы вам не заняться, мой друг, чем-нибудь по-настоящему достойным?»

«Знаете, — продолжал он уже серьезно, — а в этом действительно что-то есть. Наверное, если бы у меня с самого начала были ваши очки, я никогда не стал бы таким художником, каким стал. То есть, — он почти что говорил сам с собой, — если бы глаза мои изначально были в совершенном порядке, я, возможно, вполне довольствовался бы тем, что вижу. Но так как они работали неидеально, я пытался видеть все вещи такими, какими их лицезрела моя душа, и потому изобретал облики и жесты, каких реальный мир никогда бы мне не дал».

— Я едва понимал, о чем он толкует, — признался мистер Пенри, — но слова его запали мне в сердце. Почва была уже готова — он вспахал ее; и вот семя пустило корни и дало всходы. Я никак не мог выбросить из головы Клодовы очки и очки-Росетти и даже дал в газету объявление, что ищу пару старых Клодовых стекол, и, представьте, через месяц или около того, мне их привезли.

¹ Вероятно, имеется в виду зеркало Клода Лоррена — небольшое слегка выпуклое зачерненное зеркало, использовавшееся английскими художниками конца XVIII — начала XIX века для пейзажной живописи. Живописец вставал спиной к изображаемому виду и писал его с отражения в зеркале, дававшего упрощенную и более эстетизированную тональную разгонку. Названо по имени французского пейзажиста XVII века, чей колорит англичане пытались имитировать.

Можете себе представить, как тяжело мне давалось ожидание. Я жаждал работать, я мечтал воплотить идею, молниенной вспышкой сверкнувшую у меня в голове, пока говорил Россетти. За время нашего знакомства я дюжину раз был у него в ателье и научился узнавать и восхищаться тем типом женской красоты, который ныне связывают с его именем — женщиной с лебединой шеей, с томным ликом и тяжелыми веками, сохранившей для нас по сию пору частицу пожиравшей Россетти неутолимой страсти. И вот, изучая его работу и погружаясь в питавшие ее эмоции, я вдруг за один какой-то день повстречал на улице с полдюжины девушек, каждая из которых могла бы послужить моделью Россетти. О, да, я начал видеть мир так, как видел его он! И тот разговор о Клодовых очках заронил мне идею, что я, возможно, и вправду сумел бы сделать очки, способные дать своему носителю возможность увидеть мир таким, каким его видел Россетти и каким увидел я, когда влияние художника полностью мной овладело. И это будет сделать куда проще, сказал я себе, чем хорошее Клодово стекло, ибо, в конце концов, я и понятия не имею, как видел вещи Клод, зато очень хорошо себе представляю особенности зрения Россетти. И вот я начал пристально изучать разницу между его глазами и, после того как сделал пару очков, заставивших мои глаза видеть по-разному ровно в той же пропорции, что у него, обнаружил, что россеттианское видение мира у меня чудесным образом обострилось и усилилось. О, с этого мгновения задача моя была проще простого! Мне достаточно было лишь изучить каждую конкретную пару глаз и при помощи стекол изменить их зрение так, чтобы они обрели рассогласованность гениальных очей Россетти — и считайте, работа наполовину сделана! Еще я выяснил, что могу чуть-чуть усиливать эту рассогласованность и так пропорционально усиливать и россеттианское восприятие действительности... но стоило мне лишь слегка перегнуть палку, как все тут же начинало снова расплываться.

Вот до какой степени продвинулись мои изыскания, когда в руки мне, наконец, попала пара старых Клодовых очков. Я мгновенно понял, что неизвестный оптик XVIII века даже не приблизился к высотам моей работы. Он, как и предполагал Россетти, довольствовался тончайшей окраской стекол в несколько оттенков. На самом деле он изучал цветовосприятие

человеческого глаза, точно так же как я изучал его восприятие формы. Получив этот ключик, я сумел довести свой труд до конца. Мне хватило нескольких дней, чтобы понять: видение цвета Россетти было столь же ограниченным, или, вернее, следует сказать, столь же индивидуальным, как и его видение формы. И стоило мне однажды постичь особенности его цветного зрения, и я смог воспроизвести их в стекле с тою же легкостью, что и особенности видения форм. После этого открытия я немедленно приступил к воплощению того и другого в полудюжине разных пар очков.

Эта работа заняла у меня месяцев шесть или восемь. Сделав все, на что был способен, я послал Россетти записку и стал с нетерпением ждать его прихода; почти болезненный пыл, надежда и ужас попеременно захлестывали меня. Он явился. Я протянул ему очки. Он нацепил их и выглянул на улицу. Я ждал. Он удивился — это бросилось мне в глаза — и немало озадачился. Пока он сидел, размышляя, я объяснил ему, что собой представляли старые Клодовы очки, и как мне удалось развить его идеи и прийти вот к этому открытию.

«Да вы просто художник, мой друг, — вскричал он наконец, — и художник нового типа! Если вы можете помочь людям видеть мир так, как видел Клод и как вижу я, что вам стоит дать им глаза Рембрандта и Веласкеса. Вы смогли бы заставить тупиц понять жизнь, как понимают ее величайшие из нас!»

«Но, увы, такое невозможно, — добавил он, мрачней лицом, — и все это только мечта. У вас есть мои живые глаза, следовательно, вы в силах показать другим мой мир; но глаз Рембрандта, Веласкеса и Тициана у вас нет, и нет у вас физического ключа к душам великих мастеров прошлого, а потому работа ваша устремлена исключительно в настоящее и будущее».

«Но и этого довольно и более чем довольно! — быстро добавил он. — Вперед! Есть еще глаза Миллеса, ими тоже можно заняться, и Коро во Франции, и еще с полдюжины других, и благо мне, что я навел вас на этот след. Вы будете творить чудеса, мой друг, настоящие чудеса».

Его похвала чрезвычайно воодушевила меня и по-своему обрадовала. В то же время я преисполнился решимости не бросать идею очков Веласкеса и Рембрандта, так как познакомился с этими мастерами благодаря общению с Россетти и успел

горячо их полюбить. Он все время к ним обращался, цитировал их, с позволения сказать; давно уже я взял за обыкновение проводить пару вечеров в неделю в Национальной Галерее, чтобы получше узнать тех, с кем водил дружбу его неугомный дух.

Примерно год после описанных событий я, стоило выдаться свободной минутке, бежал в Галерею. В конце концов, мне показалось, что я уловил палитру Тициана с тою же точностью, что антикварные очки — палитру Клода. Зато поймать его видение формы оказалось необычайно трудно. Впрочем, я твердо вознамерился достичь успеха. Вскоре бесконечное терпение и бесчисленные попытки начали медленно приносить плоды. Короче говоря, за каких-то восемь—десять лет я сумел создать четыре или пять разных моделей очков. Само собой разумеется, очки Клода и Россетти, но кроме них еще Тициана, Веласкеса и Рембрандта — и тут мой разум встал на якорь у берегов достигнутого. Не то чтобы я совсем перестал думать, но на какое-то время мысли мои перестали воспарять, а все носились кругами вокруг уже им известного. Изготовив первую пару очков Россетти, я принялся учить своего ассистента, Уильямса, премудростям технологии, чтобы когда-нибудь представить эти произведения публике. Вскоре перед нами открылся обширный новый рынок. Челси — я, разумеется, имею в виду старый Челси — населен почти преимущественно художниками, и вот многие из них стали ко мне заходить и даже превратили мой магазин во что-то вроде клуба, где они встречались и приводили сюда своих друзей, и вели разговоры. У Россетти были последователи, даже еще при жизни. Однако подлинный успех пришел ко мне с Тициановыми очками. Свойственное великому венецианцу романтическое видение жизни и красоты составляло для покупателей неодолимый соблазн, так что эта модель очень скоро стала играть важную роль в нашей торговле.

Домашняя жизнь моя в тот период была, увы, не такой счастливой, как раньше. За долгие годы бесконечных экспериментов дочери выросли и повыходили замуж, а жена, горевавшая в разлуке с детьми, стала больше нуждаться в моем внимании и времени — и это как раз когда я, целиком захваченный новой работой, уделял их ей все меньше и меньше. Поначалу она еще жаловалась, но когда увидала, что жалобы никак на меня

не влияют, снова замкнулась в себе, и я почти совсем перестал ее видеть. А потом работа моя была завершена, торговля встала на ноги, а магазин, как я вам уже говорил, превратился в место встреч художественной молодежи. Я полюбил открытые веселые лица и пылкие молодые голоса и словно бы сам возвратился в годы юности в компании артистов и живописцев, искавших моего общества. Внезапно я осознал, что жена моя больна, очень больна, и не успел я понять, насколько в действительности она слаба, смерть похитила ее. Боль утраты превзошла всякое представление. Моя супруга была такой нежной и доброй; я испытывал мучительную тоску по ней каждый день, каждый час. Наверное, тогда я начал ненавидеть свой магазин, магазин, научивший меня ею пренебрегать. Все в нем напоминало мне о совершенной ошибке; ежедневные обязанности стали мучительны и докучны.

Где-то в то же время я начал ужасно скучать по Россетти, по живительному веянию его ума, его беседы. Он часто уезжал в деревню, и я подолгу его не видал. Когда, наконец, мы встретились вновь, я с ужасом увидел, что свет утекает из него: он стал мрачным и раздражительным, настоящим неврастеником. Конечно, интеллектуальное богатство совсем иссякнуть не могло: он то и дело пробуждался и принимался говорить на старом своем, магическом языке:

... Я, потрясенный голосом напевным,
Следил, как все растет из ничего:
Посредственность, пройдя сквозь волшебство
Преображалась чудом задушевым¹.

Но куда чаще он оказывался мрачен и встревожен, и встречи с ним печалили и угнетали меня. Юные художники, приходившие в магазин, не могли заполнить оставленную им пустоту. Они весело щебетали, но ни один не был волшебником и магом, каким был он. Тогда-то я начал понимать, что гений вроде его — поистине редчайший на нашей планете дар.

Я здесь пытаюсь как можно более кратко объяснить вам причины моей меланхолии и неудовлетворенности, хотя

¹ Из стихотворения Альфреда Дугласа «Мертвый поэт». Пер. с англ. Е. Витковского.

сомневаюсь, что мне удалось это сделать достаточно убедительно. В общем, именно в это время я стал ощущать недовольство, тревогу, не находил себе места. И снова пустота в сердце заставила меня яростно работать и думать. Следующий шаг неизбежно должен был стать продолжением последнего, что я сделал.

Изучая великих мастеров, я начал примечать присутствие одного характерного свойства, общего для них всех, некоей способности, которая проявлялась у них в самой напряженной работе: умения видеть все сущее, как оно есть — самую жизненную, сущностную правду вещей. Я вовсе не хочу сказать, что все они обладали этим свойством в одинаковой степени. Вовсе нет! Правда жизни у Тициана насквозь проникнута романтикой; его помнят в основном за красоту и магию цвета. Зато Гольбейн запоминается способностью запечатлевать реальность. Но сравните Тициана с Джорджоне или Тинторетто, и вы убедитесь, что его восприятие реальности вещей куда лучше и точнее, чем у них. Именно оно отличает его от прочих великих колористов Венеции. И по мере того, как мое собственное видение жизни становилось печальнее и прозрачней, передо мною вырисовывалась следующая цель: попытаться создать очки, которые бы показывали саму реальность, сокровенную правду вещей, какой ее наблюдали все великие мастера. И вот я снова ударился в работу.

Примерно в это время до меня дошло, что хотя покупателей в магазине значительно прибавилось, художественные мои предприятия никаких денег не приносят. Старая торговля простыми очками была и оставалась самым прибыльным направлением моего бизнеса. Продажи очков «под Россетти» и «под Тициана» сначала взлетели просто до небес, а затем так же быстро упали, как только иссяк флер новизны. Очень скоро мне стало ясно, что на своих артистических изобретениях я потерял куда больше, чем получил. Но мне, признаться, было все равно, делаю я тысячу фунтов в год или полторы. Мой фрегат уже обогнул мыс сорокалетия, который для меня всегда означал предел юности в жизни мужчины; годы мои все росли, а желания все усыхали. Пока мне хватало средств на самые простые мои нужды, алчность к деньгам не туманила мой горизонт.

Это новорожденное желание создать очки, которые показывали бы людям правду жизни, исподволь начало мной овладевать.

Постепенно я предоставил магазину крутиться самостоятельно, передав его в руки своего ассистента, Уильямса, а сам затворился в крошечной мастерской на заднем дворе, которая и стала театром моего достижения. Не могу вам сказать, как долго я работал над задачей, знаю лишь, что прошли годы и годы. Я отдавал ей все больше времени и труда, все больше страсти моей души. Я все сильнее любил ее и все меньше думал об обычных мирских делах. Шло время; я уже жил в каком-то сне наяву, одержимый единственной целью. Случалось, я поднимался ночью и брался за работу, а спать отправлялся днем. Месяц за месяцем кряду я почти ничего не ел в надежде, что голод обострит мои способности, а то питался исключительно кофе, ожидая того же эффекта. Наконец, мало-помалу я стал приближаться к исполнению моей заветной мечты. Но когда я ее достиг, когда из рук моих вышли очки, которые открывали глазам голую истину и показывали все вещи и всех людей, женщин и мужчин такими, какие они есть, выяснилось, что окружающие обстоятельства успели измениться самым плачевным образом.

Посреди работы я узнал — но не могу сказать, что в полной мере понял — что Уильямс бросил меня и открыл собственный магазин на другой стороне улицы, и стал продавать «очки художников», изобретателем которых объявил, конечно, себя. Тогда я не обратил на это внимания, а пробудившись вновь к нормальной жизни года два или три спустя, выяснил, что бизнеса у меня как такового и не осталось. Не помню точно, возможно, это была повестка об уплате каких-то долгов, на которые у меня совсем не оказалось денег — именно эта ласточка первой напомнила мне о реальности давно покинутого мной мира. О, какой горькой иронии полна наша жизнь! И вот он я, годы и годы отдавший тяжкому труду и великой, единственной цели — дать человеку возможность увидеть все сущее и себя самого в истинном свете — ныне сокрушенный и раздавленный тою же самой реальностью, которую я пытался ему приоткрыть!

Последнее мое изобретение ждал полный коммерческий провал: новые очки не желали продаваться вообще. Девять человек из каждых десяти в Англии совершенно слепы к правде, и такие очки им совсем ни к чему. Крошечное меньшинство, обладавшее хоть каким-то чувством истины, упорно

жаловалось, что жизнь, как ее показывают им сии окуляры, выглядит крайне неприглядно — как будто в этом была моя вина! Сам Уильямс, мой ассистент, причинил мне много горя. Он целиком и полностью погрузился в торговлю моими очками — и о, да, лавочник быстро преуспел там, где художник с мыслителем голодали! Узнав, что собой представляют мои новые очки, он стал меня презирать. Он то говорил обо мне как о полубезумце, тронувшемся умом на важности своих открытий, а то утверждал, что я вообще за свою жизнь ничего сам не изобрел, а идею художественных очков подбросил мне Россетти. Молодые художники, в изобилии посещавшие теперь уже его магазин, с радостью подхватили эту легенду и принялись приписывать великому живописцу то, от чего сам он первым бы отрекся. Я оказался совершенно покинут и заброшен; часы шли за часами — в мой магазин никто не заходил. Самое ужасное было то, что когда случай все же дарил мне покупателя, он у меня не задерживался: новые мои очки действительно никому не нравились.

Думаю, будь мне свойственно нормальное человеческое благоразумие, на этом этапе я повернул бы на попятный. Но то ли со временем мы становимся все более упрямыми, то ли питающая душу страсть тучнеет на приносимых ей жертвах. Каковы бы ни были причины моего упорства, разочарование и унижение, через которые мне пришлось пройти, лишь разъярили меня еще больше. Я знал, что проделал отличную, превосходную работу, и потому выказываемое мне презрение побудило меня только еще сильнее замкнуться в себе и своих мыслях.

* * *

Все это я узнал от мистера Пенри в первые дни знакомства. После этого долгие недели он вообще ничего мне не рассказывал. Остальную свою историю он, по всей видимости, считал слишком фантастической и невероятной и чрезвычайно нервничал по поводу того, как бы, рассказав ее, не отвратить меня окончательно. Тем не менее, он снова и снова намекал на некое дальнейшее развитие сюжета, на еще более сложные эксперименты, еще более ревностные искания, пока мое любопытство не разгорелось до такой степени, что я зажал его в угол

и заставил — возможно, даже чересчур жестко — рассказать мне всю правду.

В те недели постоянного общения наша дружба возрастала, казалось, с каждой новой встречей. Невозможно было противиться очарованию личности мистера Пенри! Он так пренебрежительно относился к обычным порокам человеческой природы, ее жадностям и тщеславиям, был так поглощен своей работой, так прост, добр, и отзывчив, что я стал питать к нему настоящую любовь. Конечно, у него имелись свои мелкие недостатки, свои причуды: довольно поверхностная раздражительность как издержка темперамента, моменты какой-то необъяснимой угнетенности, когда он в грош не ставил себя и свою работу; моменты столь же неуместной эйфории, когда он переоценивал важность своих деяний. Думаю, большинству людей он показался бы неприятно взбалмошным и ненадежным. Однако его страстная преданность делу возвышала душу, а все недостатки, в конце концов, совсем не бросались в глаза в сравнении с прочими редкостными и благородными чертами характера. Я в жизни не встречал человека, который будил бы во мне более высокие устремления. Мне представлялось, что уж последние-то его эксперименты должны оказаться самыми дерзновенными, самыми поучительными, и потому я требовал рассказать мне о них с такой настойчивостью, что он через какое-то время сдался.

— Не знаю, как так получилось, — начал он, — но всеобщее презрение к моим изысканиям не оставило меня совсем уж равнодушным. В итоге я со всей серьезностью задался вопросом, не было ли каких оснований для неприязни и пренебрежения, которые я вызывал в людях. Действительно ли эти мои новые очки показывали сущее как оно есть, или я подсовывал своим покупателям всего лишь новую отвратительную карикатуру на истину, которую они с полным на то правом отвергали? Я снова взялся за книги по оптике и изучил весь предмет с самого начала. Еще в процессе штудий во мне начал расти ужас: я ощущал, что передо мной вздымается новая высота, на которую предстоит взобраться, и что последние футы пути, вероятно, будут самыми крутыми из всех..

— Многое сказанное в евангелии, — продолжал он тихим, исполненным почтения голосом, — символично и имеет

универсальное применение. Мне всегда казалось важным то, что Голгофа — это самый конец долгого и трудного пути. Однако еще одна перспектива долговременных усилий вызывала во мне отвращение и страх; я говорил себе, что не выдержу еще одного проекта вроде предыдущего. И все, все это время меня не покидало крайне неприятное ощущение, что самая трудная часть дела всей моей жизни еще только ждет впереди.

В один прекрасный день я испытал глубочайшее потрясение от совершенно обычного, незамысловатого факта. Как вам хорошо известно, основные цвета — это красный, желтый и синий. Цвета радуги варьируются от красного до синего и фиолетового. Это происходит так: вибрация или длина световой волны, дающей нам фиолетовый цвет становится все короче и короче и, наконец, он превращается в красный.

Вибрации эти поддаются измерению. Так вот, в тот день в какой-то книге я натолкнулся на утверждение, что существуют бесчисленные световые волны длиннее фиолетовых. У меня тут же возник вопрос: не представлены ли эти длинные волны цветами, которые мы не в состоянии увидеть, для которых не имеем названий, которые вообще не в силах хоть как-то постичь? И не верно ли то же самое для волн, которые, становясь все короче и короче, в конце концов, дают нам ощущение красного цвета? Ведь, вне всяких сомнений, существуют мириады цветов за пределами крайних показателей воспринимаемого нами спектра. Недолгие изыскания убедили меня, что догадка верна. Все зримые глазу цвета представляются нашим чувственным ощущениям в виде разной степени жара. Синие оттенки, иными словами, соответствуют одним показаниям термометра, более низким, а красные — другим, более высоким. При помощи этого нового мерил я открыл, что видимый для человека спектр находится даже не в середине температурной шкалы, но занимает совсем небольшой отрезок ближе к горячему ее концу. Есть тысячи градаций холода ниже синего цвета и сотни градаций жара выше красного. И все эти градации, без сомнения, представлены цветами, которые человеческое око не в состоянии воспринять, а человеческий разум — измыслить. И со зрением все обстоит так же, как со слухом. Сейчас мы знаем, что существуют звуки громче раскатов грома, звуки, которые мы не в состоянии слышать, рокот

по ту сторону великого безмолвия. Мы, люди — несчастные неприкаянные узники, ограниченные нашими физическими чувствами, словно стенами тюремной камеры, способные воспринять лишь часть того, что играет удивительный оркестр природы, да и ту — с грехом пополам; лицезрящие лишь тысячную долю окружающих нас чудес цвета, но и эту бесконечно малую часть — фрагментарно и искаженно. Вот он, яд знания! Это прозрение изменило всю мою жизнь. Как, боже мой, как мне сделать очки, чтобы показать людям все это? Очки, которые открыли бы нам все сущее, как оно есть и каким должно быть в высшем бытии — в подлинной, окончательной, нетленной реальности. И вот новая цель жизни забрезжила передо мной. Каким-то непостижимым образом я еще прежде чем приступить к работе знал, что теперь должен буду отказаться и от тех крох счастья и комфорта, которыми наслаждался до сих пор. С дрожью и ужасом понимал я, что этот новый проект сделает меня еще менее достойным сочувствия и симпатии моих соплеменников.

О, мое предвидение оправдалось сполна. Мне едва хватало средств, чтобы продолжать работу; через пару лет тщетных и мучительных экспериментов меня арестовали за долги. Повестку в суд я оставил совершенно без внимания; день слушаний пришел и ушел, а я ничего об этом не знал; все мое скудное имущество перешло во владение другого человека раньше, чем я понял, что вообще происходит. Так на собственном горьком опыте я научился тому, что быть должным кому-то денег для нации лавочников — смертный и непростибельный грех. Все мои товары оказались распроданы, а я сам — ввергнут в совершеннейшую нищету.

Тут старик сделал небольшую паузу, после чего закончил со вздохом:

— ...и затем брошен в тюрьму, потому что заплатить я не мог.

— Но почему ваши дочери ничего не сделали? — спросил я. — Они же, конечно, могли прийти вам на помощь?

— О, они были невероятно добры, — просто ответил он, — особенно старшая, может быть, по причине собственной бездетности.

— Я назвал ее Габриэль, — добавил он, словно бы присев отдохнуть у очага этого имени. — Она и вправду обошлась со мной очень хорошо. Едва услышав о моем бедственном положении, она сразу же уплатила весь долг и освободила меня. Она купила кучу разных вещей и обставила для меня две славные комнаты, и снова все устроила так опрятно и мило, но, видите ли, — продолжал он с улыбкой робкой и самоуничижительной, — я сумел истощить даже ее терпение. Я просто не мог работать ни над чем, что приносило бы деньги, и постоянно все спускал на свои исследования. Прелестная мебель ушла первой — хорошенькие столики и стульчики, а вслед за ними и кровать. Снова и снова Габриэль покупала мне мебель и устраивала меня прилично и удобно (да, так она и говорила), и снова и снова я, как какой-нибудь подросток-транжир, выкидывал все на ветер. Как я мог думать о столах и стульях, отдавая всего себя, весь жар своего сердца, всю жизнь свою работе? Кроме того, я чувствовал, что чем больше гонений и кар на меня сваливается, тем крепче мое намерение сделать все, на что я способен. Нужда и одиночество — воистину две лучшие няньки души.

— Но разве вам не хотелось получить какую-то награду, какое-то признание? — вмешался я.

— К тому времени я понял совершенно отчетливо, — отвечал он мне, — что чем совершеннее будет моя работа, тем пропорционально меньше народу сумеет ее понять. Сколькие купались в почестях и славе, пока нервный недуг и безумие пожирали Россетти — и все же дело его живет и будет жить, в то время как их уже забыто! Высоко вырастающее дерево обречено на одиночество даже в лесной чащобе, и нет его верхним ветвям иных товарищей, кроме звезд и ветров. Да, я пытался утешить себя такими сравнениями, — с умоляющей улыбкой продолжал он, — но годы шли, а я, кажется, ни на дюйм не приблизился к успеху. Наконец, во тьме забрезжил свет и лет через восемь или десять непрерывных экспериментов я понял: все, чего мне суждено достичь — это лишь временный и неполный успех. О, слушайте! И на миллион не найдется еще одной пары глаз, способной увидеть то, что я приучил себя видеть — ибо страсть души имеет и свои награды. Двадцать лет не ища ничего кроме истины, не думая ни о чем, кроме нее, и ни о чем,

кроме нее, не тоскую, я мог теперь видеть ее яснее других, подходить к ней ближе, чем кто бы то ни было еще. Так лучшая часть моих трудов — я имею в виду наивысший их результат — оказалась индивидуальной и частной, сугубо частной по характеру, и тем безмерно меня разочаровала. Если я и с их помощью не могу принести никакой пользы другим, то что же они такое, как не эгоистическое самоудовлетворение? И зачем оно мне — в мои-то годы! Я, казалось, утратил храбрость, утратил всякий пыл.. Возможно, меня, наконец, настигла старость. Возможно, я растратил весь свой изначальный запас сил. Возможно, единственная стрела моя сорвалась с тетивы и ушла в бесконечность, и никогда уже не вернется. Да, возможно и так.

— Факт остается фактом. Я потерял желание продолжать и, потеряв его, вновь пробудился к окружающей действительности. Денег у меня совсем не осталось; я был слаб от полуголодной жизни и вечного недосыпа, преждевременно состарился и одряхлел. И опять на помощь мне прилетела Габриэль. Она привела в порядок эту комнату, а я отправился на улицу, торговать своими очками вразнос. Я купил себе лоток, изготовил образцы всех очков, какие накопились в моем арсенале за долгую жизнь, и понес их в люди. А почему бы и нет? Никакая работа не унижительна для духа, никакая, а я больше не могу служить обузой той, кого так люблю, тем более теперь, зная, что самые напряженные мои усилия никакого добра никому не принесут.

— Справлялся я не то чтобы очень хорошо: мир казался мне чужим, а люди — слишком тупыми и грубыми. Да и полиция, судя по всему, питала ко мне какую-то особую ненависть — никак не возьму в толк, почему. Быть может, потому что я был бедняком, но не таким, к каким они привыкли? Стражи порядка преследовали меня, и судьи, к которым меня приводили, всегда верили им и никогда — мне. Меня бесчестное количество раз наказывали за создание помех дорожному движению, хотя я в жизни никому не мешал. Но никогда еще они не обвиняли меня в мошенничестве или воровстве... хотя, в конце концов, это последнее дело свело нас вместе и подарило мне вашу дружбу, так что теперь я думаю, что весь этот позор был не зря, и нет худа без добра.

Сердце горело у меня в груди, пока он рассказывал с такой кротостью о своих неисчислимых страданиях. Я сказал, что

горд возможностью помочь ему. Он накрыл мою ладонь своей с застенчивой улыбкой признательности.

Через день или два любопытство во мне снова подняло голову, и я обратился к нему с просьбой показать мне пару самых новых очков, тех, что показывают самую суть вещей.

— Возможно когда-нибудь, — спокойно сказал он мне. Наверное, на лице моем отразилось самое горькое разочарование, но он продолжал с задумчивым видом:

— В них есть определенные изъяны. И, понимаете ли, в вас, мой друг, тоже — изъяны и недостатки. Поверьте, если б я был уверен, что они расцветят вашу жизнь или как-то помогут, я бы как можно скорее дал их вам, но, увы, я начинаю сомневаться в их действительности. Возможно, правда жизни вообще не предназначена для людских глаз.

* * *

Входя в суд в день слушания дела мистера Пенри, и Моррис, и я пребывали в полной уверенности, что заседание долго не продлится и завершится решением в нашу пользу. Единственным, кто во всем сомневался, был сам мистер Пенри. Он улыбнулся почти с жалостью, когда я сказал, что не пройдет и часа, как мы уже будем по дороге домой.

Ожидание показалось мне бесконечностью. Наконец, нас вызвали. Прокурор встал и минут пять поверхностно разглагольствовал с каким-то безразличным равнодушием, которое показалось мне совершенным бесчувствием и грубостью. Затем он принялся вызывать свидетелей обвинения. Рабочего в суде не наблюдалось. Его свидетельство прозвучало бы, скорее, в пользу подсудимого, по каковой причине обвинение и решило им пренебречь. Зато мистер 'Аллет из 'Ай 'Олборна (звук «Х» ему определенно не давался) оказался велеречив и злопамятен как никогда. Ему хватило времени укрепить свои позиции и придать показаниям дополнительной живописности и горечи; нечасто удается употребить досуг настолько во зло. Всякий, казалось мне, невооруженным глазом разглядит его враждебность и поймет подлость мотивов. Но, представьте себе, нет; раз за разом внимательно слушавший его судья обращал особое внимание на те фрагменты

повествования, которые яснее всего говорили против обвиняемого, и вообще был совершенно твердо намерен не дать коллегии присяжных упустить ни единой подробности обвинения. Собственная его пристрастность виделась мне совершенно вопиющей. Однако судьба имела для нас в запасе еще более неприятный сюрприз. После Халлета обвинение вызвало некоего каноника из Вестминстера, дородного мужчину с тяжелой челюстью и мясистыми вислыми губами; фамилия его была Бейтон. Он поведал нам, как заинтересовался Пенри и его работой и как покупал все его ранние очки — очки Россетти, как он их называл. Каноник объявил, что эти стекла показывали все в весьма выгодном свете, словно бы даруя искупление грубости и обыденности жизни и являя зрителю действительность полной красоты и обаяния. Он бы даже не побоялся заявить, что видит в них инструмент благодати. Но вот очки истины вызвали у него глубокое возмущение и ненависть. Ни единого доброго слова не найдется у него для них! А все потому, что они упорно показывают только то, что есть в мире дикого и ужасного. Глядишь в них, и всякая красота исчезает. Покровы прелестной плоти отваливаются, и вот один лишь голый череп скалится тебе в лицо. Вместо родительской любви ты вдруг видишь эгоистическое тщеславие; вместо нежности мужа к жене — грубую и пошлую чувственность. Все высокие побуждения превращаются в прах; там, где должны пышно расти цветы жизни, ты вынужден созерцать червеподобные корни, все в гадкой и липкой грязи. Свои показания он завершил, уверив коллегию, что она совершит крайне благое дело, положив конец распространению этих зловредных стекол. Эта торговля — не просто какое-то там мошенничество, заявил он; это святотатственная хула на самого Господа и поругание природы человеческой. По мне этот жирный каноник был в плане логики слабее всех прочих, но на присяжных он произвел однозначное впечатление, и барристер Саймондс даже отказался подвергать его перекрестному допросу. Это, сказал он, только укрепит позиции обвинения, и был в том, без сомнения, прав, так как Моррис с ним согласился.

Но даже свидетели обвинения не причинили нам столько страданий, как свидетели защиты. Мистер Моррис присоветовал мистеру Пенри вызвать свидетелей, которые могли бы дать

показания относительно свойств его натуры, и он вызвал — с полдюжины самых уважаемых лавочников, водивших с ним знакомство. Все и каждый из них принесли ему гораздо больше вреда, чем пользы. Они говорили, что знали его двадцать лет тому назад, когда он был уважаем и состоятелен. Они делали ударение на том, что называли не иначе как «сокрушительным падением». Они соглашались в том, что он пренебрегал своим бизнесом и в итоге разрушил все сам, по своей собственной вине. Никто из них ни в малейшей степени не выказал понимания этого человека, того, чем он жил, над чем работал. С самого начала было ясно, что эти свидетели лишь повредят нашему делу, и такого же мнения держался барристер обвинения, едва давший себе труд перекрестно их допросить.

Вздых облегчения исторгся у меня при виде мистера Пенри, взбиравшегося на кафедру, чтобы дать показания в собственную защиту. Вот теперь-то истина восторжествует, думал я.

Говорил он с величайшей точностью и ясностью — но ему никто не верил! Присяжные не выказывали никакого желания понять его, а судья так вообще сразу принял сторону обвинения. То и дело он прерывал рассказ Пенри, чтобы обратить внимание коллегии на откровенную, по его мнению, ложь в показаниях.

— Вы заявляете, что эти очки показывают истину, — говорил он. — А кто хочет видеть истину?

— Очень мало кто, — кротко отвечал Пенри.

— Зачем же вы тогда делаете эти очки, — вопрошал судья, — если знаете, что они несут людям разочарование?

— Я думал, в этом состоит мой долг, — был ответ.

— Так ваш долг — разочаровывать и гневить людей? — поддевал его судья. — Странные у вас представления о долге. И вы зарабатывали деньги на этой малоприятной обязанности, не так ли?

— Не то чтобы много, — говорил мистер Пенри.

— Да, но деньги-то вы получали, — стоял на своем судья. — Вы убеждали людей покупать ваши очки, заранее зная, что они будут разочарованы, и заставляли их платить вам за разочарование деньги. Вам есть еще что сказать в свою защиту?

Терпение у меня лопнуло; я едва мог усидеть на своем месте спокойно. Ведь казалось бы, так легко, так просто увидеть

правду! Но даже сам Пенри, судя по всему, оставался безразличен к исходу дела — безразличен до такой степени, что мне не под силу было ни объяснить, ни простить его поведение. Этот последний вопрос судьи его, однако, взъярил. Когда эти грубые презрительные слова коснулись его слуха, он наклонился вперед, выбрал на лотке пару очков, нацепил их на нос и обвел взглядом суд. Я заметил, что он слегка покраснел. Через пару мгновений он снял очки и повернулся к судье:

— Милорд, — сказал мистер Пенри. — Кажется, вы твердо вознамерились меня осудить, но если вы и осудите меня, я желал бы, чтобы вы это сделали с некоторым пониманием фактов. Я уже говорил вам, что в этой стране весьма немного таких, кто имел бы способность различать правду, а те единицы, у кого она действительно была, лишились ее еще до наступления зрелости. Вы смеетесь и глумитесь над моими словами, но это не мешает им оставаться простой и очевидной истиной. Я только что оглядел суд в надежде, что тут найдется кто-то достаточно юный, достаточно простосердечный, достаточно чистый, чтобы дать показания от моего имени. И я обнаружил, что в этом зале нет ни единого человека, к кому я мог бы взывать хоть с какой-то надеждой на успех. Но, милорд, в задней комнате сейчас находится дитя, девочка со светлыми волосами, возможно, дочь вашей светлости. Позвольте мне пригласить ее свидетелем, позвольте ей надеть очки и сообщить суду, что она видит, и тогда вы уверитесь, что они и вправду самым любопытным образом меняют окружающие вещи для глаз тех, кому дано ими пользоваться.

— Понятия не имею, откуда вы это узнали, — бросил судья, — но моя дочь действительно ждет сейчас у меня в кабинете. В том, что вы говорите, есть свой резон. Но вызывать ребенка в суд — крайне необычное дело, и не знаю, есть ли у меня такое право. Тем не менее, я не желаю, чтобы у вас сложилось впечатление, будто бы вас лишили всяких возможностей очистить свое доброе имя. И потому, если коллегия не возражает, пусть суд выслушает то, что имеет нам сообщить этот новый свидетель.

— Мы желаем выслушать свидетеля, — заявил старшина присяжных, — но имейте в виду, ваша светлость, что свое заключение о деле мы уже вынесли.

В следующее мгновение дитя вошло в суд — девочка лет тринадцати или четырнадцати со светлым, сияющим разумом лицом. Своего рода застенчивый страх так и сквозил в ее походке.

— Я хочу, чтобы вы надели очки, дитя мое, и посмотрели сквозь них, — сказал ей мистер Пенри. — И сказали нам, что вы видите.

Говоря так, он смотрел на нее странным и пристальным взглядом, словно бы изучая ее глаза.

Выбрав пару очков, он подал их ей. Девочка надела их и, окинув взглядом суд, внезапно вскрикнула.

— О, что за странные, причудливые люди! И какие гадкие! Все гадкие, кроме вас, что дали мне эти очки. Вы красивый!

Обернувшись поспешно, она воззрилась на своего отца и добавила:

— О, папа, вы... О! — и она быстро сняла очки; пылающий румянец заливал ее щеки.

— Мне не нравятся эти очки! — возмущенно заявила судейская дочь. — Они ужасные! Мой отец совсем не такой!

— Дитя мое, — с чрезвычайной мягкостью вступил мистер Пенри, — не согласитесь ли вы поглядеть через другие очки? Глаза ваши так зорки, что увидят, возможно, и то, чему только предстоит быть, а не только то, что уже есть. Возможно, проблеск самого будущего откроется вам.

Он взял со стола другую пару и подал их ей. Вдох нетерпения пронесся по залу суда. Те, кто только что насмехались над Пенри и расточали презрение, теперь подались вперед, все обратившись в слух, будто их ожидало нечто невероятное. Все взгляды впились в лицо юной леди; все уши наострились услышать, что она скажет. Она же все смотрела на них, обводя судилище взглядом, но, наконец, заговорила голосом испуганным и монотонным:

— Я ничего не вижу, — сказала она, — я хочу сказать, здесь нет ни суда, ни людей, только огромные белые глыбы, такие синевато-белые. Это лед? Нет ни деревьев, ни животных; кругом все холодно и бело. Это лед, один только лед. Ни живой души, ни травы, ни цветов, все неподвижно. Все холодно, все мертво.

— Это будущее? — перепуганным голосом спросила она, помолчав.

Пенри жадно склонился к ней.

— Смотрите на свет, дитя! — сказал он. — Ищите свет! Следите за светом и скажите нам, что вы видите.

Еще один вздох летит по залу, затем тишина. Мое сердце стучит глухо и сильно. Дитя озирается. Затем, стаскивая очки, оно произносит с внезапной капризной досадою:

— Я больше ничего не вижу; мне режет глаза!

* * *

Смерть в тюрьме

Мэтью Пенри, процесс над которым по делу о мошенничестве, скорее всего, памятен нашим читателям впечатляющими свидетельствами обвинения, предоставленными каноником Бейтоном из Вестминстера, насколько нам известно, потерял вчера утром сознание в Вондсвортской тюрьме, после чего немедленно скончался.

«Таймс», 3 января 1900 г.

Дж. Ф. Ч. Фуллер и Джордж Раффалович¹

Рассказ де ла Ратибуазьера о тифлософистах Южной России

I

— Расскажи нам! Расскажи!

Эльфенор Пистуйяр де ла Ратибуазьер, Мастер-Маг, благосклонно преклонил слух свой к ученикам, рассевшимся со скрещенными ногами вокруг чаши с курящимися благовоениями. Уста его разомкнулись в неподражаемой, никакой обезьяне не доступной ухмылке. Он заткнул ноздри обоими указательными пальцами, дунул на угли и начал.

— Да уж, я вам расскажу, интеллектуальные вы младенцы, куда я денусь. Слушайте. Две сотни и один год назад, когда был я худ и тридцатилетен, случилось мне познакомиться с одной парой в бытность свою в Южной России. Совсем детьми были они, мальчик и девочка, но, как водится, нечаянно основали престранную секту причиняющих себе увечья споспешников, а так как я единственный из живущих, кто видел ее начало, придется мне взять на себя труд занимать вас этой историей более шестнадцати минут кряду.

В комнате меж тем стемнело; под светом лампы поодаль стояли три больших хрустальных шара, приковывая к себе взгляды. Первый из них был прозрачный и бесцветный, второй — бледнейшего аметиста, третий — богатого желтого оттенка. Миры вращались внутри.

Эльфенор снова нарушил молчание.

— Она была совсем маленькая девочка, а он — маленький мальчик..

— Она выглядела, как куколка в пенни ценою..., — пробормотал местный нептунианец.

¹ Рассказ был впервые опубликован в журнале «Эквинокс», I (4) (сентябрь 1910 года). Джон Фредерик Чарльз Фуллер (1878—1966) — британский военный офицер и военный историк, писатель, оккультист и один из ближайших сподвижников Алистера Кроули в 1907—1911 гг.

Никто из собравшихся даже не улыбнулся — Древний уже продолжал:

— *Per illud nomen per quod Solomo constringebat daemones, et conclusit . . .*¹

Тут он внезапно остановился, убедившись, что неуместная вставка никакого эффекта не возымела, и вернулся к рассказу, помавая руками в ритме речи и замешивая пальцами в воздухе какие-то незримые формы.

II

— Мальчик появится позже. Сейчас я хочу, чтобы вы поняли, как прекрасна была девочка. Уста ее — как широкая алая лента; лицо прехорошенькое; земное тело ее — приятнейшее зрелище; душа — соблазн ангелам. Очи ее выражали бесконечную нежность, саму Любовь Милостивую, Чистейшую Невинность Вечности совершенным образом у-равно-вешенную. Как хрустальные капли росы они были, упadaющие на безупречный каррарский мрамор. Глаза эти глядели на тебя и сим наделяли святостью; прозрачнее прозрачнейшего ручейка, прекраснее самых царственных аметистов; глаза, озаряющие темнейшие уголки преисподней; задающие тон самим звездам небесного райского свода — и эти глаза служили лишь несовершенным зеркалом скрытой за ними души. Вот какова была Любовь, десяти лет от роду и пригожая собой.

Когда позднее личность ее обросла обычными для подобного случая легендами, говорили, что в деревню ее посреди зимы как-то ворвались помешавшиеся от голода волки. Они задрали и принялись пожирать пару коров прямо в стойле. Малютке-Любови случилось там оказаться. Хватились ее полчасу спустя и нашли на дворе в окружении двух сотен этих волков, толкавшихся за право облизать ей руки.

Другой раз — о, вот уж поистине чудо! — один взгляд ее глазок связал язык хмельного попа, матерившегося, будто мужик, самыми грязными словами.

Она, конечно же, была любимицей всей деревни: чем проще и ближе к природе были их души, тем правильнее они относились к дитяти. Следует, однако, уточнить, что малютка-Любовь

¹ Именем сим, коим Соломон связывал демонов и заключил... (лат.).

не пользовалась поклонением религиозного толка и отнюдь не была избавлена от всякой черной работы, какую должно исполнять детям ее возраста. И товарищи ее по играм никакого превосходства в ней не видали. О предполагаемых чудесах и случаях исцеления стало известно лет через десять после ее смерти, когда все очевидцы уже покинули сию юдоль. Но, разумеется, все они были весьма вероятны, весьма вероятны, весьма.

III

— Все вы, сосунки, читали русскую сказку о человеке, который покупал души — или хотя бы слышали о ней. Люди такого склада ума и вправду существуют в России, и я сейчас расскажу вам об одном из них, хотя его сделки стоили ему еще того меньше, а физической реальностью обладали куда большей.

Странствовал он по городам и весям в поисках сокровищ, и сокровища те были — глаза. Инструментами ему служила пара ореховых скорлупок, покрытых внутри эмалью, и некий магический раствор, способный сохранить все свойства, свежесть и красоту вожденной добычи.

На второй день по прибытии в деревню, где жила Любовь, он заметил ребенка и чудесную его красоту. Затворившись в доме богатой дамы, чьим гостем он состоял, наш герой часами пускал слюни, созерцая так и стоящее перед взором его чарующее видение Любви и бесценных ее сокровищ. За дело он взялся весьма осторожно: завел дружбу со всеми детьми, а на седьмой день умудрился повстречать девочку за плетнем, конечно же, случайно (так она думала), и подарить ей несколько пустячных украшеньиц. Потом он извлек свои ореховые скорлупки и приложил к собственным глазам, притворяясь, будто играет ребячливо в прятки.

Вот настал ей черед водить и примерить ослепляющее устройство. Но на сей раз скорлупки, которые вставил он ей под брови, были не те, что у него, совсем не те!

Любви совсем не было больно; скорее, она испытала пленительное ощущение физического *bien-être*¹, некоей чудесной, невиданной томности. Но уже через несколько минут солнце, луна и звезды утратили для нее свою красоту. Под веками

¹ Комфорт, блаженное состояние (*франц.*).

ее зияли две большие пустые каверны. Сокрытая в скорлупках сила извлекла из них глаза.

Незнакомец же умчался прочь, унося драгоценную коробочку, и больше о нем в тех краях не слышали.

IV

— Что за мука описывать долгие кошмарные дни, проведенные крошкой-Любовью во тьме, прежде чем она сумела привыкнуть к своей слепоте! Я вам не медик-философ; я слишком люблю дом и удобство. Ежели я путешествую, я делаю это в покое и комфорте, и штат мой включает и медика, и философа. Так что же мне за нужда пытаться измерить глубины детского страдания или дать своему разуму утомительный труд разъяснений? Куда приятнее оставаться бесстрастным созерцателем. А потому, мексиканский гаучо, передай мне скорее заветный мешочек, чтобы я щедро снабдил себя листвою и корнем твоего замечательного мескалевого растеньица. И смогу я ВИДЕТЬ без лишних мыслей и без усталости.

Так на чем я остановился, братья мои меньшие, отцы лярв, сыновья козы? Ага, помню. Итак, только величественная ее душа спасла бедную малютку-Любовь от черных и отчаянных мыслей. Она продолжала жить, очень страдая поначалу, но со временем обрела смирение.

А ведь был еще и мальчик! Он родился слепым в семье оставшего солдата, а поскольку отец вел себя странно и необщительно, мало кто в деревне удостоивал его хоть какого-то внимания. Но злым он совсем не был и сердце имел большое.

Любовь гордо отказала себе в жалком довольстве объяснить другим произошедшее с нею. Никто никогда не услышал рассказа о том, как она лишилась глаз. Шли месяцы, и всякое воспоминание о том, какая она была, постепенно изгладилось. Взрослые и дети шли мимо и не замечали ее. Родители были добры, но сверх меры загружены всякой работой. Один только Петр, тот самый слепорожденный малыш, понимал всю ее красоту. Хоть у него и не было глаз, остальные его чувства по этой самой причине достигли небывалой остроты. Поначалу он не понимал, почему и как так могло получиться, что он один во всем мире (ведь он был просто маленький крестьянский

невежда) лишен радостей всех пяти даров Господних. Однако деревенский дьячок, чем-то там провинившийся, был почти что опальный гений («горе от ума», как говорили старики) и как-то раз разъяснил Петру, что это значит — быть слепым. К счастью для умственного равновесия ребенка, он упомянул также и преимущества.

— Когда мужики говорят, что ты слепой, мальчик, это значит, что видеть тебе не дано, — вот что сказал он ему. — Сиречь, глаза дал тебе не Бог, а диавол. Отец твой, видать, был парень дурного складу. Когда ты слышишь, как бабы поют за пляскою, это потому, что Бог дал тебе уши; если бы тебе и звуки были не в радость, это значило бы, что и уши у тебя от диавола, как сказано в Книге, которую написал Бог по-русски для нашего народа: «Они имеют уши, но не слышат». А ведь ты нюхаешь и слышишь хорошо, да и с двумя другими чувствами у тебя дела обстоят, как надо. Тебе недоступен только цвет вещей. Объяснить тебе этого я не могу, да и не было бы с того добра, если б мог. Зато благо тебе в том, что ты не видишь всего уродливого, что ни на есть на свете — вроде старика Ивана Семеновича — и что ты слышишь и чуешь, и ощущаешь сильней и точнее, чем мы. Конечно, еще и видеть притом, было бы ох, как знатно, и я стану молиться за тебя Христу, особливо если ты дашь мне пару медяков, чтоб купить на них свечек. У тебя их, должно быть, навалом — люди охотно тебе подают.

Вот ведь надоедливая скотина! Все лишь бы скорее нажраться!

По счастью, Петр и маленькая Любовь преподали друг другу теорию более простую и куда более естественную. Ей минуло двенадцать, а мальчику — четырнадцать лет. Мне же как раз случилось гостить по соседству. Я повстречал их, когда рука об руку они переходили проулок поблизости от места, где я сидел, погруженный в раздумья. Девочку я видел еще до прискорбного происшествия и узнал ее лишь по звонкому голосу. Некоторое время я слушал детский их лепет, потом вмешался и услышал все из ее собственных уст. А потом, несколько дней спустя, все и случилось. На сцену вышла дама.

Тут Эльфенор умолк, потому что дверь вдруг принялись яростно трясти снаружи.

— Войдите, — разрешил он.

Дверь рывком отворилась, потом захлопнулась, но никто не вошел. Ученики обменялись удивленными взглядами. Потом один спросил:

— Эээ... так дама вышла на сцену или как?

Всех изрядно развеселило такое своевременное вмешательство нептунианского начала. Но Эльфенору Пистуйяру — а он был с юга Франции — судьба отказала в куртуазности, так что он принялся на чем свет стоит костерить двенадцатерых юнцов. Да, раздражительный он был человек и к тому же склонный к театральности.

Он встал и надвинулся на виновника всеобщего веселья в зале.

— Я вас знаю, сударь, — прорычал Эльфенор, багровея лицом. — Я тебя знаю, вредная ты обезьяна. Твой отец продавал свиные сосиски и коптил окорока, да, торговал свиньями. Чего еще от тебя ожидать, кроме свиного хрюканья!

Кровь в нем уже так и кипела, и эти несколько слов стали предупреждающим свистком, за которым обычно следует струя пара. В темноте он проследовал к большому буфету в дальнем конце комнаты и, взяв с полки двенадцать маленьких восковых фигурок, поставил их на столик. Быстро пробормотав сперва призывание, потом заклинание и затем поношение, он кинулся к камину, схватил раскаленную докрасна кочергу, которую держал всегда наготове, чтобы разжигать от нее уголь в курильнице, и с нею вернулся к столу.

Двенадцать учеников чувствовали, что сейчас что-то произойдет, но не знали, что именно. Странное состояние поработило их волю — они не смели двинуться с места. Но тут внезапно все двенадцать как подскочили, как рухнули на пол и ну корчиться, завывая от боли и мук, истекая потом, страдающая от всех уязвлений огня! Они слышали, как старик у стола проклинал их и тыкал в восковые фигурки жгучей кочергой вкривь и вкось, не заботясь, куда попадет. Доставалось, однако же, всем! Конвульсии жертв на желтом крашеном полу были поистине ужасны. Он не обращал на это никакого внимания и проклинал их каждого поименно и каждый раз поражал одну из фигур кочергой в соответствии с возглашаемым именем.

Наконец, раскаленное докрасна железо снова стало черным, да и рука у Эльфенора подустала. Он собрал все восковые

фигурки и швырнул их в полное воды ведро, и по мере того как они ни всплывали, решительно заталкивал обратно под воду.

Жертвы его постепенно приходили в себя. Снова собрал он их восковые подобию и возвратил на полку. Оборотившись затем к ученикам, он прокричал:

— А ну сели по местам, подельники беззакония! Почувствовали, а? И больше не смейте меня прерывать. А если кто-то еще раз постучит в дверь, убирайтесь с пути моего взгляда!

Все они так и трепетали теперь от волнения и злобы, смешанной с вожделием к силе, равной этой. Эльфенор снова раздул уголь и курящиеся на нем благовония, погасил светильню над тремя хрустальными шарами, так что собрание очутилось почти в полной тьме, и подхватил оброненную было нить рассказа.

— Итак, дама, выступившая ныне в свет рампы, немного не дотягивала до великой истерички, графини Тарновской. У нее было множество любовников, сходявших с ума по ее телу; их она *могла* довести до бутылки или даже до убийства, но не делала этого, ограничившись лишь несколькими случаями самоубийства и еще несколькими — потери самоуважения. Среди этих был и человек, развлекавшийся кражей глаза.

Не вдаваясь глубоко в их отдельную или совместную историю, давайте просто отметим, что горделивый собиратель офтальмологических сокровищ преподнес даме в подарок пару роскошных серег, представлявших собою не что иное как глаза малютки-Любови, оправленные в золото. И когда дама приехала в свой загородный дом близ той самой деревни, на ней как раз были пресловутые серьги. Среди крестьян поползли толки. Глаза они правда приняли за два странных драгоценных камня наподобие ляпис-лазури. И один из пейзажистов как раз рассказывал о том, как повстречал даму в серьгах, при юном Петре, который слушал да мотал на ус.

А теперь, друзья мои, я дам вам — нет, уж, лучше одолжу взаймы! — некие сведения чрезвычайной важности. Это, кстати говоря, еще и превосходный образчик *психологии*. *Человек ни вот столько не интересен, когда говорит о других, но дайте ему прокатиться на любимой лошадке, дайте рассказать о том, что с ним случилось, и можете последнюю рубашку прозакласть, вам будет что послушать.*

Так вот, про крестьянина, который видел даму с глазами. Обычно он бывал очень туп. Дело в том, что в жизни у него не случилось ровным счетом ничего интересного, пока он не встретил ее. Дама гуляла себе в саду, срезала цветы к столу, потом увидела мужика, копающего землю, да возьми и подзови его к себе.

— Когда выкопаешь яму, — сказала она ему, — пойди нарви мне цветов.

Он ударился в работу со всей своей мужичьей силой, и тело его казалось юным и прекрасным в блеске механических этих действий. Взгляд дамы упал на него, и она замечталась.. И вот он докопал свою яму и пошел рвать цветочки, не отрывая от нее глаз и испытывая чувства странные для себя и новые — и к тому же истекая потом в произвольной сукшма-пранаяме.

Увы, парни! Слишком это была утонченная дама, чтобы простому невежественному мужику вот так на нее пялиться. До конца его дней так и осталась она для него божественным видением. Если б он знал о Госпоже нашей Гекате (благословен тот, кто бормочет имя ее со страхом и благоговением! Да призрит она на нас благоутробно!) он счел бы это зрелище явлением великой Богини (да речется имя ее шибко-шибко в Святилище возлюбленного нашего Братства Рыцарей Ка-Де-Ш Р.А...Р.Р.).

Однако чтобы не затягивать рассказ сверх меры, ибо близится время возлияний, крестьянин услышал голос дамы. Она поблагодарила его — его, простого селянина, раба! — и оставила его работать. Образ ее, впрочем, так и стоял у него перед глазами, и, рисуя впоследствии словесный ее портрет, он ни в чем не ошибся.

Ну вот, юный Петр все это слышал. Поскольку во всем мире была лишь одна женщина, любимая им, описание другой ничем не вызвало у него интереса — только лишь при упоминании роскошных ее камней, уши у него стали торчком.

— Что такое серьги? — спросил он у Любви, когда ручка ее легла ему в ладонь попозже на дню.

— Красивые это штуки, Петр, — отвечало дитя. — Очень они хороши на вид.

— Ах! — только и мог он вздохнуть, потому что только этого во всем мире понять как раз и не мог.

— Делают их из камней, а в камнях тех — огонь иль вода.

— И что же, они жгутся? Или руку холодят?

— Только взгляд, голубчик. Я помню. И оправляют их в золото, и вешают в уши или еще, бывает, на шею.

— А хотела бы ты такие *потрогать*, Любовь?

— О, да! Но бесполезно, голубчик — я же их не увижу!..

— Может, тебе понравится просто вот так пробежать по ним пальцами и потом попробовать представить, как они... выглядели бы?

— Может и так. Тогда бы я лучше смогла объяснить тебе, что имею в виду.

Петр еще раз вздохнул и вскоре ушел. Весь вечер он бродил вокруг усадьбы, где обитала дама. Та меж тем совершала променады в саду и напевала что-то тихо сама себе; он слушал ее голос. Дама нашла себе место и уселась.

Петр давно приурочился ходить, не глядя, и подкрался к ней сзади. Одна-единственная идея всецело овладела его детским разумом. Он украдет драгоценности, которые все почитали такими красивыми, и отнесет их своей Любви!

И вот он кинулся вперед, и руки его шарили во тьме, ища вожделенные уши. Дамский писк, когда она оборотилась, указал ему в точности, где они должны находиться. Пальцами он быстро нашел цель и резко и грубо дернул. Дама пала без чувств без единого звука, так внезапна и остра была боль.

Петр же медленно удалился, сжимая в руках серьги с вставленной в них человеческой плотью.

Он отправился на поиски Любви. И она, подобная побегу древа Иессеева, по внешности не судящая, над берлогою василиска руке простирающая и над норкою аспиды играющая, горя не знающая, вострепетала, сама не ведая почему, в предчувствии того, что должно случиться. Зарю вставало над ней понимание, что дошла она до распутья, где дорога станет широкой и гладкой под стопами ее, не чета темным тропам, в скорби ложившимся под них в последние годы. Я скрывался за деревом, когда Петр явился к ней, и потому видел все.

Он и сам дрожал от волнения. Размахивая руками, алыми от крови жертвы, он вскричал, задыхаясь:

— Любовь, сестренка моя! Есть у меня для тебя два прекрасных камня; потрогай скорее их!

Но когда она протянула навстречу ручку, он убрал свою и машинально отер добычу краем рубахи. Частички плоти осыпались с них.

Потом шагнул он к ней и схватил за плечо, желая приспособить одну из подвесок туда, где ей полагалось быть — но и его рука сильно дрожала, и подруга его не стояла недвижно на месте. И возились они, и пыхтели, все во власти сильного нервного возбуждения.

— Не скажу вам, — продолжил Эльфенор, помолчав, — каким образом все это случилось, если не пушу в ход фантазию — а вы все вместе взятые недостойны таких ухищрений! — и не стану рыскать в нижних ящиках разума в поисках объяснений тому, что почитаю явлением исключительно редким.

Короче говоря — ибо приближается время, которое нам лучше бы использовать с большей пользой! — ручонки Петра тряслись так, что он никак не мог попасть в мочку Любовина ушка.

И вот драгоценная штукавина коснулась вместо уха одной из глазниц маленькой его подруги.

Наш злодей, глазной вор, между тем, знал свое дело! Ибо Любовь, в тщетной и безотчетной попытке увидеть, что же такое ей кажут, распахнула пошире темные подбровные ямы свои. Думаю, яблоко как-то коснулось все еще живого нерва — так как едва это случилось, дитя испустило пронзительный крик:

— Я вижу! Ох, Петр, я вижу! Я ВИЖУ!

И скорее она вырвала глаза из обрамлявшего их золота и сунула их туда, где им самое место. О, чудо из чудес! Она видела! Видела как я и вы. Она увидела бедного крошку-Петра, стоявшего перед ней почти вне себя от волненья.

И схватила она его за руку и привлекла к себе, и запечатлела поцелуй на лбу его. А потом она долго плакала, но, наконец, села рядышком и поведала ему о новых своих ощущениях.

VI

Но не было в них довольства! Само небо, расстилавшееся над ней, несмотря на все свои звезды, бледнело пред той красотой, какой наделяла она его в мыслях. Милое личико друга было куда менее милым на вид, чем представлялось ей в мечтах.

И мягко, с необычайною деликатностью сообщила она ему о своем разочаровании.

— Ах, Петрушка, в мыслях наших куда как красивее было оно!

И, повинувшись порыву, уронила она оба глаза своих в ладонь и, не дрогнув, швырнула себе за спину.

Я подобрал их, друзья вы мои, а двое детей стояли, держась за руки, и печаль пополам с облегчением осияла их лица.

Да, я подобрал их, но вам не покажу, недостойные гадкие лисы!

А теперь, будьте любезны, свет... перейдем к ритуалу. Брат Х., наполни Святые Сосуды. Да святятся Светочи Радости! Да святятся Светочи Скорби! Войдем в Ковчег Возросшего Знания!

VII

Чуть позже один из учеников подобрался к владыке поближе.

— Вы говорили о странной секте увечащих себя споспешников, о, Мастер. Что там о ней?

— Что там о ней! — передразнил его Мастер. — Конечно, это были те, кто слушал Любовь и верил ей на слово — что, не имея глаз человеческих, видишь лучший мир. Они это взяли за практику, и ряды их неуклонно пополнялись. Они ослепляли себя и детей своих ослепляли почти что еще в колыбели. О, их скоро были уже сотни — поклонявшихся Господу нашему Богу таким вот манером; и Любовь со Петром были у них предводители. Это все, что ты хотел узнать?

— О, Мастер, а что дама?

— Дама! Пф! Она уехала восвояси. Духи земли не позволили ей подать жалобу. Раненные уши свои сокрыла она под жемчугами и золотом. Да все с ней было в порядке! Тебе-то что до нее, сын козла? А теперь вы все, очистите помещение! По комнатам с мантрой, шагом марш!

ДЖОРДЖ РАФФАЛОВИЧ¹

○

ДУРАК

— Ну что, женитесь на мне? — спросила вдова.

— Конечно, — отвечал он.

— Тогда вы еще больший дурак, чем я думала.

— О чем это вы? — осведомился он, раздосадованный и озадаченный. — Должен ли я это так понимать, что у вас у самой было намерение... что вы были готовы..

— Продолжайте.

— Ах, я не знаю...

— Я буду с вами откровенна, — она придушила веселый смешок. — Я действительно была готова.. не предпринимать вообще ничего. Если бы вы изложили какую-то действительно разумную просьбу.. возможно, все кончилось бы иначе. Но брак! Да за кого вы меня принимаете?

И дама — кстати, она была брюнеткой — свистнула своей любимой обезьянке, (рыжеватого цвета монстру), которая тут же вскочила к ней на колени.

Лайонел Табард покинул обеих во всем их одухотворенном контрасте, так и не разморщив свое прекрасно очерченное, но бредовое чело.

Несколько дней спустя он предпринял попытку поцеловать эксцентричную вдову, которая в ответ вытянула его конским хлыстом в педагогических целях — не чтобы преподать ему хороших манер, а так, *à propos*². После этого она изволила рассмеяться. Он, однако, оказался недостаточно сообразителен и оскорблений таких больше не повторял.

Отсюда и гадкое прозвище от уст ее, да.

¹ Рассказ был впервые опубликован в журнале «Эквинокс», I (4) (сентябрь 1910 года).

² Между прочим, вообще (франц.).

ЖОНГЛЕР

— ... И он это, безусловно, заслужил!

— Ой! Должно быть, до крови... Жаль, меня там не было... подумать только, лошадиный хлыст и мартышка. Какой же он все-таки глупый, наш бедняга *cheval hongre*!¹

— Ах да! Новое прозвище.

— Оно ему удивительно к лицу, не находите?

— О, да.

Молчавшая до сих пор третья сторона беспокойно пошевелилась у себя в кресле. Быстротой соображения она не отличалась.

— Как жилетка покойного Несса была к лицу Гераклу, да, ась? — предположила она.

— Дурак!

— Геракл?

— Нет, Лайонел... ну, и Геракл тоже, да. Табард напоминает мне этого библейского малого.

— Потифарова Иосифа! — торжествующе воскликнул доселе молчавший джентльмен.

— И снова мимо, Бернар. Я имел в виду Иосифа Марииного. Молчун швырнул сигару через каминную решетку.

II

ПАПЕССА

Итак, Лайонел Табард заработал конским хлыстом от дамы. Никакой компенсации он за это не получил — или ее ему не дали. В этом, я считаю, заслуга его матери. Мы читаем много сказок, на которые самым кощунственно-адским образом переводится бумага; в большинстве их матери — это такие порожденные разнузданным воображением автора ангелы: сплошь милые, любящие, добрые, терпеливые, прощающие создания, в полной мере сознающие ту ответственность, которую

¹ Мерин (франц.)

взвалили на себя в свое время, когда призвали частицу мира духовного воплотиться на брэнной земле, среди нас. О, да, такие матери суть идеальные матери идеального человечества, так что писатели могут считать себя искупленными и оправданными. Тем не менее, давайте в нашей истории останемся верны истине и признаем тот факт, что некоторые матери — та еще дрянь. Обнаружить их можно, как правило, в состоятельных слоях общества, и это совсем не удивительно. При виде матери, улыбающейся своему взрослому сыну, я ощущаю глубокую печаль — я вспоминаю собственную свою родительницу...

Вот вам! Я назвал это историей из мстительных сообщений. Теперь как хотите. И, раз уж на то пошло — урок психологии.

Лайонелова мать была «королевой и регентшей» плохих родителей. Умна, но лишена логических способностей и вдобавок склонна к религиозной мании. Непосредственное ее окружение сплошь населяли какие-то гнусные лярвы. Совершенно законным и очень женственным образом она прописала своему первому мужу ночку в лечебнице, откуда он прямиком отправился в раннюю не по возрасту могилу. О, потом она жестоко страдала — в объятиях второго. Это можно считать самой грубой формой той автоматической правосудящей силы, которую приберегают только для самых грубых натур. Впрочем, присущий этой женщине капитал самодовольства и вожделения к власти от этого ни на йоту не уменьшился. Кстати, Лайонел часто падал жертвой этого последнего свойства ее характера. Родился он счастливым и полным надежд; дома небесные славно с ним обошлись. Мать постепенно сумела превратить это милое дитя в эгоцентричного, застенчивого, запуганного и вероломного юнца. Ментально она его выхолостила, и в несчастные минуты просветления он костерил ее в отнюдь не скупых выражениях. Смерть отца он ей так никогда и не простил, равно как лживость, подковерные методы и в особенности ее животные инстинкты. Сам он взял себе в удел благородную ненависть, абсолютную, кровожадную, смертоносную и вечную.

После долгих лет меланхолии и ее физиологических последствий Лайонел Табард, наконец, оказался свободен от своей тиранической родительницы. Вскоре он позабыл ее,

а по мере того как божество все моргало и моргало¹, воспоминания его становились все менее и менее отчетливы. Помнил он на самом деле лишь два факта. Как-то раз во время сна она сломала ему нос кочергой, потому что он изволил храпеть. Другой раз пострадал дорогой стек для верховой езды, которой она переломила ему об плечо.

Смерть ее чрезвычайно его обрадовала. Однако здоровье его было еще в мальчишестве подорвано чрезмерным напряжением сил и физическим ощущением пустоты и бессодержательности — следствиями стыдливости и недостаточной физической развитости.

Первое на что Лайонел потратил свою новую свободу и новые деньги, был наем каюты на первом же лайнере, отправлявшемся в Новую Зеландию — там ему предстояло дожидаться полного и окончательного выздоровления.

III

ИМПЕРАТРИЦА

Лайонел обитал в большой усадьбе, катался верхом, охотился, играл в игры и был занимаем любовью. Он открывал для себя радости Природы, уготованные Исидой мужчине, и превосходство чисел «два» и «три» над единицей. К своему удивлению, он выяснил, что женщины питают к нему интерес. Застенчивость юноши так бросалась в глаза, но лишь тем более возбуждала их. В очах его они встречали выражение жадное и голодное, бесконечную жажду всего человеческого, которая приятно щекотала их желания. Он словно бы вечно тарасился на какую-то цель, невидимую, но вожденную. Цель эта была — Дерево абсолютного познания. Лайонел ощущал в себе некое упорное стремление, некое непрестанное желание. Недостаток физической храбрости с лихвой компенсировался интеллектуальным дерзновением. Прищучить ангела он хотел и, схватив его за воротник, ворваться в рай первой жертвы женского рода, Адама Согбенного, Адама, глупо

¹ Латинское слово «*appus*» происходит от глагола «*appuo*», моргать. Год, иными словами, равен одному взмаху божьих ресниц.

подчинившегося самосохранительному повелению перепуганных богов.

Ошибки в тактике объяснялись тем, что яблока он вознамерился отведать без помощи Евы. Лайонел Табард вообще довольно часто неосознанно отвергал авансы незадачливых зачинщиц женского пола.

VI

Влюбленный

Однако не мудрость Учителя руководила им, а лишь трусость и смущение. Лайонел не мог внушить ни любви, ни желаний; и потому ангелы этих самых любви и желаний выкопали глубокую яму-ловушку прямо у него под ногами...

Как-то раз Табард сидел на веранде. Мужчины уже отправились почивать, женщины тоже. Он раскурил трубку, которую жизнь на свежем воздухе сделала переносимой для его легких. Он размышлял, раздумывал, созерцал, так сказать, мысленным оком некий самый наиважнейший в жизни предмет — и глубоко личный притом. Он разглядывал свои руки, белые, хорошо вылепленные, ухоженные, но вот левая все равно была как-то неуклюжее и кривее правой. Лайонел стыдился себя. Он достал часы и поглядел на час ночи. Двадцать одна минута второго — сутки неуклонно стремились к первой своей двойственности. Позади него отворилась дверь, и скрип дерева заставил его подскочить. Дочь хозяйки стояла там в своих ночных одеяниях — сущая поэма в бледно-зеленых и белых тонах.

Она не промолвила ни слова; он сымитировал мудрость ее безмолвия. Сердце его ударилось в дикое, нездоровое фанданго; виски заломило; ноги под ним подогнулись. Он почувствовал, как бледнеет; странные, загадочные импульсы требовали возвращения к дикарским привычкам предков. Увы, ему самым прискорбным образом не хватало опыта.

1 По причинам, внятным каждому, кто хоть раз смешивал Клейковину Белого Орла с Красной Пудрой или получал Третью Проекцию, стандартный порядок Козырей Таро сохранять более не представляется возможным. По этим же причинам число их не превысит семи. — *Примеч. автора.*

Женщина, впрочем, уже сожгла корабли и ринулась к нему на помощь.

— Лайонел, — возвестила она, — я пришла.

— Я вижу, — сумел сипло выдавить он; слова у него в горле превратились в громадные твердые комья и никак не хотели лезть наружу.

— Поцелуйте меня!

Повинуясь инстинкту, он ступил ей навстречу и расставил руки. Она тяжело рухнула в их объятия. Она тесно прижалась к его груди и угнездилась на ней, полузакрыв глаза; ее язык и зубы слепо и жадно искали его уста.

Вопреки собственным ожиданиям и повинуясь, скорее, прошлым переживаниям и страхам, Лайонел Табард ощутил куда больше неудобства, чем радости, боли, чем наслаждения. Он поздравил себя с тем фактом, что холодная ночь побудила его потеплее одеться и не доверять свои телеса сомнительной защите одеяния, которому он был обязан фамилией.¹ Неистовая менада и так уже пылала страстью и грозила заставить его причаститься ей тоже.

Как бы там ни было, женщина часто выигрывает благодаря настойчивости и упрямству. Лайонел дал себя завоевать.

По мере того, как отношения их окрашивались привычкой, отвращение в нем неуклонно росло — зато снисходительность вгоняла все глубже в трясину. Он жаждал вырваться из ее тенет, но мало-помалу обнаружил, что она стала ему нужна. Он сам утратил удовольствие, но не нашел его и в ней. В конце концов, он провернул старый трюк, послал сам себе телеграмму с вызовом, поклялся вернуться как можно скорее, но не вернулся совсем.

Он отплыл обратно в Европу и очутился в Лондоне, где все еще во власти первого опыта принялся колыхаться на волнах то пыла, то смущения. В это самое время с ним и случилось приключение, с которого я начал свой рассказ. Некая юная вдова осалила его конским хлыстом. Нет, от спасения Лайонел был еще ох, как далек.

¹ Табард — деталь средневекового рыцарского гардероба, плащ ли жилет-накидка, часто украшенная гербом и носимая поверх лат.

ОТШЕЛЬНИК

Он отправился искать его на природе. В качестве убежища была избрана хижина ящерично-зеленого цвета, окруженная деревьями и цветами, хорошо обставленная и содержащаяся в полном порядке усилиями двоих слуг разного пола. Она оказалась очень, очень удобной — и такой же одинокой.

Он занялся самообразованием, ежечасно тревожимый кошмарными видениями, в которых видел себя посреди сцены, где вокруг него, снизу и даже сверху толпились какие-то люди, мужчины и женщины. Они напомнили ему ужасное пророчество французского поэта, изобразившего оба пола вымирающими порознь, в безвозвратной разлуке:

La femme ayant Gomorrhe et l'homme ayant Sodome...¹

Все мессалины и цирцеи нечистого пола покачивали перед ним своими соблазнительными, отвратительными, святыми и непотребными, обвисшими или упругими сетричками-грудями. Сам он, парнокопытный и винторогий, вынужден был бичевать плоть свою железными цепями, неспособными, в отличие от регулярных физических очищений юных его лет, превзойти моральные угрызения. Свежий Нарцисс в уголку, бледный и улыбающийся, побуждал его к новым стараниям; духи инкубической и суккубической природы, так и кидавшиеся на него, пожирали душу и плоть...

Но все эти сны постепенно пожухли и выцвели. Лайонел превратился в полупрозрачный комплект костей, увенчанный парой громадных глаз под тяжелыми веками. Время познания пришло.

¹ Альфред де Виньи, «Гнев Самсона». — *Примеч. автора.*
«У женщин будет Гоморра, а у мужчин — Содом...» (франц.).

Дьявол

Надеюсь, я до сих пор не сказал ничего, что могло бы привести читателя к заключению, будто помянутый коттедж был местом уединенным. Множество народу обитало в самом непосредственном соседстве с ним. Среди них был и сэр Энтони Лоутон с дочерьми. Предлагаю заняться пристально только старшей из них, именем Мэри Лоутон.

Ума не приложу, как описать вам ее. То была женщина шести и двадцати к ним лет, весьма легкопонятная, очень простая и вместе с тем сложная, простая в сложности и сложная в простоте. Мужчинам она казалась мужчиною, сильным, здоровым, берейторского типа, лыжнобежным, умелым во многих видах спорта, курившим трубку и походя опустошавшим стаканы. Женщинам она представлялась женщиной с ручками, всегда готовыми к самой нежной ласке, губами полными и алыми и кожей, как бархат.

В целом по образу жизни, манере речи и обычаям она и вправду была мужеподобна. Одевалась она часто по-мужски. Как-то раз, проезжая мимо Лайонеловой хижины, она заметила тонкорукую юношу с очами крупными и окруженными синим нимбом.

Взгляды их встретились: она улыбнулась; он вострепал. Обоим понравилось. Еще один день восстал и снова свел их вместе. Последовало официальное представление. Самец-Мэри покорила самку-Лайонела. С тех пор прозвище отклеилось от «*cheval hongre*». Ни одной вдове больше не представилось шанса отконехлыстить его еще разок.

XVIII

Луна

Они были очень счастливы; он познал радости здоровья и несказанное блаженство отдаваться; она — волнующее,

мучительное блаженство обладать. Тут-то она, героиня нашей сказочки, немедленно и покидает сюжет.

Итак, они очень счастливы. Мужчина и женщина. Завершенное существо. Пусть же любовь их проживет дольше, чем у пчел!

ДЖОРДЖ РАФФАЛОВИЧ²

I

Шея у него сильно распухла, маленькие ножки совсем за-костенели, глаза глядели устало и печально... Я о голубе гово-рю. Раздутая шея пряталась в мягких серых перышках, лапки все еще сжимали свою ношу, взгляд был твердо устремлен впе-ред — и все же симптомы утомления были очевидны всякому знатоку голубей.

А я ведь знаток. Когда-то давным-давно я был счастливым владельцем сотен почтовых голубей. Злосчастные стечения об-стоятельств и близкое знакомство с кое-какими чудаками при-вели меня к попыткам утопить свою тоску. Я проглотил боль-шую часть голубей — не одну дюжину на тот момент — или, вернее, их эквивалент в напитках умеренной крепости. Я за-губил свое здоровье. Пришла болезнь, долгая и мучительная; счета от доктора съели все, что оставалось.. Но забудем!

И вот в мое окно влетел голубь и стоял теперь на подокон-нике, ждал. Почтовый и с письмом. Я вытащил почти прозрач-ную записочку из пенала и прочитал ее короткое содержание, которое возбудило мое любопытство.

«Похищен — в тюрьме — написал сообщение. Все рав-но, куда полетит голубь, но верю, что получатель прочтет это и отошлет голубя назад с запискою об английских ново-стях. Радикалы все еще у власти? Напишу больше по возвра-щении голубя. Пожалуйста, вложите кассеты с пленками. Необычайные приключения!!!»

Меня это удивило и... увлекло. Я покормил птицу, написал короткий ответ всего в несколько слов: «Храбритесь. Посылаю сообщение: нет никаких радикалов», — вложил свежие плен-ки в кассетах и, поцеловав посланника в темечко, со вздохом

1 Мы полагаем, что автор сего рассказа не менее безумен, чем его персо-нажи. — *Ред.* — *Примеч. автора.*

2 Рассказ впервые опубликован в журнале «Эквинокс», I, 2 (сентябрь 1909 года).

отпустил. Тут удача как раз вернулась ко мне, и я обо всем позабыл вплоть до прошлой недели, когда голубь прилетел снова. Он был тяжело нагружен. Я не стану приводить тут все записки, ни, тем более, письмо моего корреспондента целиком. Я принимаю на себя всю ответственность и, как следствие, пользуюсь правом редактора.

Впрочем, и в качестве последнего прелиминария, читатель, вероятно, будет рад принять ко вниманию нижеследующую часть письма:

«Прошу вас, сэр, — писал Человек-Крышка, — не посылать мне до публикации никаких гранок. Для вас это будет просто ненужное беспокойство; для меня же подобный знак внимания со стороны неизвестного благодетеля окажется обременителен и, к тому же, даст моим врагам случай возобновить преследования. Почта моя, вне всяких сомнений, будет перлюстрироваться, даже если и вправду меня благословят сообщениями из мира живых. Но когда все материалы будут опубликованы, и имя мое полетит из уст в уста, тогда и только тогда вы, кто бы вы ни были, о, благородный герой Людей-Крышек, любезно пошлете мне тридцать один экземпляр на раздачу.

Я не претендую ни на роялти — ни вообще на деньги — ни на уважение! Создание, сосредоточившее в себе самые наиинтереснейшие и крайне возвышенные свойства крышки и человека, может лишь содрогнуться от ужаса при одной только мысли о такой вульгарности как денежный оборот. Но, прошу вас, пошлите тысячу фунтов чеком секретарю ОПХЩ¹ в качестве анонимного пожертвования, факт которого, тем не менее, должен быть зафиксирован в архивах ежедневной и периодической прессы по всему миру».

Да, немаленький заказ для того, кто презирает деньги. Моему корреспонденту, судя по всему, известны силы, что правят миром: Капитал и Реклама. Увы! Несмотря на все усилия ОПХЩ, щенки продолжают терять благородные части своих хвостов в угоду третьей силе, третьей власти, имя которой Мода. Что же до тысячи фунтов, я, быть может... или

¹ После долгого и мучительного расследования автор этой повести, наконец, выяснил, какое общество имел в виду его корреспондент. Это Общество по Предотвращению Хвостопирования у Щенков. И да, оно все еще нуждается в щедрых пожертвованиях. — *Примеч. автора.*

не может... Но мы отвлеклись. Используя французское выражение, довольно жаргонное, но, тем не менее, экспрессивное, «*Je passe le crachoir à l'orateur*»¹. Полагаю, автор — сумасшедший. Но все же считаю нужным отметить, что я не специалист по душевным недугам.

«Всегда, еще со времен задолго до своего рождения, я вел жизнь весьма мирную. Я рос. Меня влекли к себе Наука, Искусство и Поэзия. Любимым моим досугом было обращение владельцев щенков в милосердную веру в возрождение всего собачьего рода посредством сохранения хвостового придатка. Как-то раз дышавший во мне гений побудил меня оставить дом. Было пятое ноября. На заполненной народом улице меня окружили пострелята, принявшиеся кричать, что я — Гай Фокс. Я поспешил домой сквозь потоки дождя.

Мою улицу мерил шагами какой-то человек, бормотавший странные слова — какие, понять я не мог. Рушащийся с небес обложной дождь ни в малейшей степени не охлаждал его разгоряченный ум.

— Что за гнусный вечер! — вымолвил я, проходя мимо него.

Он тут же ухватил меня за руку и потащил под фонарь. Там он долгое время пристально тарачился на меня, а затем заговорил медленно, словно вколачивая каждый слог мне в ухо (дождь меж тем продолжал монотонно стелать):

— Я буду очень удивлен, если это не та самая крышка, которой я столь долго ждал. Никакие софизмы не заставят меня отпустить вас теперь, когда я вас, наконец, отыскал. Я был мертв; моя жизнь — не более чем пружина, которой нечего двигать. Каждый двадцать первый день, строго по календарю, я приходил сюда и бродил по пустынным улицам этого захоlustья. И каждый раз я по два часа ждал и ждал, и жаждал, и волновался, и надеялся, и терял надежду, и унывал, и горевал, и гигантские мысли толпились у меня в голове. Я почти уже отчаялся ждать этого мига; но вот он пришел. Я отринул долг перед искусством, зов рассудка, страх сомнительных встреч, даже естественную заботу о самом драгоценном бытии на этой планете. Но я вознагражден сполна. Вы здесь. Мой шар из прозрачного хрусталя показал истину. Вы пришли, ускользнув от всех

¹ Передаю плевательницу оратору (франц.).

моих врагов, и теперь вам какое-то время придется быть в моем распоряжении.

Сперва я подумал, что незнакомец, должно быть, пребывает под влиянием выпитого и что спорить с ним бесполезно. Я, к тому же, не то чтобы очень свободно себя чувствую с чужими людьми, особенно когда они изволят говорить такими загадками. Поэтому я ничего ему не сказал, но деликатно попытался вернуть себе свободу. Увы! Его хватка оказалась сильнее моего желания вырваться, и в результате он лишь подтащил меня поближе.

— Я был мертв, — снова завел он, — и мои возвышенные и прекрасные думы странствовали по мировому пространству, не имея ни формы, ни выражения. Крышка, покрывавшая священное вместилище, где они хранились, оказалась украдена; враги ожидали капитуляции. По счастью, посланный Господом ангел велел мне выходить каждый двадцать первый день на улицу и обещал, что так я найду крышку, в которой так нуждаюсь. Теперь она у меня есть, и я намерен оставить ее себе.

— О чем вы говорите? — возмутился я. — Я — человек; вот мой дом, и ни о каких крышках я ничего не знаю. Вы меня приняли за какого-то неизвестного мне человека или предмет, сэр; прошу, отпустите меня.

— Отпустить вас! Снова потерять крышку, которая сможет удержать под собой мои мысли! Да вы спятили! И потом, почему вы вообще разговариваете? И как получилось, что вы такой формы?

— Да говорю вам, я человек. Оставьте меня в покое, или мне придется позвать на помощь и передать вас в руки полиции. Я — человек ученый и дворянин, известный, смею сказать, всему миру.

— Я не дурак, и я вас оставлю себе! Пошли, мне сегодня нужно в Брайтон: я бросил там свои мысли — одни, в ящике и безо всякой крышки.

— Ни в какой Брайтон я не поеду, сэр! Вы сами спятили! Я что, похож на шкатулку?

— Внешность никакого отношения к делу не имеет, — строго сказал мне он. — Что до безумия, то это я сошел бы с ума, если б не встретил вас, наконец. Идем же! Мои люди ждут и готовы ко всему, и мне придется позвать их, если вы откажетесь

следовать за мной. Мы отправляемся в Брайтон и там я вас верну на положенное вам место.

— О, мои мысли, мои высокие думы! — продолжал он. — Ныне же будете вы исхищены из мира ваших врагов!

Хотелось бы мне знать, милое незнакомое существо, в чьи руки мои крылатые друзья принесут это письмо, что стали бы вы делать на моем месте? Как мне было спастись? Из сказанного явствовало, и без малейших сомнений, что человек этот — безумец. А между тем безумцы всегда были мне особенно интересны. Вот он, подарок моему любопытству. Этот чужак, думал я, должно быть, обманул бдительность своих сторожей, так что мне будет совсем не трудно отдать его под арест на вокзале или, по крайней мере, по прибытии в Брайтон. Итак, я последовал за ним. На повороте нас ждал большой автомобиль, а рядом на тротуаре возвышались двое. Они молча поклонились моему спутнику и втолкнули меня внутрь.

Один из них занял место водителя, а другой присоединился к нам на задних сиденьях. Незнакомец сказал только одно слово: «Брысь!» — и мы рванули с места на поразительной скорости и вскоре были уже на шоссе.

Мне стало как-то не по себе. Благоразумие, впрочем, вовремя наступило мне на язык. Тот из них, что сидел рядом со мной, тем временем принялся хихикать. Потом он заговорил, и хотя слова его могли вполне быть другими, вот что я понял и запомнил:

— Вы пытаетесь нас обмануть. Я всегда примечаю такие попытки, даже если они пока еще достигли только умственной стадии. Ну, да, я просто не могу их не замечать. Вы, без сомнения, слышали обо мне: Я — *человек-чей-нос-поет-сам-по-себе*. Способность эта пришла ко мне с тех пор, как я ощутил сильное желание убить мою жену топором. Я подчинил себе этот импульс и при помощи победоносных логических качеств, отсекая себе правую руку. Не имея руки, я, разумеется, не мог убить жену топором. Бог вознаграждал меня, дав умение читать мысли, которое стало дополнительным чувством, вдобавок к обычным пяти. Носу же моему Он дал голос. Я был дантистом в то время и тут же нашел новый способ удалять зубы без наркоза. Нужно просто хорошенько сдавить шею пациенту, а когда он лишится чувств, вы сможете спокойно провести

операцию. Ну, а вы как до такого дошли? Что вас побудило принять облик мужчины вместо обычной нормальной коричневой крышечности?

Его спутник — не то друг, не то хозяин — вовремя велел ему заткнуться, и дальше мы ехали в тишине.

Когда впереди показался Брайтон, автомобиль наш внезапно остановился перед большими воротами. Мгновение спустя мы были в парке, потом отворилась дверь, и меня завели в дом.

Человек, которого я на свое несчастье повстречал на улице, теперь был со мною один. Не дав мне ни минуты покоя, он принялся измерять меня с превеликим тщанием и осторожностью. Затем он указал мне на просторную и крепкую клетку и велел в нее войти.

Было бы крайне утомительно, да и бесполезно описывать здесь разнообразные мысли, бродившие у меня в голове, и оцепенение ужаса, в которое ввергли меня обстоятельства. Ни за что на свете не согласился бы я пережить еще раз те несколько часов; окажись в пределах досягаемости дьявол, я решительно променял бы свою душу на то, чтобы он сей же час в целости и сохранности доставил меня домой. Но никто не пришел мне на помощь, и с величайшею неохотой я вынужден был смириться с ужасной своей судьбой.

Когда дверь клетки, сделанной из самой прочной стали, хлопнулась за мной, я оказался пленником в самом унижительном смысле этого слова. Я огляделся и попробовал потрясти прутья решетки, но, разумеется, тщетно. Человек-без-крышки куда-то ушел.

Я занялся осмотром тюрьмы. В левом ее углу я обнаружил ящик, который по форме напоминал гроб, но гробом, определенно не был — по крайней мере, таким, какие я имел удовольствие каждый божий день созерцать в витринах соответствующих дел мастеров. Он был разделен на отсеки!

«Не тот ли это самый ящик для возвышенных мыслей?» — сказал я сам себе.

Если да, то его владелец, по всей видимости, являлся счастливым обладателем каких-то умственных способностей, так как пустым ящик отнюдь не был.

В первом отделении лежал красный цветок, пылавший глубоким, чистейшим кармином Природы. Его явно срезали

не только что, но он сохранил всю свою красоту и восхитительный аромат.

Во втором отделении была кукла. Нет, совсем не какая-нибудь необыкновенная. Обычная простая кукла из дерева, ручной работы, которую можно открыть посередине и обнаружить внутри вторую, точно такую же с виду — вроде тех бесформенных деревянных старушонок из белого дерева, какие строгают русские крестьяне долгими вечерами своей суровой зимы. В общем, там была ровно двадцать одна куколка, одна внутри другой. Последняя едва ли превышала размером маковое зернышко, но сохраняла все особенности облика самой большой.

В третьем отделении я нашел две книги. Можете себе представить мое удивление, когда оказалось, что ни единое пятнышко черной краски не оскверняет безупречной белизны их страниц. Только на переплете нашлось несколько слов — это были названия сих ненаписанных книг.

«Книга,
содержащая все,
что я знаю доподлинно»

и

«Совет
человеческому роду
по наилучшему
применению его способностей».

Имена авторов отсутствовали.

В четвертом отделении обнаружилась небольшая картинка в рамке. Я весьма тщательно ее изучил, но поначалу не мог сказать, что же на ней все-таки изображено. Из небольшой плоскодонной лодочки вздымалась, гневно глядя, гигантская змея, а в противоположном углу красовалось круглое черное пятнышко. Подобно тому, как ребенок кидает в реку камень, и волны катятся дальше и дальше, разбегаясь прочь от нанесенных им дитятей ран, так и здесь круги серого цвета, постепенно светлея, расходились к змее равномерно эксцентрическими

окружностями. Последний, исчезающий у самой головы чудища, был почти белым.

В пятом отделении был череп.

В шестом — белая роза со сладостным запахом.

В седьмом, так же как *в восьмом* и последнем, я ничего не увидел, но какая-то приятная музыка донеслась до моих ушей, когда я склонился над ними. Мелодии сперва показались мне совершенно разными — одна нежной и тихой, другая грозной и яростной. В конце концов, обе, однако, слились в шепот и внезапно оборвались пронзительным смехом.

Тут человек, потерявший крышку, снова вошел в комнату.

— Ага, — сказал он, — думаю, к этому времени вы уже отыскали способ смириться с необходимостью и собрать воедино подлинную свою личность. Что вы нашли в моем ящичке?

Я сказал ему, что, и немедленно он побледнел и зашатался, но через мгновенье гневно на меня поглядел и вернулся к обычной своей манере.

— Бога ради! — воскликнул он. — Я вам не верю. Мне все равно, каким образом вы умудрились узнать мою тайну и заучить наизусть, что человек должен видеть у меня в ящике, но никогда не видит. Вы не могли, не должны были их увидеть!

Я поклялся, что не вру. Он отказался меня слушать и кликнул двух своих людей. Они явились и принялись по новой меня обмерять, проверяя его результаты.

— Слишком длинно! — сказал он, когда они закончили. — Вы что-то разрослись. Мы вас обпилим и расплющим, чтобы вы в точности подходили к моему ящику. Но так как вы претендуете, будто видели в нем вещи, которых крышка увидеть не может, я должен дать себе один день на размышления.

Я ощутил мгновенное облегчение; надежда снова вернулась ко мне.

«Возможно, меня таки не станут пилить и плющить», — подумал я и весело улыбнулся собеседнику.

Вот дурак! Тут же я понял, что более жестокого наказания не породило бы и большое воображение сумасшедшего. Вот он я, в совершенно уединенном месте и с перспективой дальнейшей жизни, более ужасной, чем... Но, дорогой неизвестный читатель моей истории, о, ты, кому надежный посланник доверил ее, да не встревожат тебя мои личные горести и неурядицы

бессвязным предвосхищением дальнейших событий. Я не должен возбуждать сочувствие в сердце твоём, рыдая о себе. Я действительно склонен впадать в неистовство, оплакивая свою судьбу; но так поступают все великие люди. И отныне я попытаюсь не давать воли этому нездоровому обыкновению. Вам еще многое предстоит мне простить.

Но вернусь к своему рассказу. Сидя в клетке, я попеременно переходил из состояния ужасающей умственной агонии к более успокоенному и оптимистичному настроению. Человек, потерявший крышку, во второй раз оставил меня в одиночестве. Мне стало легче. Нет, он точно не осмелится, думал я; и, в конце концов, он не выйдет таким уж хладнокровным убийцей. Глаза выдают наличие некой внутренней жизни, а тон голоса временами бывает даже мягок. Все это шутка, мистификация... Оно должно, просто обязано быть шуткой!

Так я пытался обмануть себя. Должен признать, попытки мои провалились. Оглядываясь вокруг, я ощущал, как какое-то странное оупение накрывает меня. Оно почти походило на опьянение, а могу заметить безо всякого стыда, что такое опьянение я знаю. Мне хотелось спать; голова моя стала такой тяжелой, словно внутри у нее вместо пронизательнейшего из мозгов был свинец. Гроб показался мне удобным ложем, а череп — мягчайшей подушкой. Безумная и внезапная приязнь сморила меня прямо на ящике, поверх всех восьми его отделений, и в мгновение ока я вытянулся там, храпя.

Далее в моей памяти следует пробел. Под воздействием сильного наркотика меня обпилили и сплющили, чтобы я идеально подходил к гробу. Где-то в это время мучителей моих, вероятно, прервали, так как они забыли прибить меня к нему. Клетку поспешно водрузили на автомобиль и отвезли куда-то на Южное побережье, где уже ждала нас частная яхта. Так я это себе объясняю, хотя на самом деле, конечно, лишь тешу себя догадками. Возможно, меня увезли на каком-то воздушном судне, неподвластном законам земли и плюющим на таможенные пошлины — пролетевшем, возможно, над Лондоном и Скотланд-Ярдом и моим милым старым домом, где был я так счастлив... Но *nec scire fas est omnia*¹.

1 Знать всё нам не дано (лат.).

Единственное, в чем я уверен, это что меня то ли сплющили, чтобы подогнуть под гроб, то ли гроб как-то подогнули ко мне. А потом я проснулся. Я находился на борту морского или воздушного судна. И, поверьте, оно находилось в большой опасности.

Впрочем, рассказывать об этом в подробностях совершенно бесполезно. Механизм жестоко пострадал, был почти выведен из строя; команда чудом оставалась в живых. Я сам едва не отправился на тот свет. После того, как буря стихла, я оказался на берегу этого острова в компании с ящиком, маленькой клеткой, откуда тщетно старались вырваться двое почтовых голубей, полумертвых от голода; тремя матросами команды; человеком-чей-нос-пел-по-собственной-воле и собакой. Мой мучитель и прочие, видимо, утонули или их выбросило на какую-то другую землю. Еще немного и я бы пожалел, что его здесь нет. Я мог бы исцелить его. После всего, что произошло, ему волей-неволей пришлось бы относиться ко мне более мягко и снисходительно. Вдобавок теперь, когда он уже подогнал мои размеры под свой ящик, худшее было уже позади...».

Далее следует невразумительный монолог о горьком вкусе морской воды и возможностях его услащения, после чего манускрипт, собственно, и обрывается. Я отослал голубя назад и ожидаю теперь следующей партии фактов — поточнее и достовернее туманных и голословных заявлений первого письма. Если позволите высказать частное мнение, я склонен полагать, что автор послания не менее безумен, чем его мучитель, будь он реальным или воображаемым. Впрочем, автор — явно человек, так что... *imprimatur!*¹

II

Учитывая количество рукописного материала, доверенного голубю моим корреспондентом, я решил послать с первой птицей дополнительного носильщика на тот случай, если следующее послание будет равного или большего объема, а поскольку, как я уже говорил, я кое-что в голубях понимаю, я провернул все это наименьшим способом.

¹ Имприматур, разрешено цензурой; здесь «пусть будет» (лат.).

Я говорю, наиумнейшим, потому что в умности своей схема эта очень проста, и никто ведь, кроме меня, этого не скажет, а ее еще надо было найти. Итак, я приобрел превосходную самку и посадил ее к голубю Человека-Крышки, чтобы они могли втереться друг к другу в доверие. Приметив первые симптомы любви, я благословил парочку и отпустил их на волю. Молодая жена — которой, я надеялся, она не замедлит стать — естественно, последовала за мужем.

Они возвратились ко мне с нижеследующим странным документом. Думаю, я обязан предостеречь читателя против безотчетного сочувствия к автору. Жестокость и злость, свойственные его логическим построениям, слишком отвратительны, чтобы допустить к нему хоть какую-то жалость. Все его страдания — судя по всему, не более чем следствия деятельности разнузданного и неукротимого воображения, а подлинные жертвы во всей этой истории — и единственные, кого здесь следует жалеть — это как раз несчастные его спутники.

Все это верно, разумеется, лишь в том случае, если документы хоть как-то отражают реальность. Думаю, все понимают необходимость прояснить этот вопрос. Увы! В этой стране нет никаких радикалов — то есть, лиц, действующих радикальным образом — как я уже писал о том Человеку-Крышке, и, следовательно, вряд ли можно надеяться, что правительство Его Величества отдаст на этот счет какие-то распоряжения. Боюсь, если к потерпевшим крушение и отрядили уже экспедицию, командовать ей будет какой-нибудь выдающийся иностранный офицер. Впрочем, если означенная экспедиция покроет себя позором, не найдя Человека-Крышки на его острове, факт иностранности экспедиции будет только к вящей пользе британской репутации. Но вернемся к делу.

«Принимая во внимание нынешнее продвинутое состояние цивилизации, когда мы вот уже пять с гаком тысяч лет гордо несем факел Науки и даже размахиваем им с большей или меньшей эффективностью, как утверждает Карлейль¹; и также принимая во внимание — как я считаю необходимым

¹ Имеется в виду Томас Карлейль (1795—1881) — британский публицист, философ и историк.

подчеркнуть, пусть даже в пику бессмертному шотландцу — сколь незначительно больше мы знаем теперь о самых важных заботящих человеческий род вопросах в сравнении с нашими хвостатыми пращурами, пытливый ум, возможно, будет весьма удивлен тем фактом, что, как бы ни были они неприятны с частной точки зрения, те удивительные и чудесные события, что происходят сейчас со мной, без сомнений, окажут немалую помощь *bonâ-fide*¹ мыслителям нашего времени. Декан Свифт² и Сэмюэль Батлер³ являются — и никто не станет этого отрицать — величайшими благодетелями человечества. Если бы мои страдания, в свою очередь, могли принести какую-то пользу, я был бы горд и счастлив самым пространством образом описать ту жизнь, которую сейчас веду в компании трех моряков, собаки, носомузыканта, ящика, важность которого ценю с каждым днем все больше и больше, и наших почтовых голубей на этом далеком острове.

Мне следует методично приступить к делу и составить систематический отчет о моей здешней жизни. Я верю, что Тот, кто властвует нашими судьбами, призрит на меня как самого логичного из всех ныне живущих. Поскольку окружающая обстановка играет в нашей жизни чрезвычайно важную роль, мой первейший долг — описать ее. Остров наш довольно большой. Когда я самостоятельно обойду его, я, вероятно, сумею дать приблизительную оценку его площади. На настоящий момент я, впрочем, могу сказать только одно: *это большой остров*. У нас тут тысячи деревьев: водяные деревья, из которых после того, как стволы срубят, течет вода; деревья орехов-кола; папайя с цветами женской и мужской разновидности; драконовы деревья, фиговые деревья, кокосовые пальмы, хлебные деревья и всякое такое прочее. В ветвях их живут красивые птицы. Все, потребное для жизни, тут есть в изобилии и легко доступно. Климат позволяет проводить день и ночь на открытом воздухе,

1 Подлинным (лат.). В написании в оригинале допущена ошибка, аккуратно воспроизводимая здесь.

2 Джонатан Свифт (1667—1745) — британский философ, писатель-сатирик и общественный деятель, занимавший пост декана собора Святого Патрика в Дублине.

3 Сэмюэль Батлер (1835—1902) — писатель-иконоборец викторианской эпохи.

и когда я отхожу ко сну на ящике, чьей крышкой теперь имею честь состоять, мои товарищи забираются ночевать на деревья.

Ни одна ядовитая или иным образом неприятная тварь доселе не дерзала дышать воздухом этой земли отдохновения. Но остров — совсем не пустыня. Местные жители черные, но ручные и милые, и одним из первых моих шагов непременно будет попытка вовлечь их в контакт, маня красотами нашей цивилизации. Для этой цели мой громадный ящик будет необычайно полезен. И здесь-то самое время сказать о первой из встреченных мною трудностей.

Судьба человеческая — дело ненадежное и неустроенное, и душа моя нередко странствовала в дальних далях, стремясь обеспечить моего мучителя возвышенными мыслями на будущее. Я успешно изгнал всякую ненависть и горечь из сердца моего и простил врага. Он причинил мне великое зло, безжалостно исхитив меня от мирного течения жизни, а затем распилив и сплющив, дабы придать форму, достойную и подходящую для его гроба. Он увлек меня на свой корабль и тем самым послужил причиной настоящего моего изгнания. Двое юных котят еще дома возложили на меня все свои надежды, и ныне я терпел прискорбную неудачу в исполнении родительского долга по отношению к ним. Я трудился над своим великим проектом — пятьюдесятью двумя томами, посвященными разнообразным элементам, входящим в состав устричной раковины, и почти уже дописал Введение, когда Человек-потерявший-крышку вот так вот лишил меня всякой свободы. И тем не менее я не питаю к нему никакой злобы. Он был совершенно прав: с каждым днем я ощущаю это все сильнее. Ящик столь великий воистину нуждался в крышке. И вот я, зная, что час моей смерти может пробить в любое мгновение, должен теперь найти нового человека-крышку, способного занять мое место в сем предприятии; того, кто не забудет каждую ночь заново восстанавливать целостность ящика.

Действуя по порядку, я обозрел окрестности и немедленно забраковал обоих голубей и собаку. Оставалось лишь произвести выбор между тремя матросами и Человеком-чей-нос-пелсам-собой. Поскольку последний был нам чрезвычайно полезен, часами развлекая негров гармоничными, хотя и несколько заунывными аккордами, доносящимися в произвольном

порядке из его назального органа, оставались только матросы. Аборигены для столь высокой задачи, разумеется, не годились. Они не сумели бы найти никакого внутреннего наслаждения в непрестанных страданиях, обусловленных таким ужасным испытанием — или роком! — какое выпало мне.

Из троих кандидатов один оказался слишком коротким, чтобы его можно было пустить в дело. Если слишком большого заместителя я еще мог как-то подкоротить, обкорнать, урезать или минимизировать, то с таким крошечным образчиком нашего рода делать было решительно нечего. В итоге я решил просто прирезать его во сне, чтобы поскорее покончить с бесполезным и досадным препятствием. Поскольку с самого кораблекрушения эти четверо погрузились в состояние глубокой апатии и только тарачились на меня совершенно пустыми глазами, разрешить эту небольшую проблему не составило труда. Тело я спрятал и предоставил времени и естественной сухости воздуха позаботиться о разделении его на составляющие элементы.

Человек-с-поющим-носом первым заметил отсутствие матроса, но ничего мне по этому поводу не сказал. Думаю, он на самом деле тоже сошел с ума. Он постоянно с тревогой смотрит на восток и выглядит потерянным для мира — теперь, когда друг его или господин сгинул в пучине катастрофы. Из самой середины его лица доносится грустная мелодия, а из глаз бегут горькие слезы; однако, как я уже говорил, он не перемолвился со мной ни словом. Я был этим немало удивлен, так как он единственный, кто разделяет со мной тайну ящика. Впрочем, я уважаю его молчание.

Двое оставшихся больше годились для моих целей. Один был крепко сбитый парень, производивший впечатление даже некоторого ума. Впрочем, чтобы сделать его орудием моих планов, мне еще нужно было отравить ему душу страхом или духовными муками. Итак, в моем распоряжении оставалось еще только одно средство, и я обратил все свои усилия на последнего из моих компаньонов.

Он во всех отношениях немолод. Виски его уже увенчаны серебром седины, а нос отмечен кармином не одного галлона; лет ему не меньше пятидесяти. Примечательная наблюдательность делает его еще более ценным. Когда я открыл ему мой разум, он просто поднял на меня взгляд, в котором

светилась пронизательность, и слегка улыбнулся улыбкою истинно мудрых.

Я поведал ему историю встречи с похитителем и объяснил операцию, через которую мне пришлось пройти, дабы обрести соответствие ковчегу возвышенных мыслей. За исключением тайны восьми отделений, я распахнул самую душу свою сему достойному наследнику. Должно быть, он обладал острым чувством юмора, так как тут же принялся мягко и со сдержанной иронией рассказывать мне совсем другую историю. Улыбка его свидетельствовала, что он просто пытается меня развлечь. По его версии событий, я был известным хирургом, утратившим разум и взятым на частную яхту прославленного психиатра. Так как я постоянно толковал о каком-то гробе без крышки, мне сделали такой в точности по размеру. К несчастью, рассказывал моряк, случилось кораблекрушение, и доктор, который один только мог меня вылечить, утонул.

Сия история заставила меня рассмеяться от всего сердца. Я едва не выхохотал себе все ребра. Мне не составило труда указать ему все противоречия в его рассказе, так что вскоре он согласился со мной. Когда он увидел, что, более того, я единственный из всех нас вооружен, а островитяне относятся ко мне с величайшим уважением, он полностью отдал себя в мое распоряжение. Я воспользовался этим счастливым расположением духа и предложил ему мои услуги, чтобы там же, на месте обпилить и расщепить его, но он с нежностью заглянул мне в глаза и сказал, что он сам об этом позаботится. Я рассказал ему о своих экспериментах и признался, что до сих пор временами страдаю иллюзией, что мое тело совершенно целое. Это (сказал он) совершенно обычное дело для тех, кто пережил ампутацию, и обещал, что в случае моей смерти он незамедлительно произведет все необходимые приготовления, чтобы начать самостоятельно нести мои ночные вахты на ящике. Разум мой успокоился, и я решил подвергнуть более глубокому изучению содержимое могущественного ковчега».

III

Двое голубей прилетели. Рад сказать, что выглядят они совершенно счастливыми. Хотя осталось еще очень многое

опубликовать, прежде чем мы сможем отправиться на место приключений Человека-Крышки, о котором шла речь в прошлом письме, мне придется отступить от своих планов. Он сообщил мне столь поразительные новости, что я ощущаю своим долгом сей же час поделиться ими с читателем. Новости действительно потрясающие. Получив мое письмо, он угрожает теперь взорвать весь остров к чертям, если хоть одно судно покажется в радиусе трех миль. Он информирует меня о своем твердом решении никогда не покидать этого места и никому не позволять приблизиться к нему ближе помянутого расстояния. При условии если я пообещаю ему никогда не раскрывать тайну его новообретенной земельной собственности, он соглашается держать меня в курсе своих действий. Ради сохранения сюжета я сделался пособником его маний и преступлений. Я стыжусь себя, но любопытство сильнее стыда. Голуби уже улетели к нему, неся от меня слово чести. Я слишком сильно жаждал узнать о Человеке-Крышке побольше; долг репортера заставил меня позабыть все моральные принципы, в муках привитые целой жизнью суровых испытаний и ошибок, за которые мне пришлось жестоко поплатиться. Поскребите человека и найдете чудовище. Должен признать, и я здесь тоже не исключение. В последний раз я позволил своей личности внедриться между читателем и сумасшедшим героем этой истории, и за вмешательство это прошу у вас прощения. Ныне уступаю я место ему и стану обнародовать его записки в том виде, в каком их получил.

«Содержимое гроба от крушения совсем не пострадало. Вот они все — книги и череп, розы белые и красные, картинка и кукла. Из седьмого и восьмого отделений доносятся все те же мелодии. Звук напоминает мне на самом деле какого-то хрипатога певца, но вину на это, без сомнения, следует возложить на морскую воду, впитавшуюся во время транспортировки сундука с места крушения на берег. Надо будет набрать лимонов и как следует натереть дерево их соком.

Будучи человеком методичным и логичным, я не мог не начать с дел библиотечных. В сухом виде обе книги мне весьма понравились. Я открыл их на первой странице и синим

карандашом стал записывать в них самые важные мысли, которые приходили мне в голову.

«Книгу,
содержащую все,
что я доподлинно
знаю»

я начал следующими словами:

«Когда ненависть и преследования с его стороны приводят тебя к более ясному пониманию тайн жизни, враг твой становится твоим благодетелем».

«Так как живущие со мной люди не в состоянии постичь, что мое тело — всего лишь иллюзия их несовершенного зрения, мне нет пользы и пытаться заставить их опознать в нем простую деревянную крышку».

«Ошибка их будет тем более оправданна и объяснима, если принять во внимание, что еще несколько дней назад я сам понятия не имел о своей настоящей личности и до сих пор еще иногда оказываюсь под влиянием недостаточно совершенных органов чувств».

«Поскольку судьба Человека-Крышки — явление невиданной редкости, он со всей очевидностью не может быть связан общепринятой моралью и условностями. Все, что мешает ему, все, что встает на его пути с целью не дать исполнить священный его долг, необходимо преодолеть и превозмочь. То, что для человека преступление, для крышки — зачастую праведность».

Заложив таким образом прочные и солидные основания этики, которые в качестве нового евангелия можно будет заповедать людям-крышкам грядущих времен, я открыл вторую книгу, дабы записать в ней ряд не менее полезных афоризмов. Но стоило мне взять в руки карандаш, как непорочная страница вдруг оказалась покрыта коричневыми знаками. Едва я успел их пробежать глазами, как они снова испарились. Но я помню то, что увидел.

«Оставь изучение устричных раковин ради постижения незримого, ради очищения чувств и избавления от причиняемых ими иллюзий».

«Долг человека в том, чтобы не верить другим. Они говорят либо правду, либо неправду; но даже если они говорят правду, это ложь».

«Все люди не обязательно должны убивать своих противников или тех, кто в них сомневается, или тех, кто им бесполезен; но некоторые — должны. И все Люди-крышки — тоже должны».

Из глубоких размышлений, последовавших за этим открытием, меня вывело прибытие большой делегации туземцев. Моего очевидного престолонаследника — если мне позволительно будет употребить этот термин в отношении Человека-Крышки — на месте не было. Двое других наших товарищей в окружающей природе тоже наблюдались эпизодически.

Эти черные ребята пребывали в весьма сварливом настроении, что само по себе было необычно. Быстро выслушав совет черепа (обе книги помочь ничем не смогли), я улегся на обычное свое место, защищая возвышенные думы от соприкосновения со всем нечистым и твердо вознамерившись быть многократно пронзенным примитивными копьями этих черных дьяволов, скорее чем дать им наложить лапу на мои святые книги. Пронзание копьями не могло причинить мне особого вреда, а дыры все равно скоро залечит умелая рука моего достойного заместителя.

По всей видимости, моя позиция пассивного сопротивления удивила аборигенов. Они сгрудились вокруг и принялись петь странную *мелопею*.¹ Один из их вождей провел руками у меня над лицом, и я мгновенно потерял сознание...

Пробудившись я все еще лежал на ящике, но окружающая обстановка как-то изменилась. Надо мной простиралась сень величавых деревьев в полном цвету юности. В архитектуре этого дивного уголка мира природе явно никто не помогал, и все равно даже японский садовник, мастер своего дела, не сумел бы устроить все лучше. Две дырки в земле в изножье гроба ждали, чтобы туда вкопали какие-нибудь столпы. Дикие цветы всевозможных оттенков, некоторые из которых были мне неизвестны, насыщали ароматом воздух. День уже не клонился

¹ Мелопея — мелодика, наука о мелодическом расположении тонов. Словоупотребление в данном случае не вполне корректно.

к закату во всем солнечном блеске, а сиял восторгом и очарованием утра. Роса покрывала поляну, и казалось, будто трава плачет наивными легкими слезами. Время от времени налетал легкий ветерок и ласково гладил каждую травинку, освежая своим дыханием. И вот уже Отец Солнце явился вслед за ним и покрасовался немного в небе над нами, осушая слезы зеленых кинжальчиков травы.

Он подсушил и мой гроб, и из музыкального отделения донеслись весьма воодушевленные вокальные ругалы. Еще я услышал тяжелое дыхание негров, искал их взглядом и обнаружил, что они, ничуть не подозревая о песне, расселись поодаль, вопя, галдя и распевая все вместе одновременно. Насколько мне, впрочем, показалось, они не замысливали никакого серьезного преступления. Заметив, что я слез с ящика и иду к ним, они поприветствовали меня в весьма дружелюбной манере. Должно быть, я пролежал на своем месте довольно долгое время — может быть, весь вечер и ночь — в тенетах того неестественного сна.

Я грациозно им поклонился; они, казалось, были удивлены моим нахальством. Я совсем уже было собрался заговорить, как вдруг меня охватило странное чувство. Прежняя мания вновь овладела моим разумом: я вообразил, будто сделан из мяса и костей. Мне тут же стало дурно, как будто и вправду тело мое все ооченело и затекло. К счастью, довольно было обернуться и посмотреть на гроб, чтобы иллюзия растаяла. Более того, я обнаружил, что забыл одну из самых важных вещей на свете. Самый цвет гроба должен был давно открыть мне глаза. Конечно же, я теперь был темно-коричневого цвета, почти черного: именно это и было причиной их удивления.

Какое-то движение в их рядах заставило меня поскорее обернуться. Увы, слишком поздно! Прохвосты воспользовались тем, что я оставил свой пост, и теперь самозабвенно грабили саркофаг, хранилище возвышенных дум.

Изданный мною пронзительный крик привел их в растерянность. У одного в руках уже был череп, но, заслышав мой вопль, он тут же положил его на место. Все они принялись петь какую-то медленную молитву, из которой я ни слова не понял. Я прошел прямо назад, ко гробу, преклонил перед ним колена и попытался обрести утешение в нежной музыке

последних двух отделений. Когда я вновь обернулся, несчастные неразумные твари уже удалились — все кроме двух, которые сейчас приближались ко мне. Это были женщины приятной наружности.

IV

Я был пленником. Запутанная путаница тропических растений окружала маленький оазис. Через нее пролегла тропинка, сурово охраняемая с того конца. Какую судьбу уготовали мне? Чего ради двух этих пригожих созданий оставили со мной? Я воспроизвожу здесь лишь ничтожно малую часть бесчисленных мыслей, толпившихся в тот миг в моем рассудке.

Однако — ибо рассказ и так грозит затянуться — я вскоре прекратил пережевывать гипотетическое будущее, ибо дамы дружно затаили какую-то безрадостную балладу: «Хау, фа-фа, хау, ло, хью-хью...». Она длилась и длилась, и ни конца, ни краю романсу не предвиделось. Женщины тем временем приблизились ко мне, и хотя мысли их уступили место вышеописанному шуму, руки уже нежно скребли мне голову, словно охотясь на волосы и намереваясь ими попировать. Я всегда был довольно восприимчив к женской красоте, и когда они грациозно прислонились ко мне и принялись похлопывать меня по щекам, я невольно задумался о том, как чудесно было бы позабыть о долге, бросить гроб и зажечь жизнью простого человека, а не крышки. Вскоре мне предстояло устыдиться таких мыслей.

Попредававшись некоторое время этому милому отдыху, они сменили мелодию и стали бормотать те же слова уже с другим выражением, которое немедленно вызвало у меня в памяти хор «Просительниц»¹. Они и в самом деле просили у меня некой милости. При виде настоящих слез, катившихся по щекам двух этих прелестных созданий, таких славных и милых, таких совершенных всеми своими пропорциями, во мне разыгралась жалость; а ведь за нею вскоре может последовать и любовь, подумал я. Несмотря на довольно темные лица, они были замечательно хороши собой и весьма близки к лучшим образцам белой женственности. Но нет! Красота их служила всего лишь

¹ Имеется в виду трагедия Эсхила «Просительницы».

ловушкой, а сладкие голоса призваны были обольстить жертву. Этих сирен подослали ко мне те, кто жаждал дальнейших гонений.

Все это я обнаружил, как только разгадал их. Девицы хотели похитить мои цветы. Жестами гибкими и гармоничными они показали, что желали бы получить от меня мистические розы из гроба. Поняв их намерения, я испытал сильнейшее побуждение умертвить обеих. Мы долго проговорили, не имея возможности сколько-нибудь глубоко проникнуть в мысли друг друга. В конце концов, я обратился к книгам из гроба и в той, что называлась

«Совет
человеческому роду
по наилучшему
применению его способностей»

я увидел начертанную незримой рукой следующую рекомендацию:

«Остерегайся женских ловушек»
«Да будут розы посажены, они для этого и предназначены»
«Крышке влюбляться не дозволено, если только в доски
и брусья»
«Берегись обмана чувств».

Как всякий поймет, в голове моей царил ад и скандал, но воспротивиться такому ясному и четкому приказу я не мог и потому подал розы девам. Пожалеть об уступке мне не пришлось. Они сжали ручки и заулыбались мне, а затем быстро посадили розы в две дыры в земле в изножье гроба, о которых я уже упоминал. Те тут же принялись расти и расти, и пускать цветы из стебля во многих местах, а запах их взласкал мои ноздри.

Но покой мне только снился! Обе самки убралась от меня подальше, но чувства мои уже заговорили языком сильным и грубым. Девицы уселись на противоположной стороне нашего оазиса и с удовольствием глядели оттуда, широко раскрыв глаза, на прекрасные ароматные растения, пустившиеся

в неистовый рост. Я не мог отвести от них глаз; слух мой впервые перестал воспринимать музыку из гроба. Словно бы внутри меня было двое людей: один — простой и естественный, как деревянная крышка; и второй, сложно устроенный и полный страстей, как будто я все еще был тем человеком, которым (я знал!) больше не являюсь. Я взял в руки череп, и внезапно свет воссиял в душе моей. Как мог я так обмануться? У меня были руки и ноги — я «ВИДЕЛ» их! Я видел женщин и видел гроб. Это не были ощущения простой доски из темного дерева. Это открытие почти свело меня с ума. Что это все означает? Я снова открыл книгу, но едва успел бросить взгляд на белую страницу, как на сцене снова появилась огромная компания негров. На сей раз удержать их на расстоянии мне не удалось. Они связали меня и потащили прочь. Я лишился чувств.

Придя в себя, я увидел, что нахожусь на берегу в обществе старого матроса, моего преданного преемника. Заметив, что я открыл глаза, он ласково со мною заговорил:

— Вам теперь лучше?

— Что случилось? — спросил я, вместо того чтобы ответить на его вопрос.

— Вы много дней страдали от мозговой лихорадки, и теперь вам нельзя слишком много разговаривать.

— Что? А где мой гроб?

— Негры забрали его и унесли внутрь острова.

— Надеюсь, теперь вы исцелились? — добавил он с тревогою в голосе.

Не стану повторять последовавший за этим диалог. Достаточно будет упомянуть, что я убедился в полном и абсолютном безумии старого моряка. Я оказался не в состоянии убедить его, что все еще твердо полагаю себя крышкой утраченного гроба, и потому почел за лучшее согласиться с ним. Вскоре он попался в ловушку. Тщательно скрыв, как тоскую по своему ящику и его сокровищам, по кукле и черепу, и по могущественным книгам, я разговаривал с ним так, будто утрата ничуть меня не заботила, и излагал свою программу по цивилизации местного населения. Он сказал, что две мои жены ожидают в маленькой хижине под сенью дерев, и что я могу отправиться туда, как только сумею встать и сделать несколько шагов.

Он не думал, что я смогу это сделать так скоро, но просчитался. Бдительно оглядев окрестности, я стал медленно подкрадываться к нему, и прежде чем он успел позвать на помощь, прыгнул и схватил старика за горло. У меня была цель и, будучи человеком логического склада, я намеревался воплотить ее в жизнь последовательно и точно, не теряя ни секунды. Мы долго боролись, и так как силы уже начали меня оставлять, я не без труда завладел ножом противника и погрузил его ему в живот.

Зрелище его крови, черным и горячим потоком бегущей на песок, мне совсем не понравилось, но упорство моряка не оставило мне выбора — экзекуция была единственным выходом. Было куда надежнее уничтожить будущего заместителя, как я до этого самого момента называл его в своих счастливых думах, а потом уже попытаться заставить кого-то другого занять освободившееся место. Он упомянул каких-то жен... значит, я вскоре смогу обзавестись ребенком и воспитать его в духе преемственности, убедив, что его святое предназначение — занять мое место. Да и распилить и обтесать ребенка можно куда лучше, чем дряхлого моряка. Так что я бросил последнего китам и прочей рыбе и устремился к оазису. Две жены, о которых он говорил, оказались теми самыми самками, что причинили мне недавний недуг. Сладкие их улыбки остановили жесткие и оскорбительные слова у меня на языке — тем более что они все равно остались бы непонятыми.

Прекрасно сознавая, что отныне и надолго мне придется скрывать свои мысли, я позволил им подойти и позаботиться обо мне. Так началась моя новая жизнь повелителя гарема. Поначалу негры относились ко мне с осторожностью и даже некоторой враждебностью, но вскоре убедились, что я совсем ручной и милый, и переменились ко мне. Как говорится,

Французский король и сорок тысяч солдат,

Мечи извлекли и сунули тут же назад.

Думаю, мой рассказ потеряет почти всякую связность, если на этом этапе сюжета я не опишу несколько происшествий и свои повседневные труды по цивилизации аборигенов. Поэтому сейчас же перечислю основные факты.

Через какое-то время негры мне подчинились. Жены чрезвычайно ко мне внимательны и всегда ждут меня с похвальной радостью. Тот моряк, что покрепче, излечился от своего страха и стал преданнейшим моим лейтенантом, а так как собственных мыслей у него не хватает, он никогда не просит никаких объяснений и просто исполняет мои приказы. Человека-споющим-по-собственной-воле-носом я заковал в кандалы. Его немота стала меня раздражать. Туземцы получают огромное удовольствие, посещая место его заключения, где, как и положено канарейке, он, сидит в клетке и постоянно издает рулады с помощью своего назального аппарата.

Окружность острова составляет около пятнадцати миль. Первым моим открытием на его территории оказалась сломанная шляпка, к которой черномазые не дерзали приблизиться с самого времени кораблекрушения. В их хижинах я обнаружил в больших количествах порох, ром, спички и табак. Все это я перетащил к себе в оазис вместе с пушкой. Когда дикари услышали голос этой могучей машины, мой авторитет обрел под собой солиднейшие основания.

Это событие помогло мне вернуть гроб, и я рад сообщить, что с ним не случилось ничего такого, что могло бы его осквернить или испортить. Понадобилось повесить две сотни туземцев и столько же сжечь заживо — ради проформы и чтобы продемонстрировать их черным соплеменникам беспристрастность моего правосудия. Помимо этого незначительного факта никаких других последствий обретение ящика могущества не возымело.

Я взял на себя непростую задачу цивилизовать негров, а так как для меня было немислимо хоть на мгновение утратить видение и понимание моей собственной миссии, поначалу парадокс создавшегося положения немало меня смущал. Вскоре, однако, истина открылась мне. Из самого драгоценного дерева на острове была изготовлена крышка ровно по моей форме, готовая занять мое место всякий раз, как разнообразные обязанности призывали меня прочь. По совету моих жен я спрятал гроб от досужих глаз и только раз в месяц, когда на небе тончайшим месяцем засверкает луна, аборигенам было дозволено созерцать его содержимое.

Прежде чем вернуться к основному направлению моей истории, которое я больше не оставлю (хотя и не стану следовать ему дольше необходимого), должен сказать несколько слов похвалы моим женам. Конечно, бедные создания думают, что я простой смертный, но, если оставить в стороне это небольшое заблуждение, относятся ко мне с любовью и поклонением столь великими, что впадают в чрезвычайную озабоченность всякий раз, когда я пропадаю у них из виду. Матрос, который мой лейтенант, зовет их няньками, но он такой незамысловатый человек!

Вспомним Законы Ману: там говорится, что есть семь разновидностей жен — то есть, жена, подобная воровке; подобная врагу; подобная господину; подобная другу; подобная сестре; подобная матери; подобная рабыне. Последние четыре действительно хороши, а самая последняя — прямо лучше всех. Я со своей стороны не могу полностью согласиться с древними. Мои жены — самые лучшие, и, боюсь, они по отношению ко мне подобны господину, хотя власть их и смягчена всегда сестринским обращением. А что они обе за чудесные повари-хи! Они помогут мне цивилизовать наших негров.

Эта задача представляется мне самой важной из всех. Весь цивилизованный мир может в одночасье исчезнуть, и нам нужны окультуренные создания, чтобы было чем его заменить. Неужели вы никогда не размышляли об ужасной судьбе, быть может, уготованной нашему роду; о самом легчайшем возмущении, способном свести к нулю всю нашу горделивую цивилизацию, оставив в живых лишь самых хилые и наименее приспособленные человеческие существа? Все придется начинать заново! Как оно, возможно, уже неоднократно начиналось на той или другой планете — да хоть бы и на нашей малютке — на протяжении прошедших веков. Ничего, совсем ничего может не остаться — ни единой книги (и даже Библия сгинет), ни единой статуи (ни Деметры, ни *La Vénus*¹), никакого произведения искусства за исключением, возможно, черепа маленькой обезьянки, которым будут играть волны нового бездонного океана. Или еще того хуже! Вещи могут как раз сохраниться, что неминуемо приведет наших преемников к серьезнейшим

¹ Венера (*франц.*). Вероятно, имеется в виду самая знаменитая из хранящихся во Франции Венер — Милосская.

ошибкам. Вы только вообразите себе, в какие крайности впали бы ученые, изучающие наше с вами время, если бы единственными доступными им документами оказались полное собрание сочинений мисс Корелли¹ или что-нибудь из бесчисленных утопий, которые валяются на нас сейчас, как из рога изобилия. Впрочем, в этом случае наше полное исчезновение их совсем не удивит.

Но, боюсь, я снова отвлекся. Должен вас предостеречь против вмешательства в мои дела. Я только что получил ваше письмо. Если вы хотя бы попытаетесь воспрепятствовать моей миссии или отрядить кого-нибудь спасать меня, я без малейших колебаний взорву наш остров. А теперь давайте вернемся к моим приключениям».

С глубоким сожалением вынужден сообщить, что больше никакой корреспонденции от Человека-крышки не поступало.

¹ Мария Корелли (1855—1924) — британская романистка, пользовавшаяся невероятной популярностью. Ее библиография включает более двадцати романов, несколько сборников рассказов и ряд публицистических произведений. Критики называли ее работы «чтивом для обывателей».

Сфинкс Гизы

Лорд Дансени¹

Недавно я видел Сфинкс раскрашенный лик.
Она раскрасила лик свой, чтобы строить глазки Времени.
Ни единого крашеного лица во всем мире не пощадил он —
одно лишь ее.

Далила была моложе и что ныне Далила? Прах.
Ничего не любил Время на своем веку, кроме этого
ни на что не годного раскрашенного лика.

Какое мне дело, что она безобразна, какое дело, что раскрасила лик свой, дабы только выманить у Времени его тайну?

Время дураком прохлаждается у ее стоп, а мог бы крушить города!

И глупая ее улыбка никогда не прискучит ему.
Те храмы, что подле нее, он позабыл осквернить.
Я видел, как шел мимо старик, и Время не тронул его.
Он, кто разрушил семь Фиванских врат!

Она пыталась связать его вервием вечных песков; она надеялась задавить его пирамидами.

И вот он лежит на солнце, и глупые его волосы разметались по лапам ее.

Если когда-нибудь она узнает его тайну, мы выколем ему глаза, чтобы он не нашел больше наших красот: во Флоренции ведь тоже есть красивые ворота — вдруг он и их сокрушит?

Мы пытались связать его песнями и древними обычаями, но недолго они смогли его удержать; он же всегда побеждал и смеялся над нами.

Когда мы его ослепим, он будет плясать для нас, и тогда уже мы станем смеяться.

Великий Время станет плясать, неуклюжий, и спотыкаться — он, кто любил убивать маленьких деток, а теперь не обидит и ромашки.

¹ Стихотворение в прозе, впервые опубликованное в журнале «Эквinox», I (2) (сентябрь 1909 года). Лорд Дансени (Эдвард Планкетт) (1878—1957) — ирландский англоязычный писатель и поэт, один из предшественников современной фэнтези.

И когда мыотрежем ему часы и года, будут глумиться над ним наши дети — над ним, кто заклял вавилонских крылатых быков, кто эльфов и фей косил без числа. Мы запрем его в пирамиде Хеопса, в большой камере, где стоит саркофаг. И станем выводить оттуда во время пиров, чтоб вызревал нам зерно и прислуживал у столов. Мы расцелуем раскрашенный лик твой, о, Сфинкс, если предашь, если выдашь нам Время.

Но все ж я боюсь, что в невыразимой муке своей он завладеет луной и всем миром и медленно обрушит на себя Дом Человечий.

ЦИРЦЕИН СОН

Перевод Алексей Осипов

Редактор Анна Блейз

Корректор Олег Арсений

Компьютерная верстка Надежда Саламахина

ООО «Издательство «Ганга»

117574, Москва, ул. Голубинская, 17/9, 501

GANGA.RU

Подписано в печать 02. 08. 2013. Формат 84x108/32

Объем 12 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ № 5662.

Гарнитура OriginalGaramond BT. Печать офсетная

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14